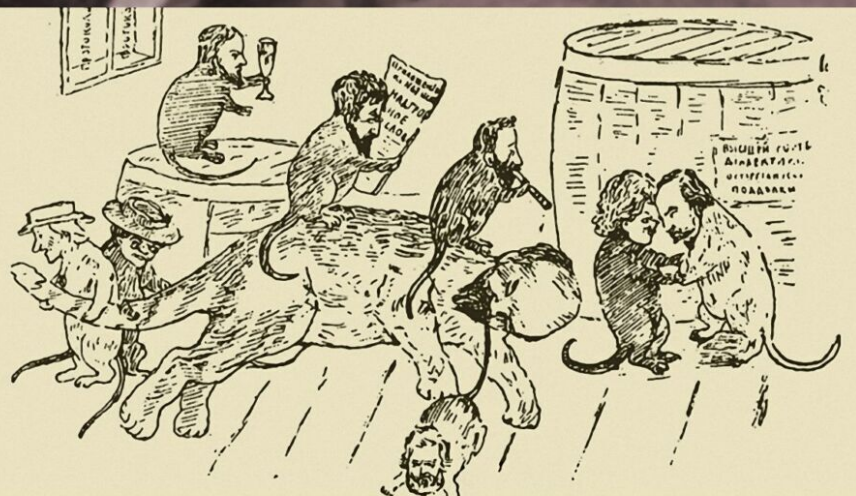


ЛЕНИН



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей

Лев Данилкин

Ленин

«ВЕБКНИГА»

2018

Данилкин Л. А.

Ленин / Л. А. Данилкин — «ВЕБКНИГА», 2018 — (Жизнь замечательных людей)

ISBN 978-5-23-504680-1

Ленин был великий велосипедист, философ, путешественник, шутник, спортсмен и криптограф. Кем он не был, так это приятным собеседником, но если Бог там, на небесах, захочет обсудить за шахматами политику и последние новости – с кем еще, кроме Ленина, ему разговаривать? Рассказывать о Ленине – все равно что рассказывать истории «Тысячи и одной ночи». Кроме магии и тайн, во всех этих историях есть логика: железные «если... – то...». Если верим, что Ленин в одиночку устроил в России революцию – то вынуждены верить, что он в одиночку прекратил мировую войну. Если считаем Ленина взломавшим Историю хакером – должны допустить, что История несовершенна и нуждается в созидательном разрушении. Если отказываемся от Ленина потому же, почему некоторых профессоров математики не пускают в казино: они слишком часто выигрывают – то и сами не хотим победить, да еще оказываемся на стороне владельцев казино, а не тех, кто хотел бы превратить их заведения в районные дома пионеров. Снесите все статуи и запретите упоминать его имя – история и география сами снова генерируют «ленина». КТО ТАКОЕ ЛЕНИН? Он – вы. Как написано на надгробии архитектора Кристофера Рена: «Читатель, если ты ищешь памятник, – просто оглядись вокруг».

ISBN 978-5-23-504680-1

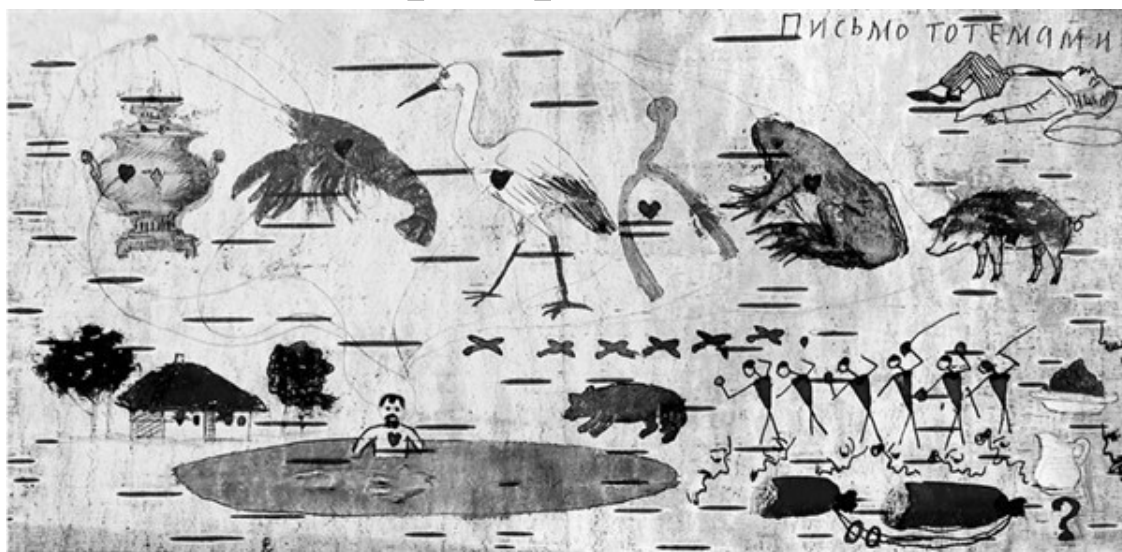
© Данилкин Л. А., 2018

© ВЕБКНИГА, 2018

Содержание

Симбирск	7
Казань	32
Самара	50
Петербург	63
Шушенское	83
Мюнхен	100
Лондон	133
Конец ознакомительного фрагмента.	134

Лев Данилкин Ленин: Пантократор солнечных пылинок



Симбирск 1870–1887

Надежда Константиновна Ульянова, умевшая изобразить кого угодно, божилась, что ее муж «никак и никогда ничего не рисовал»; тем более таинственным и многообещающим выглядит плотно зататуированный пиктограммами и снабженный инскриптом берестяной прямоугольник.

14 легко читающихся кириллических букв настраивают на легкую победу; гипотетический Шерлок Холмс, впрочем, заметил бы, что нейтральнее было бы не «ПИСЬМО ТОТЕМАМИ», как тут, а «ТОТЕМНОЕ ПИСЬМО». Пожалуй, это несчастный в русской речи гендиадис: два существительных вместо существительного с прилагательным; фигура, характерная для латыни.

Центральная серия рисунков напоминает древнеегипетские росписи на стенах гробниц, другая, с геометрическими фигурами охотников, – наскальную живопись, третья – лубочные картинки из азбуки.

Цветные иконки – Самовар, Рак, Аист, Змейка, Лягушка, Свинья – прорисованы с впечатляющей аккуратностью, но без лишних анатомических подробностей; возможно, иллюстрации скопированы с некоего оригинала.

Автором этого кодекса был 12-летний гимназист, криптограф и любитель мертвых языков; уж конечно, он знал про фигуру «*hen dia dyoin*» («одно посредством двух»): в мае 1887-го этот самый гендиадис даже попадетсся ему в билете на выпускном экзамене.

Документ, хранившийся в архиве документов Ленина в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС под номером 1, не включали ни в собрания сочинений, ни в «Ленинские сборники» и опубликовали лишь в 1958 году; возможно, кому-то казались неподобающими ассоциации письма со словом «вождь» («вождь краснокожих», «вождь красных»); скорее всего, дело в том, что «Письмо тотемами» не расшифровано: версия, будто это стилизованный отчет о проведенном лете, неубедительна.

Адресат письма – Борис Фармаковский, ровесник и приятель Владимира Ильича; он станет археологом и будет раскапывать греческую колонию Ольвию. В начале 1880-х он с родителями переехал из Симбирска в Оренбург, и в январе 1882-го – самое подходящее время, чтоб отчитаться о лете, – Илья Николаевич Ульянов привез ему послание от сына-третьеклассника. Ответил ли Фармаковский – и если да, то как, – неизвестно.

Письмо квалифицируется как «индейское»: его элементы имитируют графическую манеру и смысловое содержание известного «прошения индейских племен Конгрессу Соединенных Штатов». Вместо названий племен там нарисованы их тотемы – животные; в тело каждого вживлено сердечко, от которого – так же как в послании ВИ, – вьется веревочка к президенту: разреши нам переселение.

О чем Аист или Самовар могут просить Бородатого Купальщика?

Самовары и индейцы? Может ли быть, например, Самовар – рифмованным, как в кокни, искажением названия индейского племени «делавары»? Известно, что ВИ и его сестра Ольга, начитавшись Купера и Майн Рида, тайно от родителей соорудили вигвам из хвороста с полом, устланным травой; пока Ольга оставалась у игрушечного костра присматривать за хозяйством, ВИ с луком уходил на охоту, откуда приносил «убитую» корягу и рассказывал, как белые люди мешали ему и сами едва не поймали его арканом.

Число «шесть» присутствует сразу в нескольких сериях, и можно предположить, что речь идет о младшем поколении Ульяновых: Анна, Александр, Владимир, Ольга, Дмитрий, Мария.

Тогда кто из них – ВИ? Какой объект – тотем Ленина? Какое свойство в Ленине – главное? Кусачий, как рак? Горячий? Склизкий? Ядовитый? Всеядный?

Если читать шестичленную криптограмму слева направо, «третьим ребенком» окажется Аист. Символ Гермеса, покровитель путешественников.

Если справа налево – Змейка; символ хтонических сил земли.

Аист пожирает лягушек.

Лягушек часто потрошил в ходе своих опытов Александр; лягушка, как и Бородатый, живет в озере; в одноименной пьесе Аристофана они обитают в одном из водоемов Аида. Подполье? Подпольная партия?

Шифрованное приглашение вступить в тайное общество?

Карта с маршрутом к чему-то припрятанному?

Молитва, адресованная духу страны вечной охоты?

Сюрреалистически выглядящий Спящий Человек в правом верхнем углу напоминает о Ленине, который в 1915-м, вернувшись после Циммервальдской конференции, полез на гору Ротхорн и, добравшись до вершины, вдруг рухнул на землю, прямо на снег, и заснул – как убитый.

В правой нижней части, в чем-то еще сне, находим Царство Снеди: Кувшин с молоком, разрезанную надвое колбасу, соединенную путаницей из бечевок и чем-то вроде пары очков, Знак Вопроса. Усы и бородки лиц, обращенных к пище, делают их похожими на маски Гая Фокса.

Ленинская береста обескураживает биографа: античные символы, галлюцинации, бездонные озера, индейцы, таинственные связи между предметами и явлениями, визуальные метафоры, серии двойников, самовары, которые не то, чем кажутся. Поле щедро усеяно ключами – но ни один из них ничего не открывает; Фестский диск – и то понятнее. Документ Номер Один отбрасывает длинную тень на все прочие – и не сулит легкой разгадки. Ленин был профессиональным шифровальщиком; мемуаристы приписывали ему умение незаметно перемещаться, быстро исчезать и другие «индейские» следопытские способности. Есть апокрифические рассказы, как он ориентировался в лесу по звездам, а в лугах – по маршрутам полета пчел. Да что там в лесу – он даже и по комнате-то, сочиняя статьи, вышагивал, как индейцы у Купера – бесшумно, не наступая на пятки. Засечь – и сцапать его в кулак: попался! – не получится.

Но так было не всегда.

При ходьбе «голова его перевешивала» туловище; раз за разом, падая, он ударялся головой, «возбуждая в родителях опасения, что это отразится на его умственных способностях». «Треск раздавался такой основательный», – Анна Ильинична Ульянова описывает едва вставшего на ноги младшего брата с некоторым ироническим изумлением, будто ей довелось оказаться сестрой механической человекоподобной куклы, – что «я боялась, что он совсем дурачком будет». Соседи снизу, так и не сумевшие привыкнуть к жизни под этой дорожкой для боулинга, тоже сочли нужным высказать свою озабоченность: «либо очень умный, либо очень глупый он у них выйдет!» Способность брата использовать голову на манер тарана или молота вызывает у Анны Ильиничны нечто вроде гордости: «Эти частые падения и очень болезненные удары не делали Володю осторожнее» – «он бросался вперед всё с той же стремительностью».

В четыре года Карлик Нос превращается в очаровательного аморетто «с золотистыми кудерками и бойкими, веселыми, карими глазами», а затем, сезон за сезоном, утрачивает «ульяновские» припухлости и обретает «ленинскую» монументальность, которая так чувствуется практически на всех поздних фотографиях, где «харизма» вождя полностью компенсирует физиологические изъяны: рост ниже среднего, всегдашние мешки под глазами, дистрофичные волосы по бокам очага алопеции. Что касается промежуточных лет, то многие мемуаристы, даже из адептов большевизма, не считали нужным фокусироваться исключительно на ангелических параметрах ленинской внешности. Сильвин, знакомый с Ульяновым с

середины 1890-х, назвал его наружность «некрасивой»; одноклассник ВИ, Наумов, вспоминает «неправильные – я бы сказал некрасивые – черты лица» и «рот, с желтыми, редко расставленными, зубами»; в вину также ставится – на всех не угодишь, – что юный ВИ был «совершенно безбровый, покрытый сплошь веснушками». Другие отмечали «калмыцкие глаза со скулами, торчащие уши, бедную рыжую растительность», сутулость, «неинтеллигентную физиономию и вид не то приказчика, не то волостного писарька»; «малопрезентабельный», «определенно похож на среднего петербургского мещанина». Станным образом, очевидная ахиллесова пята по этой части – лысина – если и провоцировала подтрунивания, то неизбежные; так, издательница Калмыкова в письмах именовала Ленина «наш златокудрий Аполлон». Рабочим в марксистских кружках, которые вел «Николай Петрович», плешь казалась признаком ума: так много думает, что аж волосы вылезли. Сам Ленин, похоже, склонен был разделять это мнение. Оставленный однажды приглядывать за пятилетней дочкой Лепешинского, он устроил для нее в тазу озеро, запустил кораблики из ореховых скорлупок, но надолго это не сработало; девочка заскучала и принялась изучать наружность своего бебиситтера – он вынужден был отвечать на каверзный вопрос: «Ленин, а Ленин, отчего у тебя на голове два лица?» – «Оттого, – ответил, «погмыкав», озадаченный ВИ, – что я очень много думаю».

Луначарский находил, что у Ленина сократовский череп – «действительно восхитительный»; в «контуре колоссального купола лба» нельзя не заметить «какое-то физическое излучение света от его поверхности...».

Строением черепа – это видно по фотографиям, и младшая сестра об этом пишет – ВИ весьма походил на отца; и не только черепа. Рост, конституция, большой лоб, «несколько монгольский разрез глаз», картавость, смешение холерического с сангвиническим темпераментов, «заразительный, часто до слез» смех, предрасположенность к инсультам; оба умерли примерно от одной и той же болезни практически в одном возрасте.

На момент рождения ВИ Илье Николаевичу было 39 лет.

Для сына портного ему удалось сделать феноменальную карьеру; брат, астраханский мещанин, устроил его в гимназию, где он показал себя с лучшей стороны: окончил курс с серебряной медалью и поступил в Казанский университет. Учился у математика Лобачевского; о склонности ИН увязывать академическую науку с реальной жизнью можно судить по тому, что в дипломной работе он описал способы расчета параболической траектории С/1853 L1 – кометы Клинкерфюса, которая впервые появилась у Земли лишь в прошлом, 1853 году. Помимо исследований аперидичных небесных тел, ИН несколько лет в Пензе и Нижнем вел систематические метеорологические наблюдения и разразился научной работой «О грозе и громоотводах». Обратив взоры на землю, он женился и, за год до рождения второго сына, перешел с должности преподавателя физики и математики на административную работу, сделавшись сначала инспектором, а через пять лет и директором народных училищ. Карьерный взлет сопровождался боковым смещением – из Нижнего в гораздо более провинциальный Симбирск, незнакомый для недавно созданной семьи город, столицу губернии размером со Швейцарию, где ИН предстояло руководить всеми народными училищами.

Больше прочих его интересовали три области: просвещение малых народов, литература и шахматы. Бешеный путешественник (в его ведении находилось более 430 народных училищ; младшие Ульяновы даже в крокет будут играть, оперируя отцовскими «командировочными» терминами: «шар отправился в уезд», «угнать этот шар подальше в губернию»), ИН воспринимал должность как «хождение в народ» – и посвящал огромную часть своего времени летучим ревизиям, цель которых было распространение начального образования (желательно в земских, народных, а не церковно-приходских школах) и спасение детей от розги и зубрежки. Прогрессивному директору народных училищ, одержимому идеей духовной модернизации общества, деятельность внутри системы просвещения представлялась бесконечной битвой с реакционным левиафаном; известна его ироническая жалоба на то, что вместо народного

просвещения государство занимается «затемнением». Возможно, антагонизм ИН и государства обычно преувеличивается: пореформенная крестьянская Россия объективно нуждалась в грамотных «новых людях», способных управлять машинами – и в индустрии, и в сельском хозяйстве; и администраторы, способные вырастить это новое поколение, ценились и активно вовлекались в государственную деятельность.

Помимо лысины, бакенбардов и золотого сердца, у ИН была некоторая склонность к остроумию (сохранилась его шутка про то, что «немец идет к немцу, а русский к Рузскому» – при выборе, в какую пойти купальню), которую он мог реализовать в небольшом клубе интеллигентных зануд, любителей шахмат, латинских спряжений и лирики Некрасова. Одноклассник Ленина запомнил ИН как «старичка елейного типа, небольшого роста, худенького, с небольшой, седенькой, жиденькой бородкой, в вицмундире Министерства народного просвещения с Владимиром на шее...». Одержимость своим делом принесла ему в 1878 году чин действительного статского советника, в 1882-м – орден Владимира 3-й степени и потомственное дворянство.

Д. Е. Галковский, проницательный читатель Ленина, подметил, что «в опубликованной переписке нет упоминаний об отце и старшем брате Александре»: возможно, «Илья Николаевич умер во время или сразу после очередной ссоры с сыном, и фигура умолчания в переписке объясняется подавленным чувством вины». Это не такое уж голословное предположение: дело в том, что смерть отца совпадает с моментом вступления ВИ в переходный возраст – и изменения в его характере фиксируют многие свидетели.

Жизнеописания симбирского периода строятся по известному агиографическому канону: будущий духовный лидер обретался в сладкой неге, любви и семейном согласии; с головой погруженный в литературу, философию, шахматную игру, спорт, алгебру, древние и иностранные языки, он обгонял сверстников в развитии; в этом смысле слово «Преуспевающему», вытравленное на золотой медали Ульянова, кажется не столько намеком на «из латыни пять, из греческого пять», сколько переведенным на русский именем «Сиддхартха» в дательном падеже.

Сестре ВИ ребенок запомнился декламирующим «Где гнутся над омутом лозы» А. К. Толстого: про мальчика, у которого заснула на берегу водоема мать и которого вот-вот увлекут на дно обещающие блаженство полета стрекозы с бирюзовыми спинками. Эта романтическая – или даже буддистская – баллада как нельзя лучше описывает ту нарушаемую лишь согласным гуденьем насекомых нирвану, в которой можно пренебречь всеми намеками на смерть, старость, болезнь, насилие и страдание – и оставаться под материнской опекой.

С пятнадцати-шестнадцати лет, однако, принц Гаутама преображается в мантикору со скорпионьим жалом и чьей-то откушенной рукой в зубастой пасти. У ВИ появляется привычка высмеивать собеседников, отвечать «резко и зло»; раньше просто «бойкий и самоуверенный», теперь он становится «задирчив» и «заносчив»; и даже мать делается мишенью для его насмешливости. Двоюродный брат обратил внимание на то, что если раньше ВИ добродушно иронизировал над собеседником, сморозившим какую-то глупость или трюизм («Вот если бы все согласились не придавать значения золоту, так и лучше было бы жить!» – «А если бы все зрители в театре чихнули враз, то, пожалуй, и стены рухнули бы! Но как это сделать?»), то теперь он, прищурившись, процеживал: «Правильное суждение вы в мыслях своих иметь изволите». Старший брат, которому выпала возможность несколько месяцев наблюдать за ним после смерти отца, на вопрос сестры о нем ответил: «Мы с ним не сходимся»¹.

¹ В доме-музее в Ульяновске показывают странный артефакт, оставшийся от Александра Ульянова, – выпиленную им лобзиком круглую деревянную ажурную дощечку для хлеба. В центре – крупные литеры, составляющие слово BROD – «хлеб». Да, как в слове «бутерброд», но на самом деле ни в одном европейском языке «хлеб» так не пишется: по-немецки BROT, по-шведски и датски – с умляутом, «брёд». Ошибка выглядит слишком нарочитой, будто сигналом, зашифрованным завещанием, чтобы привлечь внимание к чему-то или кому-то? Брат?

Возможно (хотя и крайне маловероятно), что 15-летний ВИ испытывал к отцу что-то вроде подросткового презрения: для него обладатель генеральского чина, титулованный «ваше превосходительство», мог казаться представителем государственной машины насилия, бюрократии, аппарата, того самого, который Ленин впоследствии так будет жаждать «разбить».

Анна Ильинична упоминает о «некоторой вспыльчивости отца», унаследованной его средним сыном; она также отмечает, что оба ее «родителя были скромны и застенчивы, мать даже жаловалась, что это вредило ей в жизни» – и единственным, по ее словам, исключением из семейной несклонности к выказыванию чувств и нарушению общественного спокойствия был как раз ВИ: тот кричал, когда считал нужным. Когда во время поездки на пароходе мать поставила ему на вид излишнюю шумность: «На пароходе нельзя так громко кричать» – он резонно заметил – точнее, заорал: «А пароход-то ведь сам громко кричит!»

Профессиональный педагог, ИН точно не был домашним деспотом, детей не лупил и позволял себе лишь самые безобидные эксперименты в сфере стимулирующих наказаний: провинившихся в семье Ульяновых сажали на черное «клеенчатое кресло».

ВИ был там завсегда.

Наиболее темпераментный из всех шестерых младших Ульяновых и до поры до времени лишенный возможности канализировать свою энергию в какую-то полезную деятельность, ВИ представлял собой грозную силу, с которой не в состоянии были справиться родители и которая вызывала у его братьев и сестер приступы отчаяния. Его манера при любой возможности швыряться калошами по живым мишеням запомнилась жертвам на десятилетия. Идея, дождавшись, пока родители в темное время суток уйдут из дому, изображать «брыкаску» – закутываться с головой в меховой тулуп, прятаться под диваном в темной комнате и хватать за ноги, кусать и щипать всех, кто попадется, а затем еще и выползать оттуда на четвереньках с диким рычанием – доводила напуганных братьев и сестер скорее до заикания, чем до смеха. Список детских грехов ВИ так велик, что их не откупить никакими индульгенциями: помимо склонности к обувному терроризму, в верхних строчках значатся украденная со стола яблочная шелуха (которую запрещено было есть – но он все же съел ее, в кустах), измывательства над младшим братом (который не мог сдержать слез, когда слышал финал песенки про «Жил-был у бабушки серенький козлик», – но вынужден был по несколько раз выслушивать крики «рожки да ножки», сопровождающиеся сатанинским хохотом); демонстрация вырванных с корнем растений перед старшей сестрой (которая, как подметил ВИ, страдает от некой фобии относительно подвергшейся такому обращению флоры); разодранная в клочья и растоптанная коллекция театральных афиш (которые годами собирал старший брат); издевательства над средней сестрой (которая отказывалась вовремя ложиться спать и драматически выла, резко выворачивая ручку настройки громкости вправо в те моменты, когда ее передразнивали); наконец, манера тотчас крушить все сколько-нибудь сложно устроенные игрушки: на то, чтобы отломать все ноги от полученной в подарок тройки лошадей, уходили считанные минуты.

Характер происходившего в доме Ульяновых можно уяснить, косвенно, по свидетельствам родителей, чьим детям время от времени составлял компанию уже взрослый ВИ. Практически все отмечали, что, согласившись сыграть во что-либо, Ленин превращался в сущего берсерка, переворачивал все в доме вверх дном, выполнял любые прихоти детей и отказывался соблюдать даже разумные ограничения, налагаемые родителями. В доме у своей сестры весной 1917-го вместе с ее приемным сыном он устраивал погони в духе «Тома и Джерри» – и однажды опрокинул обеденный стол с графином. В Швейцарии с зинovieвским сыном Степой проводил непосредственно в квартире футбольные матчи. В Париже с сыном Семашко – шуточные боксерские поединки: «Ну, Сергей, засучивай рукава, давай драться». С пятилетней дочкой своих знакомых Чеботаревых в середине 1890-х ВИ имел обыкновение заваливаться на кушетку, предварительно затащив на нее с пола ковер, а затем с криком «поворотишься, на пол скотишься!» скатываться, обнявшись, на пол.

О педагогических талантах самого Ленина обычно судят по неуклюжему апокрифу Бонч-Бруевича «Общество чистых тарелок», где Ленин угрожает перекрыть детям, систематически отказывающимся от предложенной пищи, возможность попасть в мистическое Общество. Учитывая интересы Бонч-Бруевича, речь идет скорее о секте; заинтересовавшись членством, дети, по совету Ленина, пишут заявления о вступлении – и тот, исправив ошибки, ставит резолюцию: «Надо принять»; рассказ больше похож на притчу о перспективах загробного существования и опасностях спиритуальных диет.

Несколько более приземленным выглядит анекдот о том, как в Париже Ленин наткнулся на улице на плачущую четырехлетнюю девочку, познакомился с ней – и, к изумлению своих товарищей, добился того, что уже через пять минут ребенок пел и танцевал; подросшая мамаша, узнав, что педагогом оказался русский революционер, едва не принялась плясать карманьолу и на прощание сказала ВИ: «Вы великолепны!» «Я не выдержал и рассмеялся, – рассказывал потом Луначарскому Ленин. – Думаю: вот бы услышали ее меньшевики, то-то была б для них радость! Какой визг и вой подняли бы они о том, что Ленин, подобно средневековому тирану из династии Медичи, Лоренцо Великолепному, решил и себе присвоить титул – “великолепный”».

С годами, впрочем, педагогические методы Ленина претерпели некоторые изменения, о характере которых красноречиво свидетельствует записка, полученная 3 июня 1918 года его секретарем Фотиевой: «Если Вы и Горбунов будете болтать на заседании, я вас поставлю в угол *обоих*».

Хотя Ленин и провел в симбирском углу почти треть жизни, больше чем во всей эмиграции, он никогда не выстраивал свою идентичность – даже иронически, как Плеханов: «тамбовский дворянин», – через отсылку к месту рождения. Да и чувств особых к Симбирску не выказывал – разве что на сентябрьскую телеграмму 1918 года о том, что, мол, город ваш отбит у белых, вежливо ответил, что это лучшая повязка на его рану. Когда в 1922 году Крупская показала мужу снимки оформления сцены симбирского театра, где давали «Павла I» и «Юлия Цезаря», Ленин, поворчав насчет недостаточной революционности репертуара, принялся припоминать, как в детстве ходил туда – и даже «прибавил, что, как только ему станет лучше, они выберут свободную минутку и обязательно съездят в Симбирск». Возможно, решение отложить визит на неопределенное будущее имело свои резоны: Симбирская губерния была одним из эпицентров голода 1921 года, и для того, кто захотел бы связать эту отчасти искусственного происхождения социальную катастрофу с политической деятельностью ВИ, открылись бы довольно широкие возможности.

Симбирск не был родовым гнездом ни Ульяновых, ни Бланков; до того обе семьи скорее дрейфовали вдоль оси Нижний Новгород – Казань – Самара – Астрахань; Симбирск подвернулся родителям ВИ в нагрузку к должности.

Всего за 200 лет до рождения Ленина, в допетровской России, Симбирск был окраиной, гарнизонным городком в Большой Засечной черте – насыпи от Днепра до Волги, отделявшей коренную Россию от дикой Степи, как Адрианов вал – Англию от Шотландии. Благодаря своему господствующему географическому положению – берег там был выше, чем в других волжских городах – Симбирск стал важной крепостью, чем-то вроде Ньюкасла или Карлайла. Идем, по пословице, семь дён – Симбирск видён. (Сейчас бы эти идущие, надо полагать, увидели 23-этажную гостиницу «Венец», плюнули и больше бы не оглядывались.)

Пограничный статус города вынуждал государство демонстрировать здесь свою силу в полном объеме, щедро расставляя знаки своего присутствия. В этом смысле нынешний Симбирск транслирует то же ощущение; только сейчас здесь доминируют громоздкие советские административные комплексы, а в детстве ВИ – духовная архитектура: массивные, помпезные, напоминающие Казанский и Исаакиевский, без особых скидок на провинциальные масштабы соборы, стертые с лица земли в 1930-е.

За два века существования, растеряв военное значение, город сумел поразительно быстро «облагородиться» – успешно конкурируя в качестве «волжских Афин» если не с Казанью и Саратовом, то с Астраханью и Самарой: обзавелся собственным стилем архитектурой и слоем интеллигенции – достаточно плотным, чтобы родить, вскормить и экспортировать в петербургско-московские эмпиреи целую плеяду выдающихся личностей: Карамзина, Языкова, Гончарова – и Ленина, Керенского, Протопопова (последний министр внутренних дел царской России; как раз его нерешительность не сумела остановить февраль 17-го).

Для Ленина-экономиста, исследовавшего капиталистические перспективы разных местностей, Симбирск не представлял собой ничего особенного – типичная отсталая по части капитализма губерния: крупных предприятий нет, «феодалы» классы явно преобладают над буржуазией; три тысячи потомственных дворян, чуть меньше личных, 13 тысяч духовенства; потенциал роста населения исчерпан; железной дороги нет; навигация с апреля по октябрь, зимой экономическая жизнь замирает; ближайшая ж. д. станция – Сызрань, полтора километра. Сонное царство – в этом смысле водруженный на центральной площади Ульяновска нелепый «обломовский диван» выглядит уместно, как скамейка запасных Российской империи; впрочем, даже и при своих размерах он вряд ли смог бы вместить всех симбирских тюрюков и байбаков. Ленин, несомненно, предпочел бы поставить памятник Штольцу – однако деятельность этого персонажа явно противоречит как житейскому, так и историческому опыту большинства жителей Симбирска и Ульяновска. Раннего ВИ, кажется, тоже – его сон был так глубок, что, похоже, окончательно стряхнуть его удалось лишь со второго звонка будильника – смерти брата.

Тем не менее в конце 1870-х город уже наслаждался всеми преимуществами недавно принявшихся на культурной ниве институций – и еще не стал деградировать из-за эффекта отсутствия железной дороги. Особи, склонные к активному пользованию «социальными лифтами», чувствовали, что могут позволить себе устроить здесь на несколько лет передышку. Интеллигентная семья, благословленная талантливыми детьми, могла прожить здесь пару десятков лет, не задыхаясь от провинциальной духоты и обеспечив потомству основательное классическое образование; среда при этом оставалась достаточно провинциальной, чтобы «прогрессивные» идеи усваивались почти как религиозные, с некоторой долей экзальтации и без столичного ироничного скепсиса по отношению к ним: в семье Ульяновых словосочетание «революционный демократ» произносили без привставаний на носки и рисования пальцами знаков «кавычек».

Нынешний Ульяновск не слишком похож на Симбирск – однако посреди города, между улицами Железной Дивизии, Льва Толстого, 12 Сентября и Энгельса – можно с головой провалиться в архаический слой: полторы сотни заботливо пересыпанных нафталином деревянных строений, сквозь которые не смог пробиться ни единый росток современности. Через центр этого пожароопасного прямоугольника протекает улица Понятно Кого; на ней и стоит Дом Ульяновых. «Симбирск, Московская улица, собственный дом», как писал Александр Ульянов на адресованных родителям конвертах. Дом, которым Ульяновы владели с 1878 года на протяжении почти десятилетия, был реквизирован и национализирован еще при жизни Ленина, в 1923-м, и послужил закладным камнем будущего заповедника; по-настоящему «в опричьину», со всеми прилегающими пейзажами, район был выделен к столетию ВИ, в 1970-м.

Дом Ульяновых, с определенным артиклем, – городской коттедж средних размеров – точно не больше ста квадратов. Он «конспиративно» устроен: чтобы оказаться внутри, нужно пройти из соседнего здания через подземную галерею; с улицы дом кажется одноэтажным, зато со двора в нем появляется уютная антресоль – где располагались как раз три детские комнатки с огорчительно низкими потолками. Из экспонатов – рояль, гардины, наволочки с вышивками, географические карты, лампы, зеркала, сундук няни, переплетенные литературные журналы и собрания сочинений «революционных демократов».

Было бы любопытно совершить экскурсию на чердак, где Ульяновы прятались друг от друга и играли в индейцев, или в подпол, где сохранялись припасы, но эта часть дома исключена из маршрута осмотра.

В семье, похоже, разговаривали цитатами из Писарева, Добролюбова, Некрасова и Щедрина – как сто лет спустя из «Двенадцати стульев» и «Бриллиантовой руки»; например, когда няня начинала бубнить интенсивнее обычного, дети отмахивались: «Смолкни ты, няня, создание ворчливое. Не надрывай мое сердце пугливое...» и т. п. Кем-то вроде тогдашнего Пелевина – всеобщим увлечением, образчиком остроумия и автором книг-которые-всё-объясняют – был для поколения 1870—1880-х Чернышевский.

Мария Александровна пользовалась в семье репутацией «хорошей музыкантши» – и пыталась научить играть на рояле ВИ. Тот поиграл, но, поступив в гимназию, бросил; зато в 14 лет освоил подаренную младшему брату гармошку – и сам подбирал на ней мелодии тогдашних шлягеров, вроде «Вот мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой».

Игра в четыре руки и слушание музыки, видимо, были объединяющими, очищающими и целительными ритуалами, духовно цементирующими семью.

Наиболее диковинным экспонатом кажется пустая шуба в стеклянном кубе, пародийно напоминающем мавзолейный саркофаг, – подлинная, отцовская, вдоволь нагулявшаяся по горам и по долам; именно она приехала к Ленину в Шушенское и провела с ним три года.

Сзади ко двору с хозяйственными постройками (своего выезда у Ульяновых не было, отцу полагались казенные лошади – и в каретном сарае ВИ с Ольгой пытались ходить по натянутому канату, а Александр Ильич оборудовал, «чтобы не отравлять воздух домашним», химическую лабораторию; ВИ иногда принимал в опытах с реактивами участие) примыкает тянувшийся аж до следующей, Покровской, улицы фруктовый сад, скрытый от внешнего мира домом; здесь мать выращивала яблони, малину, клубнику и крыжовник. Несмотря на то что стихийное поедание урожая воспрещалось, «в этих ягодных кустах», припоминает младшая сестра, «мелькала иногда фигура Владимира Ильича. Помню и чаепития в беседке посреди сада, куда собиралась после обеда вся семья». Летом дети спали прямо там, на матрасах.

В целом дом Ульяновых совсем не похож на «чертово гнездо» – зато очень напоминает воплотившуюся мечту любой буржуазной семьи второй половины XIX века; и есть определенная ирония в том, что дом у этой «шайки революционеров» купил (за шесть тысяч рублей) не кто-нибудь, а полицеймейстер.

Судя по тому, что как только глава семейства скоропостижно скончался, Ульяновы тотчас вывесили объявление о продаже дома, они не слишком глубоко ушли корнями в тамошнюю почву; видимо, в городе их удерживала прежде всего работа ИН.

Подрастерявший былой магнетизм и уже неспособный притягивать орды туристов, Дом окружен разными квазистаринными объектами – вроде «Музея Почты», «Мелочной лавки» и т. п., которые в комплексе представляют собой интерес как фрагмент «старинного русского города», где, по странному стечению обстоятельств, дерево оказалось прочнее камня. Заповедник весь музеефицирован, но здесь нет ощущения, что вы провалились в пятидесятипятитомник; живописные дрова в изобилии, но атмосферы «Ленинлэнда» – как в диккенсовском Лондоне или даже валландеровском Истаде – не возникает.

Есть, по сути, лишь одна категория нынешних жителей Симбирска, которые по-прежнему испытывают к этой семье по-настоящему теплые чувства. Для отца Ленина Симбирск был еще и факторией, где русские взаимодействовали с чувашами, и поэтому он всячески опекал чувашские школы; он прятельствовал с чувашским просветителем Иваном Яковлевым, который основал учительскую школу.

Весной 1918-го Ленин улучил момент осведомиться телеграммой относительно судьбы отцовского коллеги, который «50 лет работал над национальным подъемом чуваш и претерпел ряд гонений от царизма» – с рекомендацией: «Яковлева надо не отрывать от дела его жизни».

В ответной телеграмме Симбирский совдеп сухо уведомил ВИ, что кандидатура Яковлева на пост председателя Чувашской учительской семинарии не прошла, и он остался всего лишь председателем женских курсов.

Особое внимание, которое ИН уделял именно «национальному» аспекту своей деятельности, произвело на ВИ такое впечатление, что в седьмом классе он в течение года бесплатно работал репетитором одного взрослого и стесненного в средствах чуваша, который собирался поступать в университет.

После революции Ленин с недоумением наблюдал за тем, как руководство советского Симбирска – точнее, чуваша Симбирской губернии месяц за месяцем упускали возможность выгородить себе автономию, как это сделали татары в Казани и башкиры в Уфе; в июне 1920-го политбюро само приняло резолюцию о создании автономии, но тогда дело забуксовало, а после смерти Ленина и вовсе заглохло: Симбирск – потенциальная столица Чувашии – в состав республики не вошел.

До Свияги от Дома – километр, десять минут пешком; до Волги – два километра. Обе эти реки протекали через город, но – в противоположные стороны, как бы для запасного выхода; удобство, всегда являвшееся для Ленина-арендатора огромным плюсом при выборе недвижимости. Интересное свойство двух рек позволяло ВИ и его братьям устраивать на лодочках-пирогах небольшие «кругосветки»: сначала спуститься по Свияге, а потом вернуться обратно домой по Волге. Такие лодки назывались «душегубки». Несколько раз ВИ под приглядом старшего брата участвовал в сплавах по Волге: в складчину покупалась лодка с парусом и веслами; ночевали в стогах. Через неделю лодку продавали – и возвращались назад на пароходе.

Троцкий, несколько преувеличивая в 1918 году успехи Красной армии, обещал, что после того, как от белых очистят Сызрань и Самару, «Волга станет тем, чем ей полагается быть, – честной советской рекой». Все течет, все изменяется, и вот уже мэр Ульяновска требует «смыть с берегов» Волги большевистскую фамилию – надеясь на превращение реки теперь уже в «честную антисоветскую»; а в мультипликационном проекте «Гора самоцветов», где перед каждой сказкой вкратце излагается история места или народа, откуда она пошла, в серии про Ульяновск упоминаются доисторическое море с аммонитами, сокровища Разина, Гончаров, Карамзин... Кто угоден – но не Ленин. (Проблема начинается в тот момент, когда оказывается, что симбирская сказка – это «Колобок»: как назло, лысый и шарообразный.)

Тем не менее ключевую позицию в городе занимает здание, которое расположено на высоком правом берегу; именно на него возложена функция представлять Симбирск советским Вифлеемом на Волге-Иордане – и непохоже, что в ближайшее время найдется стихия, которая окажется в состоянии уничтожить эту твердыню. Ленинский мемориал, ради которого снесли «надволжскую» улицу Стрелецкую, где родился ВИ, представляет собой плод запретной любви Чаушеску и Фидия Праксителя: на выстеленной скользкими мраморными плитами площадке приподнят на колоннах-сваях сплюснутый сверху и снизу бетонно-мраморный куб с квадратными навершиями. Вдвое-втрое больше храма Зевса в Олимпии, мемориал должен внушать величие и трепет, как городская доминанта. Многие уродливые здания со временем приобретают статус «иконических», но у мемориала, эрзац-купола которого выглядят особенно безобразно, едва ли есть шансы попасть в их разряд, даже если все остальные постройки на планете будут разрушены атомной бомбардировкой; да и в качестве памятника позднесоветскому маразму и творческому бесплодию он слишком компромиссный и эклектично-обыденный: так может выглядеть и АЭС, и Дом пионеров, и НИИ, и Дворец съездов правящей партии, и увеличенная заправочная станция.

Для нас интересно, что под ним – буквально как под дамочным мечом: рухнет на них этот бетонный слон или нет – и рядом с ним запаркованы несколько «старинных» мещанских домиков, оставшихся от улицы Стрелецкая; один из них – «пещера рождения», где родился

ВИ, в двух других Ульяновы жили какое-то время после его рождения; никаких особенных причин задерживаться внутри хотя бы одной из этих «ненамоленных», пустоватых коробок не обнаруживается. Какие сны видела Мать перед Рождением Сына? Нет, здесь этого точно не поймешь.

По правде сказать, сохранившихся «домов Ульяновых» в городе так много – три здесь, еще несколько в заповеднике, – что поневоле вспоминаются сказки про помеченные крестиком, чтобы сбить преступников с толку, дома. Действительно, в первые восемь лет жизни ВИ Ульяновы постоянно меняли квартиры, словно бежали от какого-то Ирода, гнавшегося за их младенцами. Этой скачке есть рациональное объяснение – после пожара 1864 года в Симбирске было мало сдающихся в аренду квартир, где могла бы разместиться большая семья с шестью маленькими детьми, поэтому методом проб и ошибок приходилось выискивать что-нибудь приемлемое. Видимо, поэтому всем Ульяновым – и ВИ в первую очередь – было свойственно номадическое сознание, привычка легко переезжать с места на место, даже не задумываться о приобретении недвижимости, и жить в кое-как обставленных чужими людьми квартирах; «невлипание», способность легко переносить вечную неприкаянность.

Внутри мемориала неуютно, как в крематории: помимо дежурной диорамы Стрелецкой улицы, здесь покоится электрифицированная карта «Триумфальное шествие советской власти», созданная из кусочков того же рубинового стекла, что и звезды кремлевских башен. Пустой «Торжественный зал» с геометрическим мозаичным узором из цветной смальты укомплектован, впрочем, огромной статуей из уральского мрамора; высота этой церкви-в-церкви – 17 метров – «по замыслу архитекторов символизирует величие революции 1917 года»; а белизна кумира – надо полагать, непогрешимость того, кому следует возносить здесь молитвы. Несмотря на просчитанную научными методами акустику, голос экскурсовода едва слышен: фигура Ленина отражает звуковые волны, источник которых находится в соседних залах, где расположилась «выставка динозавров», откопавших сюда, чтобы поселиться под защитой коммунистического тирекса.

Антидот от безобразия мемориала – городской пейзаж со зданием Симбирской гимназии. Сохранившее внешний аристократизм, в классическом духе, белое в высоких два этажа, построенное в XVIII веке и реконструированное в 1840 году по проекту деда одноклассника Ленина М. Коринфского – по крайней мере снаружи оно не имеет ничего общего с тоталитарной фабрикой ужасов. Музеефицированное лишь частично – нетронутыми остались актовый зал, физический кабинет, классная комната и «шинельная», – оно выглядит нарядно и обихоженно; там полно детей, куча родителей, ни одной сонной мухи, и, пожалуй, это наиболее приятное и живое из всех «ленинских» мест Ульяновска; даже если дух Ленина ассоциируется у вас исключительно с запахом серы, конкретно это место выглядит достаточно привлекательным – историческим и современным разом, чтобы можно было послать сюда учиться своего ребенка, не тревожась, что из обломова здесь начнут лепить штольца, а из штольца – обломова.

Строчка «выпускник классической гимназии» в анкете несколько компрометировала Ленина в глазах пролетарских историков: для человека, чья гвардия «рвала на тряпки гобелены Зимнего дворца», у него чересчур много познаний в «культуре мертвых эпох».

Именно поэтому в «официальной» литературе о Ленине принято было представлять «царскую гимназию» чем-то вроде аракатеевских военных поселений, где систематически нарушались все права ребенка, а годы, проведенные там Лениным, – чем-то вроде первого тюремного срока.

Живи ВИ в городе покрупнее, у него был бы выбор – пойти учиться в классическую гимназию или реальное училище; в программе первых было больше древних языков, вторых – задач на учет векселей и схем строения дождевых червей. И там и там надо было платить за обучение и являться на занятия в форме; таким образом отсекались представители низших каст (из 368 человек, учившихся в гимназии в 1879 году, примерно 40 процентов – дво-

рянского происхождения). Классическая гимназия давала доступ в университет; однако чтобы окончить восемь классов и получить диплом, следовало попотеть; в следующий класс обычно переходила лишь половина учеников, а остальные оставались на второй год или вообще отсеивались. Из 55 мальчиков, поступивших с ВИ в 1879/80-м, сдавали выпускные экзамены восемь; остальную часть класса составляли великовозрастные дылды.

«Храбрость наших воинов внушает неприятелю страх»; «Никто, если бы не любил отечества, не обрекал бы себя на смерть ради спасения его»; «Никого не ставлю я выше моего друга по честности, твердости, величию духа, по любви к отечеству»; «Отечество дороже жизни для хороших граждан»; «Часто Марсом пощаженный погибает от друзей»; «Сам ли ты, Федон, находился при Сократе в тот день, в который он выпил яд, или ты слышал о его смерти от кого-нибудь другого?»; «У ленивых всегда праздник». «Я считаю погибшим того, у кого погиб стыд» – за всеми этими изречениями, историческими анекдотами, пословицами и легендами про магов-самозванцев стоял не только набор лингвистических правил, но и система ценностей, этическая задача: воспитание «нравственной осанки», подготовка яркой – нацеленной на интеграцию в разумно устроенное, стремящееся к четко обозначенным идеалам общество – личности, для которой пожертвовать собой на благо родины, товарищей, старших, коллектива, семьи – не только обязанность, но и привилегия. Сколько тысяч, десятков тысяч таких фраз перевел Ленин с латыни на русский и обратно?

На протяжении восьми лет его интеллект систематически (латинского и греческого было по шесть-семь уроков в неделю, в полтора раза больше, чем русского и математики) заставляли проделывать изощренную языковую гимнастику; формальный строй древних языков и стелющийся за соответствующим дискурсом идеологический шлейф, система ценностей оказались вшиты в сознание Ленина. Именно в гимназии Ленину была привита филологическая культура, умение комментировать тексты (а уж дальше вы сами решали, чей корпус вас привлекает – Гомера или Маркса), чувство языка, риторическая компетенция – способность отбирать из по-разному звучащих формулировок наиболее емкие, ритмически соответствующие внутреннему лингвистическому камертону варианты; подыскивать оптимальный баланс формы и содержания. Древние языки не вызывали у него ни скуки, ни отвращения – ни в гимназические, ни во взрослые годы; так же как коньки и шахматы, это доставляло ему удовольствие.

В гимназиях запрещалось пользоваться готовыми переводами – и таким образом поощрялась вовсе не «бессмысленная зубрежка», а творческий подход к овладению классикой. Латынь ВИ преподавали несколько учителей, среди которых одно время был даже его двоюродный брат, А. И. Веретенников. Один из главных латинистов, харизматичный учитель по фамилии Моржов, желая внушить своим ученикам понимание красоты латинских текстов, зачитывал кое-какие фрагменты «с выражением» – и поощрял в учениках театральность. Одноклассники запомнили, как после драматичной декламации Ульяновым речи Цицерона – «До каких пор, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением?» – потрясенный латинист подошел к нему и обнял с чувством: «Спасибо тебе, мальчик!»

Эйхенбаум полагал, что Ленин намеренно выстраивал фразу на латинский манер (хороший пример – ленинская *contra* против кадетов: «Вы зовете себя партией народной свободы? Подите вы! Вы – партия мещанского обмана народной свободы, партия мещанских иллюзий насчет народной свободы, ибо вы хотите подчинить свободу монарху и верхней, помещичьей палате» – действительно, производит впечатление «цицероновской»). Степень сознательности и намеренности копирования Лениным синтаксических структур латинского языка остается под вопросом, и вряд ли можно сказать, что глубокое изучение древних наделило его способностью чеканить запоминающиеся лозунги и генерировать удачные названия; однако факт, что как литератор Ленин был сформирован в рамках «классической» матрицы – и именно поэтому многие лозунги или фрагменты «революционного дискурса» Ленина оказываются «криптолатинизмами» – все эти «Шаг вперед, два шага назад»; «Всякая революция лишь тогда чего-

нибудь стоит, если она умеет защищаться»; «Честность в политике есть результат силы, лицемерие – результат слабости»; «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», – появились эти фразы в учебнике латыни в качестве заданий для обратного перевода, они не показались бы особенно чужеродными; они рождены в рамках той же культуры, родственны ей, находятся в том же стилистическом регистре.

Классическое образование не только позволило Ленину изъясняться эффектными парадоксами латинских фраз («*Salus revolutionis suprema lex*») и уснащать речь примерами из античной истории; оно организовало природный ум Ленина, включило в круг его повседневных интересов историю общества и философию: хорошо сформулированная «мысль» может быть использована как оружие – даже и в повседневной жизни; он осознал, что достаточно научиться подвергать феномены разностороннему анализу и обнаруживать присущие им противоречия, чтобы манипулировать ими в своих интересах. Самые «лучшие», «бесспорные» слова, и те могут быть подвергнуты сомнению; так, в 1918-м, оправдывая свою атаку на Учредительное собрание, Ленин упорно апеллировал к одному и тому же доводу: да, демократия – но для кого? В Древней Греции тоже была демократия; но демократия для кого? Правильно – для свободных афинян; демократии, однако, не было для рабов; что ж, для пролетариата демократия оставалась демократией и без Учредительного; ну а для буржуазии – уж извините.

В шестом классе 100 уроков посвящалось «Илиаде», в седьмом еще 100 – «Одиссее», и хороший гимназист по результатам этих масштабных археологических раскопок мог в деталях реконструировать любой фрагмент гомеровского мира и описать его эволюцию от более архаических форм в «Илиаде» к более современным в «Одиссее»; тема работы семиклассника могла звучать, например, как «Собака у Гомера». В топ-10 текстов, к которым обращались чаще прочего, входили «Анабасис», «Киропедия», «История Пелопоннесской войны», «Антигона» и «Эдип-царь». Ленин определенно лучше был знаком с историей, которая представлена в виде трагедии, – и испытывал неприязнь к повторению в виде фарса. Литература на всю жизнь осталась для него не менее адекватным способом «расшифровки» действительности, чем естественные науки; и если старший брат изучал мир, исследуя под микроскопом повадки кольчатых червей, то младший готов был реконструировать мировое устройство, копаясь в образах и символах сначала «Илиады» и «Одиссеи», а затем Чернышевского и Толстого; первые навыки расшифровывать литературу и обнаруживать в ней признаки социальных кризисов ВИ получил именно в гимназии.

За курс обучения – рассчитанный на среднестатистического ученика и слишком затянутый для ВИ (сам он впоследствии говорил, что 80-месячный курс обучения, при «сознательности», можно пройти за два года) – гимназисты должны были представить около ста сочинений; старшекласники сдавали домашние композиции раз в месяц, и судя по тому, что после 1917 года Ленин всегда писал в анкетной графе «профессия» – «литератор», эта практика не была для него мучительной. Уроки литературы вел – по необъяснимому совпадению – отец будущего премьера Временного правительства России в 1917 году – Ф. Керенский, о котором Ленин «отзывался очень хорошо» (Н. Валентинов); вряд ли они обсуждали на уроках «Что делать?», но классику – Пушкина и окрестности, до Толстого – разбирали всерьез. Ни одного письменного школьного сочинения Ленина не сохранилось, но известно, что ему приходилось резюмировать свою жизнь в форме письма товарищу, размышлять о наводнениях, формах выражения любви детей к родителям, зимних вечерах, быте рыцарей и Волге в осеннюю пору; тестировать распространенные рекомендации вроде «не всякому слуху верь», «конь узнается при горе, а друг при беде» и «жалок тот, в ком совесть нечиста»; сравнивать зиму и старость, глушь и пустыню, птицу и рыбу, скупость и расточительность; поощрялось умение абстрагироваться от деталей и выйти на более широкие обобщения даже в сугубо «утилитарных» темах: польза ветра, польза гор, польза, приносимая человеку лошадей, польза путешествий, польза земледелия, польза изобретения письменности.

Сочинения о годах, проведенных в Симбирской гимназии под сенью великого одноклассника, оставили сразу несколько соучеников ВИ – и все характеризуют его как некоторым образом достопримечательность 1880-х годов: особенного типа, задававшего интеллектуальную планку для всех прочих учеников потока; иногда так и буквально – учитель латыни «обычно говорил в конце урока: “Ульянов, переведите дальше”», и что тот успевал перевести экспромтом, с листа, «то и было заданием всему классу». Культ первой скрипки, харизматичной личности – более упорной, прилежной, дисциплинированной, настойчивой, чем масса, – был знаком ВИ со школы; неудивительно, что на него такое впечатление произвело «Что делать?» и, в частности, фигура Рахметова – ведь сам он оказывался идеальным кандидатом на эту вакансию в реальной жизни.

Одноклассники рассказали о том, как ВИ, начитавшись «книги про жизнь насекомых», водил приятелей раскапывать норы навозных жуков – и устраивал мини-лекции о роли скарабеев в Древнем Египте; как, вооружившись запасом свечных огарков и веревок, посвятил несколько дней исследованиям подвалов под домом школьных воспитателей, где когда-то содержали пленного Пугачева, – в поисках подземного хода, выкопанного для побега; как лазил по деревьям за новыми экспонатами для своей коллекции птичьих яиц; как ходил на пристань и расспрашивал грузчиков из Персии о секретах разведения шелковичного червя; как ездил, под впечатлением от гончаровского «Обрыва», в Киндяковскую рощу, описанную в романе.

Среди одноклассников ВИ выделяются двое; оба оставили кое-какой след в отечественной истории: писатель, фольклорист и поэт Аполлон Коринфский (его дед, на самом деле Варенцов, был архитектором; увидев один из его проектов – здания Казанского университета, восхищенный Николай Первый воскликнул: да какой же это Варенцов, это какой-то Коринфский! Последовавшая смена фамилии вряд ли принесла счастье ее обладателям в Советской России, но в классической гимназии была как нельзя более уместной) и последний министр земледелия николаевской России А. Наумов, у которого в силу исторических обстоятельств немного поводов вспоминать Ульянова добрым словом. Тем не менее Наумов уверенно квалифицирует ВИ как «центральную фигуру» в классе, признаёт, что при «невзрачной внешности» глаза у того были «удивительные, сверкавшие недюжинным умом и энергией», – и отмечает несколько «резких» отличий ВИ от всех прочих. Он не принимал участия в забавах и шалостях, все время что-то читая, записывая или играя в шахматы (всегда выигрывал, даже когда играл с несколькими противниками). Ни с кем не дружил – но со всеми поддерживал ровные отношения; со всеми на «вы». «Отличался... необычайной работоспособностью»; «я не знаю случая, когда Володя Ульянов не смог бы найти точного и исчерпывающего ответа на какой-либо вопрос по любому предмету. Воистину, это была ходячая энциклопедия, полезно-справочная для его товарищей и служившая всеобщей гордостью для его учителей. Как только Ульянов появлялся в классе, тотчас же его обычно окружали со всех сторон товарищи, прося то перевести, то решить задачку. Ульянов охотно помогал всем, но насколько мне тогда казалось, он всё же недолюбливал таких господ, норовивших жить и учиться за чужой труд и ум». Знал о своем интеллектуальном превосходстве над товарищами – но никогда не подчеркивал его. Принимал участие в гимназических благотворительных балах – но, не любя танцевать, брал на себя должность «распорядителя», организатора концерта.

Все это выглядит слишком хорошо, чтоб не вызывать подозрений: неужели он в самом деле все восемь лет был шелковым – и даже не попытался швырнуть пару раз в своих одноклассников калошами? Или продемонстрировать кому-либо то, что в политике позже обозначал метафорой: «рукой за горло и коленкой на грудь»? Об этом мемуаристы помалкивают; нам не известно ни одного серьезного конфликта – ни с учителями, ни с одноклассниками, ни с родителями, ни с братьями-сестрами, ни с соседями, ни с какими-то женщинами. Разве что – состоявшийся то ли в 1885-м, то ли в 1886 году, еще при живом отце, отказ от религии (мы знаем об этом эпизоде в изложении Крупской). Во всем прочем – «сын чиновника», «доб-

рые плоды домашнего воспитания», «особенное увлечение древними языками» – безупречный фундамент для успешного, готового к сотрудничеству члена общества. «Ни в гимназии, ни вне ее, – это уже Керенский, – не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал... непохвальное о себе мнение».

Анабасис в страну классической филологии подходил к концу, и ВИ уже тренировал голосовые связки, чтобы погромче выкрикнуть «Талатта, талатта!», но тут – в марте 1887-го – произошло нечто такое, что заставило его оторваться от античных текстов. Старший брат арестован в Петербурге; мать уезжает к нему, чтобы чем-то помочь; ВИ остается в семье за старшего; а в мае, ровно в момент выпускных экзаменов, оказалось, что попытки матери спасти брата от казни не увенчались результатом; он повешен.

Роль Керенского в судьбе ВИ обычно сводят к выдаче весьма похвальной характеристики (драматически контрастирующей как с той, которой он сподобится буквально через несколько месяцев, в университете: «скрытный, невнимательный, невежливый», так даже и с сестринской: «самоуверенный, резвый и проказливый мальчик») в тот момент, когда он оказался братом государственного преступника, в крайне слабой позиции. На деле роль эта еще больше.

Энергичный и добросовестный директор Керенский превратил Симбирскую гимназию из действующего десять месяцев в году фестиваля провинциальных эксцентриков со странными наклонностями в образцовое для своего времени, регулярно проветриваемое заведение, где состав преподавателей, атмосфера и оборудование (в физическом кабинете стояли дорогая «электрическая машина» и фонограф, впервые, надо полагать, записавший голос Ульянова) были на уровне столичных.

Несмотря на то что старший брат отсоветовал отдавать ВИ в подготовительный класс, чтобы тот не сразу угодил в лапы гимназических церберов, непохоже, что учеба и учителя как-либо досаждали ему. Некоторые, наоборот, вызывали восхищение – среди них «классный наставник», преподаватель физики Федотченко, который считался лучшим конькобежцем в Симбирске и зимой устраивал показательные выступления: выписывал на льду свою фамилию; присев на одной ноге, крутился волчком. «Ульянов искренне говорил, что ему завидует», – вспоминает один из одноклассников. Сам Керенский, которому чин действительного статского советника едва ли позволял проделывать столь же впечатляющие трюки, тем не менее оставил по себе самую добрую память, и даже советские историки вынуждены были зачехлить свои лупы, не обнаружив ничего такого, что можно было бы поставить на вид отцу премьера, которого Ленину придется выкуривать из Зимнего в октябре 1917-го; кроме разве что «четверки» по логике, которую тот вlepил-таки ВИ, несколько подпортив ему диплом. Ленину, безусловно, повезло с Керенским – в своей гимназии он увидел, как государственный аппарат может действовать разумно, стремиться к самообновлению и приносить общественную пользу. Возможно, это ощущение стало антидотом от идеи устроить на него прямую террористическую атаку.

Большевизм, однако ж, предполагал не обязательно мгновенную, но все же тотальную ревизию всех основ старого режима, и инерция предпринятого осенью 1917-го движения влево подталкивала Ленина к идее, что «очень многое придется совсем перевернуть, перекроить, пустить по новым путям» – как туманно заявил он Луначарскому, когда вводил его в круг обязанностей наркома просвещения, признавшись, правда, по ходу: «...не могу сказать, чтобы у меня была какая-нибудь совершенно продуманная система мыслей относительно первых шагов революции в просвещенском деле».

Разумеется, у Ленина было достаточно оснований полагать, что гимназия как институция представляет собой часть старого, буржуазного аппарата, оплот консерватизма и «реакции» в обществе. Никто в Симбирской классической и не собирался скрывать того, что идея посвящать изучению древних языков 40 процентов времени учащихся была связана со стремлением использовать античную систему ценностей как официально запатентованное «средство против

юношеского материализма, нигилизма». В той же функции – как страховка от антигосударственных ересей – использовалась религия, интегрированная и в собственно учебные дисциплины, и в повседневные ритуалы, вроде общих молитв и совместных литургий в праздничные дни. О том, до какой степени серьезной дисциплиной считался Закон Божий, можно понять по составу вопросов в билете ВИ на экзамене по богословию: «О пятом члене Символа веры», «О VI и VII Вселенских соборах», «Приготовление верующих к причащению. Причащение священнодействующих и мирян», «О шестом прошении Молитвы Господней», «Краткое объяснение Деяний Святых Апостолов»; чтобы внятно ответить сейчас хотя бы на один из этих вопросов, нужно быть выпускником семинарии.

Неудивительно, что после 1917-го Ленин задумался о превращении школы из «орудия классового господства буржуазии» «в орудие разрушения этого господства» – то есть в орудие диктатуры пролетариата. В переводе это означало, что в покое гимназии не оставят и изгнанием духовенства из зданий дело не ограничится.

Что касается именно «античной культуры», то тут личный опыт не мог подсказать ему однозначного решения. Да, Сократ, Солон и Фемистокл, несомненно, могли послужить достойными образцами и для пролетариев тоже; да, «пролетариат – наследник буржуазной культуры», и никто не позволит левакам вышвыривать из школ Гомера, Пушкина и Шекспира; но нужно ли пролетарию, пусть даже готовому принять все это блаженное наследство, заучивать наизусть отрывки из Корнелия Непота и различать сунпун, герундий и герундив?

К шагам влево в этой области Ленина подталкивало и то, что он был женат на профессиональном педагоге, эксперте по истории педагогики, и эксперт этот полагал существовавшую до 1917 года систему образования никуда не годной. И если сам Ленин, возможно, и ограничился бы декретом о бесплатном и обязательном общем и политехническом образовании для детей до 16 лет, отменой школьной формы, внесением в список школьных табу, наряду с табаком и алкоголем, религии, и смешиванием мальчиковых классов с девичьими, то участие НК в кабинете реформаторов привело к тому, что детям обещали, кроме букваря, еще и знакомство в теории и на практике «со всеми главными отраслями производства». Процесс обучения планировалось крепко увязать с «детским общественно-производительным трудом».

Надежда Константиновна впоследствии была демонизирована интеллигенцией и преподавалась как образец горе-педагога, от которого надо держать своих детей подальше; меж тем среди ее учеников был, например, рабочий И. В. Бабушкин – продукт настолько безупречный, что о некомпетентности Крупской-учительницы говорить просто нелепо. Можно не сомневаться, что, трансформируя школы в трудовые коммуны, эта тонкая, остроумная и совестливая женщина искренне желала добра и сама, будучи трудолюбом – и фетишизируя работу как таковую, – хотела привить это небесполезное свойство и детям².

Несмотря на отсутствие опыта общественно-полезного труда в собственном детстве, Ленин, кажется, с сочувствием относился к идеям своей жены в сфере интеграции школьного и профессионального образования – и экспериментам не препятствовал: жизнь покажет, что сломать, а что оставить. При всем уважении к просветительству в целом и деятельности «народного учителя» в частности (Ленина чуть не стошнило, когда он узнал, что их, в духе начала 1920-х, называют «шкрабы» – школьные работники, и запретил эту практику; наставляя хозяйственника М. Владимирова, что органы власти должны сами зарабатывать, а не требовать деньги из бюджета, он произнес: «Лишь для жалованья учителям не будьте скопидо-

² О том, что Ленин с женой сами не стали заводить детей сознательно – «чтоб не мешали работать» или «чтоб не увеличивать нагрузку на и так перенаселенную планету», – не может быть и речи; он всегда в открытую выступал против модного тогда мальтузианства, а НК много раз с горечью сетовала на бездетность. Т. Алексинская пересказывает свой разговор с матерью Крупской: «Если бы вы знали, как Наде хотелось иметь ребенка! Да вот не суждено, нет у них детей! Это не ее вина! Владимир Ильич много занят умственной работой. Ну, Надя себя утешает, когда-нибудь Россия будет свободной, тогда она будет заниматься народными детьми как своими...»

мом»), Ленин верил и в «фабричный котел»; жизнь – среда, работа, невыносимые условия – учит быстрее и эффективнее, чем университеты; трудясь, пролетарии обретают как полезную информацию об устройстве окружающей материи, так и классовое самосознание. Все это привело к тому, что уже в 1918-м, порешив, что в изучении Античности нет особенной практической необходимости, большевики изгнали древние языки из школ в качестве обязательных предметов и в рамках пролетарской борьбы с буржуазной галиматей трансформировали классические гимназии в заведения более общего профиля; латинистам было предложено посвящать освободившееся время ликвидации неграмотности.

Ульяновы образца середины 1880-х выглядят как семья из рекламы стирального порошка: лучащиеся счастьем родители шестерых детей – один другого краше, с карманами, набитыми золотыми медалями; свой коттедж, собака, добрая няня; отец, правда, многовато работает, но зато в генеральском чине, действительный статский советник; мать никуда не отлучается от детей; совместные вылазки в фотоателье и летние поездки в деревню позволяют семье чувствовать себя счастливыми. Глядя на них, другие семьи видели, чего могут добиться «обычные простые люди» в меритократическом обществе, имея талант и охоту к работе; это вызывало уважение, которое не могли поколебать даже известия о том, что в семье обнаружился государственный преступник.

Духовное благополучие, однако, не сумело обручиться с материальным. Илья Николаевич был не тот человек, который вывозил семью за границу в парки аттракционов или в Гран-тур по Европе. «Помню, – пишет АИ, – отец, большой домосед, говорил: “Зачем нам в театр ходить? У нас дома каждый день свой спектакль”». Домоседство объяснялось постоянной стесненностью в деньгах. На не бог весть какое жалованье ИН содержал жену, шестерых детей, няню и прислугу. В 1878-м ВИ заболел малярией, доктора посоветовали вывезти его на лечение в Италию, но денег не было не то что на Италию или на Крым, но даже на вояж к теткам под Казань – надо было покупать дом, и семья осталась летом в городе. Даже и в 1880-е, когда ИН предложил однажды старшим детям свозить их в Москву на промышленную выставку, те, ощущая себя сознательными личностями, отказались, понимая, что их семейный бюджет не рассчитан на такого рода путешествия. Единственным туристическим направлением, которое оставалось доступным для Ульяновых, была Казанская губерния.

Кокушкино (татарское название Янасалы), бывшее гнездо дворян Веригиных, было усадьбой словно из старинной беллетристики: с барским домом, флигелем, людской, конюшней, каретным сараем. Хозяйство – 500 гектаров «угодий» и при них четыре десятка взрослых крепостных душ мужского пола (женщин и детей, как помним из Гоголя, в счет не брали) – поменяло владельцев в середине XIX века; Александр Дмитриевич Бланк заплатил по 240 рублей за душу и управлял ими еще лет десять, сбросив это бремя в 1861-м. Чтобы обеспечивать дочерям приданое, помещику приходилось потихоньку распродавать отдельные куски территории; часть ушла крестьянам при Освобождении; к тому моменту под контролем Бланка осталось уже около 200 гектаров, примерно как территория княжества Монако; эта земля продержалась в руках клана Бланков почти столетия.

Если верить ленинскому знакомому и биографу Валентинову, Ленин однажды принял его сторону в споре с Ольминским о ценности старорежимной помещичьей культуры: «Я тоже жил в помещичьей усадьбе, принадлежащей моему деду. В некотором роде, я тоже помещичье дитя. С тех пор много прошло лет, а я всё еще не забыл приятных сторон жизни в этом имении, не забыл ни его лип, ни цветов. Казните меня. Я с удовольствием вспоминаю, как валялся на копнах скошенного сена, однако не я его косил: ел с грядок землянику (при всей своей хорошей памяти, Валентинов ошибается: Ленин никогда не ел землянику, была у него такая пищевая идиосинкразия. – Л. Д.) и малину, но я их не сажал; пил парное молоко, не я доил коров».

Есть определенная политическая пикантность в том, что «директором» пролетариата и крестьянства стал потомственный – и по матери, и по отцу – дворянин, «помещичье дитя», никогда не занимавшееся физическим трудом и лишь наблюдавшее за своими подопечными в качестве журналиста, литератора, экономиста, социолога.

«Помещичье» детство могло внушить Ленину ощущение собственной исторической обреченности и, как следствие, необходимость в быстрой модернизации общества, потребность опереться на какую-то внешнюю силу, чтобы обеспечить собственное выживание.

Еще более жестокая ирония – демонстрирующая наличие некой внутренней структурной закономерности, которую иногда еще называют «судьба», – состоит в том, что «помещичье дитя» и окончило жизнь в помещичьей усадьбе; однако вряд ли стоит преувеличивать этот момент – жизнь в Горках протекала в помещичьих декорациях, но скорее то был закрытый санаторий, чем собственно помещичье хозяйство: другая экономика и другая идеология.

Видимо, в силу недостаточной компетентности Александра Дмитриевича в качестве агропромышленника экономическая сторона этого приобретения никогда не казалась блестящей – в качестве бесперебойного источника доходов имение работало плохо. На пахотной земле сеяли овес, горох и гречу, но много лучше в этом месте произрастали ученость и интеллигентность.

Для младшего поколения Ульяновых Кокушкино было территорией матери – которая прожила здесь с 12 до 28 лет. Мария Александровна, пожалуй, – наиболее загадочная в этой семье фигура: она выглядит «обыкновенной» интеллигентной женщиной и разве что в пожилом возрасте несколько напоминает иллюстрации к «Пиковой даме». Похоже, ее не слишком смущало, что из пятерых доживших до взрослого возраста детей один оказался без пяти минут цареубийцей, второй – вождем полуполигальной политической партии и еще трое – профессиональными, готовыми к тюрьме революционерами. После смерти она была канонизирована советской историографией и демонизирована, за свою еврейскую кровь, – антисоветской; если верить Солоухину, именно она, МА, научила ВИ «ненавидеть все русское». Никаких подтверждений этому в письмах нет; наоборот, она много читает русских книг, ей нравится русская природа; наконец, несомненно в пользу МА свидетельствует тот факт, что однажды она «набрала несколько книг “Жизнь замечательных людей”, прочла их с удовольствием». Ленин называл ее за глаза «святой», в письмах – «дорогая мамочка», а на конвертах писал – «Ее превосходительству – М. А. Ульяновой»; судя по сохранившейся переписке (около 170 писем ВИ), мать была его кумиром, другом и в целом наиболее близким, видимо, за всю его жизнь человеком.

Она родилась в Петербурге еще при Пушкине, в 1835 году, в доме на Английской набережной, и прожила долгую жизнь, достигнув почти восьмидесятилетия. Ребенком она переехала с отцом, врачом, на Урал, затем много лет – отец не отпустил ее получить образование в Санкт-Петербурге – провела в Кокушкине, среди книг, в доме с большой библиотекой.

У нее было много сестер, все замужние, с большими семьями, – и довольно широкий круг общения. При посредничестве одной из сестер она познакомилась со своим будущим мужем, для которого оказалась интересной не только в финансовом, но и в культурном отношении партией.

За семь лет до рождения ВИ Мария Александровна сдала экстерном экзамены и получила лицензию на работу гувернанткой. До своего вдовства она никогда не была за границей, и все ее перемещения совершались в околотоволжском регионе: Пенза, Нижний, Казань, Самара, Ставрополь-Самарский, Симбирск. От своей матери, наполовину немки, наполовину шведки, МА унаследовала интерес к иностранным языкам и некоторые лингвистические таланты, позже подкрепленные домашним образованием. Представления о том, что дом Ульяновых был чем-то вроде школы полиглотов, где все в свободной форме обсуждали повестку дня в понедельник по-английски, во вторник по-немецки, в среду по-французски и т. д., видимо, относятся к

области мифологии; попав за границу, даже Ленин – с его большим талантом к иностранным языкам и опытом перевода книг – поначалу плохо понимал собеседников и постоянно жаловался на это в письмах; то же и его сестры.

Мать шестерых детей, МА сумела организовать их жизнь таким образом, чтобы дом не превращался в ад и бардак. Крупская говорит, что талант организатора ее муж унаследовал именно от своей матери.

После продажи всей семейной недвижимости в ее руках аккумулировался капитал, который исследователи семьи Ульяновых оценивают примерно в 15 тысяч рублей. Она жила на пенсию от мужа и как рантье; к 1916-му, году ее смерти, запас этот практически исчерпался. Что касается Кокушкина, то после смерти А. Д. Бланка собственность несколько раз делилась между его пятью дочерьми (доля каждой оценивалась в три тысячи рублей), их мужьями и детьми; уже заложенное-перезаложенное, на короткое время Кокушкино задержалось ненадолго в руках как раз Марии Александровны, пока в 1898-м не было продано местному крестьянину-кулаку (которому, как сказано в «письме крестьян деревни Кокушкино нашему односельчанину В. И. Ленину», в 1917-м «дали по шапке»).

Бросающимися в глаза особенностями истории Ульяновых являются, во-первых, удачливость в плане продвижения по сословной лестнице (за два поколения – путь от крепостных крестьян – к чину статского советника и потомственному дворянству); во-вторых, преждевременные смерти (двоюродного деда выбросили из окна, дядя покончил жизнь самоубийством, старшего брата повесили, младшая сестра умерла в 16 лет); в-третьих, выморочность. У деда Ленина было шестеро детей, а у самого ВИ – 33 двоюродных кузена и кузин: Веретенниковы, Ардашевы, Пономаревы, Лавровы, Залежские. Ульяновская ветка, однако, резко хиреет – причем именно в его, ВИ, поколении. Из четверых доживших до детородного возраста потомство было только у Дмитрия Ульянова. Возможно, принадлежность к вымирающему виду заставляла ВИ преобразовывать окружающий мир интенсивнее, чем «обычные революционеры».

Ленино-Кокушкино – странное чирикающее название; крестьяне сменили вывеску еще в 1922-м, о чем и уведомили бывшего соседа, с присовокуплением просьбы купить им лошадей: «Отныне деревня Кокушкино зовется твоим, тов. Ленин, именем». Туда из Казани ходит автобус – 40 верст, полтора часа. С указателями швах – непохоже, что усадьба Бланков представляет собой предмет особой гордости местных жителей. Если двинуть вбок от села, вдоль речки Ушни – еще одного водоема из ленинской «Книги воды», – после коттеджей и дачек наметится пустырь, потом не то сад, не то парк: березы, липы... Где-то неподалеку должны находиться Приток Зеленых Роз (куда устраивались ботанические экспедиции – смотреть на причудливые болотные растения), таинственная Магнитная Гора (курган из золы) и Черемышевский сосновый бор, формой напоминавший жителям усадьбы шляпу – круглую, с высокой тульей; он так и назывался: Шляпа. Там – зимой не пройти – находится место, где в 1870-е зверски убили лесника. Дети опасались привидения и боялись ходить туда за водой, к ключу; ВИ, впрочем, отметал суеверия: «Гиль! Чего мертвого бояться?» «Гиль» – ерунда – якобы было его любимым словечком; оно заново войдет в его лексикон после октября 1917-го с совсем иного входа – странным образом так будут звать личного шофера Ленина, поляка: Степан Гиль, тот самый, который видел, как стреляла в Ленина Каплан, и, возможно, не дал ей добить его.

Среди лип («самое, самое любимое мною дерево», – признался Ленин однажды Валентинову) – бюстик Ульянова: курс правильный. Сюда приезжаешь, чтобы увидеть «материнский капитал» и «территорию детства» ВИ; должно быть, эти пейзажи больше других трогали его сердце: именно здесь венчались его родители, тут шутник дед подавал матери в день именин тарелку белого снега вместо обещанных взбитых сливок, здесь ВИ проводил летние месяцы в обществе своих кузин и кузенов: купания, костры на семейных пикниках, крокет... «Гимнастическими упражнениями Володя не увлекался. Он отличался только в ходьбе на ходулях,

да и то мало занимался этим, говоря, что в Кокушкине нужно пользоваться тем, чего нет в Симбирске».

Вокруг ни души, но снег расчищен, и даже если бы сюда явился сам Ленин, у него вряд ли нашелся бы повод для ворчания. Туристов ноль, не сезон, но открыто. Женщина-смотрительница очень любезно – будто сельский храм – показывает усадьбу из нескольких зданий и небольшого парка. Главное здание – основной «бланковский» дом, и пятикомнатный «ульяновский» флигель с балконом-террасой и мезонином восстали из пепла в конце 1930-х по мемуарам и чертежам Ульяновых, Веретенниковых и Ардашевых. Это едва ли не единственная условно уцелевшая дворянская усадьба в Татарстане; хорошая иллюстрация к интенсивности событий XX века в России.

Экспонатов, конечно, раз-два и обчелся: в основном доме одни портреты, а во флигеле стандартный ульяновский «алфавит с предметами»: Р – рояль, З – зеркало, Ш – шахматы.

Чего нет, так это знаменитого бильярдного стола; Александр Ильич в последний приезд развлекал здесь родственников тем, что одновременно играл с одним человеком в бильярд и с другим – в «воображаемые шахматы» – причем «с игроком, которому тогдашняя первая категория в Казани давала ладью вперед».

Дефицит реквизита, однако, не ощущается; никакого «хюге», зато место «атмосферное», а если вы в детстве держали в руках классические воспоминания двоюродного брата ВИ – Н. Веретенникова – о Кокушкине, то почувствуете и «дух» этого персонального эдема Ленина, а возможно, и найдете в одной из здешних рощ родовое древо – или, пожалуй, тотемный столб – этой семьи.

Столб этот, надо сказать, представляет собой в высшей степени неординарное явление.

Среди его основных элементов обнаруживаются существа, не менее разномастные, чем Самовар, Рак и Лягушка, – и знаменующие собой экзотический союз племен, конфессий и рас.

Слухи о метисном происхождении Ленина появились только после его смерти, но на протяжении всего советского периода тема упорно замалчивалась; и даже комментаторы «Ленинских сборников», которые при желании могли найти иголку в стоге сена, обнаруживая в письмах Ленина даже самое невинное указание вроде: «Пришлите адрес еврея» (в письме Алексинскому 1908 года), – тут же делали каменное лицо и устремляли взгляд вдаль с отсутствующим видом: «О ком идет речь, установить не удалось».

Первым, в ком учуяли крамолу, стал дед Ленина, владелец Кокушкина Александр Дмитриевич Бланк, который – как один за другим обнаруживали все те, кто протыкал носом нарисованный очаг, – до 1820 года звался Израиль Мойшевич Бланк (Александр – имя крестного отца, графа Апраксина, Дмитрий – имя второго восприемника, сенатора Баранова).

По правде сказать, сомнительно, что, проведя столько времени в Кокушкине, Ленин не знал о еврейском происхождении деда, умершего в год его рождения на исходе своего седьмого десятка; скорее всего, этническая принадлежность к инородцам просто не воспринималась ни как проблема, ни как сенсация – и в России в целом, и в Поволжском регионе всячески поощрялся переход представителей иных конфессий в православие, и после крещения неудобство, по сути, автоматически аннулировалось. До 1924 года принадлежность Ленина к великороссам не вызывала сомнения даже у самых отъявленных борцов за расовую чистоту – особенно на фоне «явных» евреев, поляков, латышей и кавказцев, которых действительно было в его окружении немало: естественное следствие того, что в оппозиционную партию часто рекрутировались кадры из угнетаемых в империи народов.

«Проблемная» информация о том, что дед Ленина по матери был крещеным евреем, женившимся на полунемке-полушведке, а мать Ленина вышла замуж за мужчину, в жилах которого текла, с одной стороны, предположительно калмыцкая, а с другой – не то русская, не то чувашская, не то мордвинская кровь, после 1991 года не является ни тайной, ни сенсацией, ни платформой для каких-либо умозаключений. Однако «тревога» обывателей относительно

происхождения Ленина сохраняется на стабильно высоком уровне: не является ли сам химический состав этнической смеси заведомо взрывоопасным? Дозволительно ли экспериментировать с общепринятой рецептурой смешивания кровей столь безответственно? Получается, что во главе России оказался «как-бы-иностранец»; экземпляр, в котором «слишком мало» генов титульной нации. Наиболее раздражающим фактором является, похоже, ономастика – имена «материнских» предков звучат «слишком» еврейскими: Мошке Ицкович, Израиль Мошкович; расистам, полагающим еврейские гены по умолчанию «стыдными», неприемлемыми и в любом случае опасными для руководителя такой страны, как Россия, все это напоминает, надо полагать, сюжет из неполиткорректного анекдота про негра, читающего в трамвае еврейскую газету – «тебе что, мало, что ты негр?».

Безусловно, в самом наборе национальностей, слившихся в крови Ленина, чувствуется нечто пикантное, не столько снимающее или преодолевающее, сколько усугубляющее объективно существующий русско-еврейский антагонизм, отражающий конкуренцию за одни и те же ресурсы между склонными к доминированию народами; масла в огонь подливают несколько растиражированных бронебойных цитат из Ленина про «русский умник почти всегда еврей» и т. п. Исторически сложилось, что в русской революции участвовало очень много евреев, однако Ленин, потомственный дворянин и по отцу, и по матери, пусть и из недавних, пришел в протестное движение не по «национальной квоте», а по «научной», восприняв марксизм как учение о рациональном переустройстве общества.

Если наружность у самого Ленина – вполне русская, «славянско-монгольская», почему и в кино его так легко было играть разным русским актерам – в диапазоне от Смоктуновского до Сухорукова, то родственники его выглядят экзотичнее и колоритнее: фотографии безбородого Ильи Николаевича наводят на мысли о второстепенных персонажах викторианской литературной готики, младший брат, пожалуй, соответствует стереотипным представлениям о еврейской внешности, а в облике младшей сестры можно углядеть нечто заволжско-калмыцкое... Все это, разумеется, шарлатанская антропология, но, похоже, Ленин представляет собой наиболее счастливое, смешавшееся в удачных пропорциях сочетание всех этих разных кровей (и не уникальное для этой семьи – его рано умершая сестра Ольга была замечательно хороша собой). Заканчивая с псевдоантропологией, можно констатировать, что «дефицит» «титульной» крови оказался удачным фактором для политика в амплу разрушителя (и созидателя) империи.

Наиболее колоритной фигурой из пантеона предков Ленина, несомненно, является прадед, Мойше Ицкович (с 1844-го – Дмитрий Иванович) Бланк, шинкарь, агропромышленник, торговец, сутяга и крамольник, в чьей биографии обнаруживаются многолетняя распря с соплеменниками из города Староконстантинова на Волыни (ныне Хмельницкая область Украины), обвинения в доносительстве, блудодеяниях и поджоге чужого имущества, юридически оформленный конфликт с кагалом, закончившаяся годовым пребыванием в тюрьме ссора с сыном, переход в другую конфессию и, на старости лет, авторство ряда наполненных свежими идеями писем на имя императора Николая I, в которых содержались призывы проводить христианизацию российских евреев с большей интенсивностью и предлагались конкретные рецепты. Этот джентльмен был склочным, как уличные юристы из романов Гришэма, мстительным, как граф Монте-Кристо, и предприимчивым, как Цукерберг, – хотя успел добиться в жизни меньше, чем мог бы обладатель такого букета достоинств. Дошедшая до нас информация о его длившихся десятилетиями ссорах с ближайшим окружением в самом деле наводит на мысль о том, что некоторые качества передаются по наследству через поколения – например, конфликтный характер, склонность к нарушению принятых в узком кругу норм и традиций, страсть к интриганству, расколам и крюкотворству; «вот так начнешь изучать фамильные портреты и, пожалуй, уверуешь в переселение душ»: Ленин похож на Мойше Ицковича, как Стэплтон на Гуго Баскервиля.

Если происхождение Ленина представляет собой генеалогический детектив, то твидовый шлем, скрипка и шприц с морфием достаются блестящему исследователю М. Штейну (1933–2009), который словно бы изобрел микроскоп, позволяющий разглядывать историю рода Ленина в таких деталях, о которых раньше никто и помыслить не мог. В своей книге, поражающей плотностью изложения и густонаселенностью, он умудрился отследить, кажется, каждый листик, когда-либо выраставший на родословном древе Ленина; и то, что самому ВИ, видимо, казалось небольшим фикусом, в ходе штейновских изысканий превратилось в настоящий баобаб.

Упаковать этот крупномер в компактный цветочный горшок никак не получится; заметим лишь, что в разделе «дальние родственники» особенно впечатляюще выглядят немецкие ветки – где есть персонажи в диапазоне от археологов, откопавших храм Зевса в Олимпии, до президента Германии, и от создателя и директора Египетского музея в Берлине до писателей Маннов; что до раздела «предки Ленина», то наиболее яркие истории обнаруживаются, судя по расследованиям М. Штейна, в шведском – материнском – сегменте. В рейтинге профессий верхние строчки здесь занимают шляпники, перчаточники и ювелиры; есть священник, который в детстве помогал отцу шляпнику в работе, отравился парами ртути и заболел душевной болезнью с галлюцинациями; среди прочего, он вообразил себя внебрачным сыном короля Карла XII и выразил желание жениться на дочери Петра I императрице Елизавете Петровне. Другой шляпник, Карл Магнус, вынужден был сбежать из Швеции – на угнанной лошади и заложив наряды жены – после того, как соседи застали его в постели с тещей. В 1769-м он открыл в Петербурге шляпную мастерскую, а умер в 1805-м в Москве; в 1800-м крестным отцом одного из его сыновей – Густава Адольфа – стал посетивший с визитом Петербург шведский король Густав IV Адольф.

Механизм генетического наследования склонности к чему-либо до конца не изучен, но нельзя не обратить внимания на возможную связь между наличием в роду Ленина нескольких профессиональных шляпников и прослеживающимся на протяжении всей его жизни обостренным интересом к головным уборам; не исключено, впрочем, что это связано с особенностями строения его черепа и дефицитом волосяного покрова. Так или эдак, ВИ активно экспериментирует в этой области – далеко не ограничиваясь хрестоматийной тиарой пролетарского вождя (которая, вопреки слухам о том, что он впервые приобрел нечто подобное в Стокгольмском универмаге в апреле 1917-го перед въездом в Россию, появилась на его голове много раньше; Тыркова-Вильямс, подруга Крупской и затем деятельница кадетской партии, ненавидевшая Ленина и сподобившаяся его шутивого обещания вешать таких, как она, на фонарях, вспоминает, что однажды в 1904 году в Женеве он провожал ее к трамваю и перед выходом из дома надел потертую рабочую кепку). Видимо, пользуясь этим типом головного убора много лет, Ленин составил для себя некую таблицу уместности использования того или иного его подвоя в разных ситуациях – и менял его в зависимости от конкретных обстоятельств, превратившись к концу жизни в виртуоза по этой части. Так, один из спутников Ленина на конгрессе III Интернационала обратил внимание, что, направляясь в Смольный, на выходе из подъезда Таврического дворца, «В. И. быстро снял с головы черную кепку и одновременно вытащил из кармана – надел белую. Все это он проделал в один момент. Мало кто это и заметил. Тут я подумал, вот конспиратор».

В 1890-е в Петербурге, вспоминает неплохо знававший адвоката Ульянова Сильвин, тот обычно носил темную фетровую шляпу, но пару раз позволил увидеть себя в котелке (и, в пандан, – с тростью), раз – в меховой шапке. Рабочий Князев, занимавшийся у Ульянова – «Николая Петровича» – в подпольном кружке, описывает случай, когда, получив некое наследство, он отправился по совету знакомых в Большой Казачий переулочок на квартиру к хорошему недорогому адвокату – каковым, к его удивлению, оказался «Николай Петрович». Князеву пришлось какое-то время подождать хозяина, и когда тот вошел, мемуарист даже не сразу

узнал его, поскольку тот был в цилиндре (трогательное примечание составителей советского сборника воспоминаний о Ленине: «Конечно, для конспирации»). Другой социал-демократ, Шестернин, припоминает его «черную мерлушковую шапку на уши». Горев рассказывает, что в Лондоне Ленин отвел его в проверенный шляпный магазин и помог выбрать себе котелок и дорожную кепку. Т. Алексинская припоминает, как в 1906-м на каком-то митинге, когда толпа бросилась врассыпную от казаков, Ленин уронил свой «нелепый котелок» – такой же, по-видимому, какой виден на знаменитой каприйской фотографии, где Ленин – при полном параде, в темном костюме-тройке и шикарном головном уборе – играет в шахматы с просто-волосым и затрапезно одетым Богдановым; попавшая в кадр группа наблюдателей (Горький, Базаров и др.) также выглядит экипированной гораздо менее формально, чем Ленин; пожалуй, последний казался окружающим несколько *overdressed* (что, возможно, объясняет зафиксированный Горьким интерес Ленина к книге «История костюма», которую ему нравилось проглядывать на отдыхе). Недоумение примерно того же свойства – и даже насмешки – Ленин вызвал в Польских Татрах, явившись на сбор компании альпинистов-любителей, одетых по-туристски, «в своем обычном городском костюме и ... с зонтиком». Тогда он отшутился, что пойдет-де дождь и они все еще к нему сами запросятся. Видимо, имея время приглядеться к своим товарищам, носившим традиционные укороченные брюки, шерстяные гольфы и горные палки-посохи с железными набалдашниками и ручками в форме топорика, он является через некоторое время перед следующей партией зрителей преобразившимся: «На голове высокая соломенная панاما, серый люстриновый пиджак, белая рубашка, вельветовые зеленоватые в рубчик штаны (гольфы) с застежкой под коленом, чулки и ботинки на гвоздях с большими головками... К раме велосипеда была привязана тросточка с топориком вместо рукоятки». Некое подобие гибрида панамы и банной войлочной шапки мы видим на известной фотографии «Ленин в Закопане». На социалистический конгресс в Копенгаген Ленин приехал из Германии в «панаме с невероятно широкими полями», объяснив выразившему свое недоумение Кобецкому, что оделся таким образом, «чтоб выглядеть незаметно»; по мнению Кобецкого – чья обеспокоенность наружностью Ленина переросла в дурные предчувствия в тот момент, когда он увидел своего товарища не только облаченным в эту шляпу, но еще и с подвязанной щекой: «у него зубы разболелись», – наоборот, «эта панاما должна была выделить его и привлечь сразу же внимание полиции». Ленина «в костюме странных сочетаний» застают и участники межпартийной социалистической конференции в Териоках, куда вождь большевиков явился «в каком-то потертом пиджаке горохового цвета, с короткими рукавами, в облезлой котиковой шапке... на шее у него был большой серый шарф, один конец которого свисал по груди, на ногах были большие резиновые ботинки»; «и вот, говоря о близкой победе (пролетариата), он вдруг воскликнул, с едва заметной улыбкой:

– Вы посмотрите на меня! – и он юмористически сложил руки на груди. – Ну, разве я похож на победителя!».

После победы Октября интерес Ленина к экспериментам с головными уборам и вообще с гардеробом несколько остывает, и если раньше он время от времени казался своим знакомым одетым чересчур нарядно, то теперь скорее работает на аудиторию ценителей стиля «шебби-шик». Подсчет дыр на его подметках, костюмах и шубах становится распространенным хобби большевистских астрономов: чтобы заставить Ленина сшить себе новый костюм, приходится устраивать едва ли не спецоперацию с участием Дзержинского. Пик потертости приходится как раз на 1920-й, когда сразу несколько свидетелей описывают не просто отдельные стилистические эксцентриады Ленина, вроде манеры никогда не изменять фирменному галстуку в горошек и заправлять костюмные брючины в валенки, – но настоящие катастрофы по части туалета. На конгресс Коминтерна в Петроград – «а ведь дело-то было в июле, стояла жара» – Ленин прибывает в «старом, изношенном, разорванном около воротника и вдобавок ватном» пальто, которое «обращало, действительно, на себя внимание». В ноябре того же года он при-

езжает на открытие электростанции в Кашино «в простом меховом пальто и в разорванной галоше на правой ноге».

Никто, однако ж, никогда не видел Ленина в чем-то похожем на ермолку. Так, в самом деле, было ли поведение Ленина-политика (и человека) в какой-то степени детерминировано национальной принадлежностью его предков? Нельзя ли обнаружить в его поступках манеры, свойственные – или по крайней мере приписываемые – представителям той или иной национальности?

На оба вопроса, надо полагать, можно ответить утвердительно, но при малейшей попытке конкретизировать эти корреспонденции мы спотыкаемся. Ленин – ... как все евреи? Ленин – ... как все шведы / немцы / калмыки? Но что – ...? Прагматичный? Властолюбивый? Изворотливый? Космополитичный? Нецивилизованный? Черствый? Хитрый? И может быть, всё же не как все, а как многие? Или даже – некоторые?

Что, собственно, может быть «запрограммировано генами», национальной принадлежностью? Жестокость? Интерес к путешествиям? Пристрастие к тем или иным деликатесам? Мы точно знаем, что Ленину нравились балык, пиво и острые бифштексы – и, наверное, он не любил личинки, собачатину и тухлые яйца; «генная предрасположенность»?

Ленин был продукт смешения нескольких «рас», но сам себя не воспринимал таким образом; он говорил по-русски, считал себя русским, родился и умер в России, любил и хорошо чувствовал русскую природу и русскую культуру, с удовольствием общался с русскими людьми; его предки и он сам пытались сделать Россию лучше – в сущности, этого вполне достаточно, чтобы покончить с его «тайнами происхождения». Исчерпывающий диалог на эту тему есть в фильме «На одной планете», где к Ленину-Смоктуновскому на одном из выступлений, в конце 1917-го, начинает докапываться один контрреволюционно настроенный тип: «А вот тебе можно задать один вопрос? Ты православный?» Смоктуновский: «В каком смысле? Если вы хотите узнать, верующий ли я, то нет, я не верующий, я атеист». Тип (торжествует): «Слыхали?! Стало быть, ты не русский?» Смоктуновский (с вызовом): «Я русский. Хотя я не понимаю, какое это имеет значение. Я не православный, а русский! Вся моя семья была русская. Мой отец был инспектором русских училищ в Симбирской губернии. Мой брат Александр был казнен за революционную деятельность русским царем».

Анна Ильинична однажды устроила «анкету» – «в каком порядке каждый из нас любит друг друга». Выяснилось, что ВИ «больше всех любит Сашу и Маню». «Как Саша», – отвечал, веселя домашних, ВИ уже лет в шесть-семь на все вопросы, касающиеся выбора.

Александр Ильич Ульянов на своих подростковых фотографиях похож на смышленного мальчика из «Ералаша» – взъерошенный, скуластый, с резкими чертами лица, излучающего доброжелательность даже полтора века спустя; у ВИ по сравнению с ним обычное, «расквашенное», без заострений лицо. Несколько лет братья проучились в Симбирской классической вместе: младший пошел в первый класс, старший – в пятый. Затем АИ уехал учиться в Петербургском университете (где, занимаясь экономическими штудиями, террористической деятельностью и просвещением рабочего класса, вращался в кругу, включающем в себя таких плохо представляемых в одном кадре лиц, как В. Вернадский, П. Столыпин и Б. Пилсудский (старший брат Юзефа). Даже и там старший брат оставался для ВИ чем-то вроде ролевой модели; зная, что тот зачитывается Марксом, ВИ даже пытался с товарищем переводить первые страницы «Капитала»; оказалось сложно. Узнав, однако, что темой диплома брата стало «Исследование строения сегментарных органов пресноводных *Annulata* (кольчатых червей)», ВИ, если верить Крупской, объявил с нотками разочарования в голосе, что революционера из исследователя кольчатых червей не выйдет. ВИ не знал, что среди объектов, интересовавших старшего брата, числились и хордовые позвоночные млекопитающие. Именно Александр, между прочим, первым в этой семье получил прозвище «Ильич» – возможно, сначала среди рабочих, для которых вел пропагандистские кружки; возможно, в среде товарищей из друже-

ственных землячеств («у донцов и кубанцев была привычка называть друг друга по отчеству»). Приклеилась ли эта «кличка» к ВИ потому, что он был братом Александра, или он обзавелся ею независимо от брата, или сам инициировал манеру называть себя таким образом – неизвестно; мы знаем только, что такое обращение не казалось ему фамильярным и в сочетании с обращением на «вы» представлялось вполне приемлемым в товарищеской среде. Это имечко широко распространилось затем и «в народе» и впоследствии циркулировало даже в составе фразеологических единиц вроде «спасибо Ильичу – электричеством свечу».

Александр Ильич имел свойство вызывать к себе всеобщую искреннюю приязнь, и известие о том, что он собирался превратить первое лицо в государстве в груды кровавых ошметков, и последовавшая затем жестокая казнь стали для герметичного компактного Симбирска чем-то вроде смерти Лоры Палмер для Твин-Пикса: непостижимым, трагическим и глубоко потрясшим общество событием. Семья Ульяновых, как водится, начала набирать, что называется, количество просмотров – но не комментарии негативного характера; Марии Александровне скорее сочувствовали.

Единственный, кажется, кто отнесся к этому идеальному во всех отношениях юноше со злобным скепсисом, был царь, на которого АИ готовил покушение – вполне осознавая все опасности затеи («Я хотел убить человека, – значит, и меня могут убить», – сказал он матери на свидании). Александр III сам отклонил прошение АИ о помиловании; стиль этого обращения свидетельствует о благородстве пишущего: «Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием». Это прошение похоже на «развилку русской истории»: если б ему был дан ход, возможно... Впрочем, не менее вероятно, что АИ и ВИ стали бы врагами и Ленину пришлось бы «перемолоть» придающего слишком много значения вопросам морали Ульянова. В целом сравнения этих двоих обычно были не в пользу младшего брата; у некоторых ВИ будет вызывать ненависть и отвращение как раз по контрасту.

Казнь старшего брата – безусловно, та психотравма, которая могла стать для ВИ причиной морального заикания и невроза на всю оставшуюся жизнь. Похоже, что май 1887-го – как раз и есть для ВИ то самое событие-которое-всё-объясняет, ключ ко всем его дальнейшим мотивировкам. И то, что сам он даже не подозревал, пока все не вскрылось, что брат участвовал в террористической организации, усугубило шок. Проблема в том, что документа, подтверждающего, что вся последующая деятельность Ленина – род «мести за Сашу», не существует.

Семья в значительной мере сформировала Ленина и на протяжении всей жизни оставалась его естественной средой, с наиболее приемлемой для него атмосферой. Единственные люди, имевшие пропуск в его *Privatsache*, «частную сферу», были мать, сестры, брат, жена, теща и Инесса Федоровна Арманд, с которой ВИ дружил как с сестрой и о которой заботился как о члене своей семьи.

В семье Ленину был привит культ просвещения и либеральных ценностей. Наличие брата-мученика гарантировало ему в революционных кругах уважение и обеспечивало иммунитет от подозрений в сотрудничестве с охранкой.

Однако не семья была двигателем его карьеры; он был сэлф-мэйд премьер-министром. Роль матери и сестер сводилась к тому, что они обеспечивали ему душевное спокойствие, бытовой комфорт и невеликую, но постоянную поддержку, даже в худшие годы не позволяя опускаться до нищенства, вполне естественного в эмигрантских обстоятельствах; по крайней мере

со шляпами у Ленина – а ведь у других и штанов-то часто не оказывалось – никогда проблем не было.

10 мая 1887 года Ленин генерирует свой первый мем: «Мы пойдем другим путем»; «преуспевший», подразумевается, наконец «проснулся» – и готов использовать всю накопленную энергию, чтобы выпрыгнуть и нанести сильнейший за 17 лет удар головой. Однако искусство и жизнь редко совпадают друг с другом. В оригинале – сестринских воспоминаниях – утешая мать, ВИ не столько вытягивает руку вперед, сколько качает головой и пощипывает себя за кончик носа: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти»; никакого конкретного маршрута у него пока нет – а кроме того, это совсем не те «мы», что на картине Белоусова.

Единственная карта, по которой он мог куда-то идти, выглядела как индейский набор символов. Единственное сообщество, к которому он в тот момент принадлежал, были семья, род, «мы, Ульяновы». Самовар, Рак, Аист, Змейка, Лягушка, Свинья. Шесть минус один.

Казань 1887–1889

Сетчатка глаз жителя бывшего СССР устроена таким образом, что когда на нее проецируются монументальные образы, связанные с Лениным, фоторецепторы автоматически отключаются: даже если напарываешься на что-нибудь экзотическое – как в Казани на Карла Маркса, 40/60: «БУ ЙОРТТА ШАХМАТ КЛУБЫНДА 1888–1889 ЕЛЛАРЫНЫН КЫШЫНДА БЕРНИЧЭ ТАПКЫР ВЛАДИМИР ИЛЫЧ УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) БУЛГАН», – не реагируешь; булган, не булган – фиолетово.

И хотя казанцы точно не выстраивают свою идентичность через связь с Лениным, Казань – место, где Владимир Ульянов совершил странный – не иррациональный, но крайне нерасчетливый – поступок, сломавший его жизнь. Там из обычного юноши он сделался врагом государства; возможно, просто умудрился оказаться в неправильном месте в неправильное время – но, возможно, то было запрограммированное судьбой «обращение» из Савла в Павла. И если поступки человека хоть сколько-нибудь детерминированы средой, то, не исключено, ключ к разгадке ленинского поведения следует искать в самом городе, история которого была обусловлена диалектическим противоречием между интересами центра империи и этнически маркированной периферии. Казань дала Ульянову важный опыт, значение которого проявится лишь после революции – когда ему придется столкнуться с обусловленной как политикой, так и географией необходимостью заново восстанавливать развалившуюся империю на новом идеологическом базисе.

18 июня 1887 года Мария Александровна Ульянова подала в Симбирский городской общественный банк заявление с просьбой выдать ей две тысячи рублей со счета покойного мужа. Станным образом, чтобы получить свои же деньги с депозита, требовалось объяснить, какие предполагаются траты; опекунша нескольких несовершеннолетних детей, она указала расходы на экипировку сына при поступлении в университет и переезд в Казань.

Из Симбирска до Казани – километров двести вверх по Волге. Не слишком обременительный, немного меньше суток плавания на пароходе и изобилующий живописными ландшафтами путь, хорошо знакомый Ульяновым: они проделывали его почти каждое лето по дороге в Кокушкино. Это было перемещение внутри «домашнего» – огромного, в девять губерний, в две с половиной Германии-Франции – Волжско-Камского региона; в конце XIX века в тамошних девяти губерниях обитали 20 миллионов человек.

Несмотря на перспективы, открывающиеся для будущего студента, едва ли ВИ приехал в Казань в приподнятом настроении: семья потеряла обоих кормильцев; старшая сестра жила закупоренной в ссылке; деньги с материнского депозита и то не хотели выдавать на протяжении нескольких месяцев. Однако ж и эпизодом из нуар-романа – «появление чужака и отверженного в большом незнакомом городе» – въезд в Казань тоже не назовешь. В Казани остались связи – от отца, который учился тут в 1850-х в университете, а затем бывал по служебным делам: Нижний Новгород и Симбирск входили в Казанский учебный округ. Там жила семья старшей сестры Марии Александровны – А. А. Веретенниковой; в ее восьмикомнатной квартире, что в Профессорском переулке, поначалу Ульяновы и остановились. Профессорский переулок не поменял название, но сейчас это по сути двор-карман, примыкающий к улице Щапова, почти сразу перегороженный шлагбаумом. Никаких намеков на здания старше 2000-х годов – да и вообще на что-то деревянное; только высотное «элитное жилье» из бетона и стекла – «чикаго». За последние 500 лет Казань лишь дважды становилась местом открытых боестолкновений (при Пугачеве в 1774-м и в Гражданскую в 1918-м) и несколько раз горела, как все города; теоретически должно было сохраниться довольно много, но на практике ста-

рые деревянные дома сносят здесь кварталами, чтобы вкатить отделанные кирпичом, под викторианскую ленточную застройку, жилые комплексы. Из будки высовывается охранник: кого ищете? Не скажешь же: дом родственников Ленина, где восьмилетний ВИ разбил графин тетки и, побоявшись сразу признаться в содеянном, несколько месяцев мучился угрызениями совести, пока не добился, уже в Симбирске, чтобы мать написала сестре письмо с извинениями. На месте того самого дома стоит трехэтажное здание из красного кирпича – «Спортивно-оздоровительный центр»; вторая вывеска – поменьше, черная, интригующего дизайна – извещает, что здесь устраиваются квесты проекта «Выйти из комнаты».

Возможности получить в России высшее образование были весьма ограничены: Петербург, Москва, Дерпт («северные» университеты), Киев, Харьков, Одесса («южные»); в 1804 году Александр I учредил университет в Казани – с тем, чтобы он стал идеологическими, так сказать, воротами России в Азию.

Понятно, почему 17 из 28 одноклассников Ульянова оказались в Казани, которая была не такой блестящей, как Петербург или Одесса, не такой стремительно индустриализующейся, как Киев и Харьков, не такой богатой, как Нижний Новгород. Однако это был единственный университетский город на востоке всей империи, «горло» для всей российской Азии; дальше хоть три года скачи, никаких цивилизационных центров не было, и уже поэтому в университете неизбежно должны были сконцентрироваться значительные интеллектуальные силы. Менее всего Казань воспринималась как провинциальный город для неудачников, которые почему-то не смогли попасть в Петербург.

Разлапистый, некомпактный, населенный 140 тысячами людей – достаточно, чтобы не привлекать лишнего внимания к родственнику только что повешенного – город расположился вокруг впадения Казанки в Волгу. На холмах, поближе к Кремлю, соборам, университету и госучреждениям, селились аристократы или представители буржуазии – русской, реже мусульманской: владельцы мыловаренных, кожевенных и текстильных предприятий, с претензиями. Татарские слободы начинались ниже, за Проломной (теперешним казанским Арбатом – улицей Баумана) и особенно за городской протокой Булак (сейчас это канал с бетонными набережными и фигурного литья оградой – из него даже кое-где бьют вверх фонтаны) и за озером Кабан. Там и сейчас ощущается ориентальный колорит: уютные, не чета Дубаю и Абу-Даби, мечети с минаретами; тамошние муллы принимают иноверцев с радушием, какое в Москве встретишь разве что в дорогом автосалоне.

К 1830-м в верхней части города возвели комплекс зданий в духе отечественного классицизма, с колоннадами и желтыми фасадами: главный корпус, библиотека, химическая лаборатория, анатомический театр, астрономическая обсерватория. Здесь была создана первая в России кафедра китайского языка, здесь работали Лобачевский, Бутлеров, Бехтерев, Лесгафт. Кембридж не Кембридж, но к 1887-му Казанский университет был заведением с традициями, лестницей, способной привести весьма высоко вверх не только ученых и карьеристов из аристократов, но и тянувшихся к образованию людей из народа.

Почему юридический? Директор Симбирской гимназии Керенский-старший советовал Ульянову, при его способностях, подавать на ист-фил, но именно в Казани на этом факультете было очень много классической филологии: пожалуй, гимназических знаний ВИ было достаточно. Медицинский же и юридический факультеты в Казани пользовались безупречной репутацией. Двоюродный брат ВИ – Н. Веретенников – походя замечает, что на юридический «шли юноши, не имевшие влечения ни к какой отрасли наук»; и правда, на юрфак подавали десять одноклассников Ульянова, в том числе обладатель другой золотой медали Наумов; из них пятеро – в Казань. Сохранился, впрочем, ответ ВИ, который, обосновывая выбор факультета, туманно сослался на «времена, когда ценнее всего становится знание наук права и политической экономии» – что бы это ни значило. Он понимал, что на госслужбу ему путь закрыт из-за брата. Наверное, «план А» выглядел так: оказавшись после постигшего их несчастья в

другом городе – близко к месту ссылки Анны Ильиничны, Ульяновы начинают новую жизнь. Владимир получает университетский диплом, порядочно экономя на обучении за счет предоставления официального свидетельства о бедности (семья без работающих мужчин), характеристики из гимназии и золотой медали, устраивается в адвокатуру или получает работу при- сяжным поверенным в частной конторе.

Жизнь, однако, распорядилась иначе. Вступительные экзамены Ульянову сдавать было не нужно, а вот прошение об освобождении от уплаты взноса за обучение не сработало: Петербург не дал добро. За брата пришлось платить и в буквальном смысле тоже: по 50 рублей в год за курс в целом плюс по рублю за каждое занятие иностранным языком.

На курсе Ульянова было 60 человек: самому старшему – 22 года, самому младшему – 17. Круг занятий Ульянова – он и был этим юниором – на протяжении казанского студенчества изучен плохо. Он занимался, конечно, но без особого рвения; в отчете о посещаемости за ноябрь 1887-го против фамилии Ульянова написано: «НЕЧАСТО»; далее следуют конкретные даты: хорошо, если дней десять за весь месяц набегало. То ли влюбился в кого-то и гулял; то ли пытался заработать себе на карманные расходы частными уроками, как брат; то ли – наиболее правдоподобная версия – полагал лекции тратой времени и мариновался в библиотеке, больше симбирской; доступ к книжному изобилию всегда действовал на него как Монте-Карло на азартных игроков. Н. Валентинов в Женеве, нередко беседовавший с Лениным на спортивные темы, выцганит у него воспоминание, будто тот «когда-то в Казани ходил в цирк специально, чтобы видеть атлетические номера, и потерял к ним всякое уважение, случайно узнав за кулисами цирка, что гири атлетов дутые, пустые и потому совсем не тяжелые». Часто бывал в принадлежавшей землячеству подпольной кухмистерской. Играл в шахматы – и запомнился однокурсникам тем, что мог вести партии одновременно с несколькими противниками, причем всегда выходил победителем.

Из-за того, что единственный аспект казанского быта Ульянова, который сколько-нибудь известен, – это политический, возникает впечатление, что центральным моментом в процессе обучения были не собственно лекционные курсы и семинары (записался он на лекции по богословию, истории русского права, римского права, энциклопедии права и – чуя, видимо, куда ветер дует, – на английский язык), а возможность инфицировать себя идеологическим вирусом. В 1880-х здесь обучалось под тысячу студентов – далеко не только дворян и далеко не только из Поволжья; в 80-е в Казань ссылали студентов за участие в революционных кружках в Петербурге, Москве, Варшаве, Киеве и Харькове. Университет давал некоторым образом лицензию на вольнодумство, и поэтому всякое покушение на права и свободы – даже если это всего лишь право гонять чай в компании – воспринималось крайне болезненно. Что уж говорить об утверждении нового университетского устава, случившемся как раз в год поступления Ульянова: в глазах студентов это событие приобрело апокалиптический масштаб.

Через два года после назначения профильным министром махрового реакционера И. Д. Делянова, который, по выражению писателя Короленко, лежал «гнилой колодой поперек дороги народного образования» (до того государство пыталось найти компромисс между своей необходимостью в квалифицированном образованном персонале и стремлением студентов защитить свои свободы), в 1884-м, университеты были лишены автономии: от обучения отсекались «кухаркины дети», представители «недостаточных» (в переводе на современный русский: малоимущих) семей; запрещалось объединяться в землячества, устраивать читальни, кассы взаимопомощи, кухмистерские. Любые собрания неофициального характера объявлялись незаконными – за этим следили или даже шпионили инспекторы и надзиратели; мания всё контролировать привела к тому, что идеологический облик студента интересовал начальство явно больше, чем его академический потенциал. Попытки воспрепятствовать распространению крамольных идей за счет отсечения подростков из бедных семей были заведомо неэффективными: известно, что очень многие народовольцы рекрутировались из дворян. Организа-

ция прекратила свое существование лишь в марте 1887-го, и в Казани в начале 1880-х она распространяла напечатанные в частных типографиях и на гектографе воззвания, брошюры, листки; до терактов не доходило, но университет был идеальным местом для выброса протестной магмы.

Фантомная ностальгия по «России-которую-мы-потеряли» и акунинская беллетристика превратили царскую Россию 1880-х в сознании современного обывателя едва ли не в утопию: «русское викторианство». На самом деле Россия после убийства Александра Второго представляла собой организм, страдающий от невроза, полученного в результате психотравмы 1861 года.

Процессы концентрации капитала и расслоение общества шли быстрее, чем когда-либо ранее; миллионы «освободившихся» крестьян разорялись – и, словно пылесосом, затягивались в фабрики, заинтересованные в дешевой (в Поволжье в особенности – за счет искусственной маргинализации нерусского населения) рабочей силе. Террор народовольцев был отложенной реакцией общества на слишком позднее по сравнению с Западной Европой и Америкой пришествие капитализма. Половинчатые реформы запустили процесс ферментации быстро растущей, романтически восприимчивой к чернышевско-писаревским либеральным ересьям интеллигенции. Быстро распространялись новые технологии, менявшие привычный уклад, ускорявшие темп жизни: в той же Казани уже в 1882 году впервые зазвонил телефон, а в 1888-м, пока Ульянов маялся в Кокушкине, заработала целая телефонная сеть, по крайней мере в основных госучреждениях.

Посторонним гулять по кампусу Приволжского федерального университета не возбраняется. Здесь невольно возникает ощущение, что попал куда-то в Петербург; при желании казанским «декабристам» было, наверно, не слишком сложно соотнести это пространство с Сенатской площадью. Одно из самых примечательных зданий комплекса – анатомический театр с ротондой из восьми колонн. Светящаяся золотом на фризе зловещая надпись не сулит ничего хорошего: «*Nic locus est, ubi mors gaudet succurrere vitae*» – «Тут смерть рада помочь жизни». Мало кому известна история, раскопанная недавно казанской исследовательницей С. Ю. Малышевой: в январе 1850-го в распоряжении студентов-медиков оказался труп дяди Ленина, единственного сына А. Д. Бланка и брата Марии Александровны, который, будучи студентом второго курса юрфака, покончил с собой – отравился стрихнином. Конкретная причина самоубийства не названа, однако в отчете медфакультета было упомянуто, что студент Бланк страдал «болезненными припадками».

Площадка перед главным входом в Приволжский университет известна как «Сковородка»; здесь встречается молодняк, и здесь же стоит памятник молодому Ульянову – не единственный в мире, но редкость; попробуйте-ка припомнить, где вы видели в бронзе или камне Ленина моложе пятидесяти? «Некрасивый сутуловатый юноша с рыжими вихрами и калмыцкими глазками»? Скульптор предпочел пропустить мимо ушей описание, сделанное однокурсником Ульянова; не Адонис, конечно, но когда студенты – хотя бы и иронически – называют своего Ленина «ди Каприо», не удивляешься.

Сегодняшние студенты в массе больше похожи на своих предшественников второй половины 1910-х годов, которые ненавидели «варварский» большевизм и устраивали наркому Луначарскому – который пытался революционизировать их – «химические обструкции» с банками сероводорода. И тем, и другим вряд ли понятны мессианские настроения интеллигенции 1870—1880-х. Кто, курам на смех, будет теперь препятствовать созданию общей библиотеки – если только вы не распространяете ваххабитскую литературу?

Резкое сгущение протестной энергии в социуме – такое же таинственное, требующее математического моделирования явление, как образование автомобильных пробок. Двигались-двигались, учились-учились – и вдруг застопорилось: почему?

Мы сейчас плохо понимаем, в чем проблема тогдашних молодых людей – что, собственно, им нужно было, они, что ли, не хотели учиться? Хотели, в том-то и дело. Студенты протестовали потому, что в обычной жизни они были нормальными взрослыми мужчинами – им разрешалось вступать в брак, командовать воинскими подразделениями; но вот в стенах университета они оказывались словно бы детьми, без прав. Им запрещалось все; любые формы организованного товарищества – в котором многие нуждались просто потому, что то был для них единственный способ выжить в годы учебы; то есть лишение студентов возможности помогать друг другу фактически означало для тех, кто попал в университет из низших сословий, запрет на учебу.

На 1887 год в Казанском университете насчитывалось двадцать нелегальных землячеств; то были не только клубы по интересам, обеспечивавшие неподцензурное общение участников, но и субъекты подпольной экономики: у землячества были свое имущество и свои механизмы добывания средств, прежде всего взносы участников в кассу взаимопомощи, а кроме того, они предполагали организацию разного рода полулегальных мероприятий, вроде вечеринок с танцами, подлинной целью которых был сбор средств для поддержки изгнанных, малоимущих или просто страдающих от конфликта с властями студентов; у кого следовало хранилась катакомбная библиотека – и даже гектограф, запасы необходимого для гектографирования желатина и сундуки со шрифтом.

Землячества могли серьезно осложнить жизнь как студентов, так и преподавателей. «Реакционных» профессоров засвистывали, «захлопывали» – начинали аплодировать в начале лекции и не давали говорить – или бойкотировали, сговорившись не являться на занятия; могли швырнуть в спину моченым яблоком; студентов-предателей подвергали подпольному студенческому суду, а затем стучали по ночам в дверь и лупили. Тех, кто не открывал, выживали из университета другими способами.

Членство в этих организациях воспринималось очень серьезно – как самими «земляками», так и надзорными органами. При поступлении Ульянов подписал официальный документ, где русским языком было сказано: обязуюсь не состоять ни в каких сообществах; и, разумеется, первое, что он сделал в университете, – вступил в самарско-симбирское землячество. Не так уж удивительно, что он продержался в университете всего три месяца; а при том, что он был братом только что казненного последнего народовольца, товарищи, надо полагать, возлагали на него определенные надежды. В этом смысле старший брат запрограммировал судьбу младшего.

О приближении кризиса свидетельствовали события 5 ноября 1887-го. В эту дату традиционно проводился торжественный акт – формально собрание, посвященное дню основания Казанского университета; по сути – публичная демонстрация лояльности, присяга. Студенты договорились бойкотировать – из протеста против нового устава – как само мероприятие, так и текущие лекции: именно поэтому В. И. Ульянов так и не узнал от профессора Бердникова о «Форме заключения брака у европейских народов в ее историческом развитии». Тот зря старался на кафедре – даже те немногие, кто всё же явился к нему в аудиторию, время от времени свистели с галерки. Чтобы время не пропадало зря, «скубенты» шатались по городу, буянили в портерных (пивных), побили окна какому-то профессору, раздавали прохожим отгектографированные листовки и орали «Виват демократия!» – ничего такого, чтобы начальство слишком насторожилось. Отказавшись получать информацию о правовых нюансах бракосочетаний, Ульянов – предсказуемо – принял участие в студенческом танцевальном вечере, куда, среди прочих, были приглашены ученицы повивального института при университете. То была местная «фабрика невест»; не единственная – пару можно было подыскать и на Высших женских курсах, которые, кстати, прикрыли после декабрьских событий. Вместо – или по крайней мере помимо – танцев на этих вечерах произошли выступления соответствующей направленности; сохранилась ерническая «Ода русскому царю» одного из «вальсировавших» – Е. Чирикова:

«Стреляй и вешай нигилистов, / Социалистов, атеистов... / Терзай безжалостно, пытай!.. / О царь! Врагам твоим кара: / Всем – петля, пуля – всем... Уррра!!!» Серия танцевальных вечеров продолжилась 22 ноября, когда в квартире вдовы Поповой слушательницы фельдшерских курсов А. Амбарова, Л. Балль и А. Блонова устроили суаре с участием студентов юрфака в пользу фельдшерниц. (В той же «Оде» есть и «женская» часть – также сочащаяся иронией: «Чтобы наши будущие жены / Умели сшить нам панталоны, / Чтобы не с книгой и пером / Они сидели перед нами, / А с кочергой иль со штанами!!!»; неудивительно, что в 1920 году автор этих виршей получил от Ленина записку, в которой чувствуются не только политические, но и эстетические разногласия между бывшими однокурсниками: «Евгений Николаевич, уезжайте. Уважаю Ваш талант, но Вы мне мешаете. Я вынужден Вас арестовать, если Вы не уедете».)

В ноябре 1887-го Ульянов почти перестал посещать факультет: шел, выражаясь языком советских официальных биографий Ленина, процесс объединения революционных сил.

Однако по-настоящему сдетонировала Казань на Москву. Там все началось с того, что 22 ноября один студент Московского университета непосредственно в зале Московского дворянского собрания съездил по лицу инспектору Брызгалову. (Это становилось подобием традиции: в 1881-м так же врезали министру просвещения А. А. Сабурову в Петербургском университете – причем не какой-то психопат, а представитель студенческого совета, на которого указал добровольно брошенный жребий.) Атакующего арестовали; в его защиту стали устраивать сходки, выходить на улицу митинговать; митинги превратились в открытый бунт; полиция и казаки разгоняли толпу шашками и нагайками; двое студентов получили смертельные ранения. Сам Брызгалов, потрясенный инцидентом, заболел, уволился и через три месяца умер.

Сходку – то есть «майдан», открытое выражение протеста – тщательно готовили. Само мероприятие должно было продлиться всего несколько часов – но, по сути, это было карьерное самоубийство; камикадзе знали, что за эти несколько часов диск с их предшествовавшей жизнью будет отформатирован: либо тюрьма, либо ссылка и стопроцентно исключение с волчьим билетом (никуда больше не поступишь, на госслужбу не возьмут).

Позже их с горькой иронией стали называть «декабристами» – но у тех декабристов, 1825 года, шансы на успех были гораздо выше, чем у их казанских наследников. Как выглядел ульяновский «план Б», или «идеальный сценарий», в случае «успеха» выступления? Неизвестно. Похоже, никак.

Однако оставлять московские убийства без ответа было сочтено невозможным. Поэтому студенты заранее раздавали книги, прощались с приятелями и возлюбленными, позволяли себе «дембельские» поступки. Казанская сходка, а не казнь брата, – точка невозврата ульяновской карьеры. У Ульянова был выбор, абсолютно свободный, – и он выбрал.

Мог ли выбрать себе судьбу город, где все это происходило? Был ли шанс у Казани – где, в принципе, к началу XX века был нащупан баланс в отношениях богатых и бедных, великороссов и инородцев – остаться в годы смуты «тихой гаванью»? Сто лет назад, в первые после-революционные годы, Казань представляла собой территорию хаоса – один в один карликовое княжество из сорокинской «Теллурии». Жители кварталов за городской протокой – территория меньше Ватикана – объявляют себя независимой «Забулачной республикой» и выходят из состава России; ликвидировать это государство пришлось морякам Балтфлота, присланным по указу Ленина; татарские националисты, заручившись силовой поддержкой чехословаков, штурмуют мечети, украшенные кумачовыми лозунгами «За советскую власть, за шариат!». После февраля 1917-го губерния сделала то, что и должна была, – заявила об интересе к суверенитету и желании проводить независимую политику на основе местного конфессионального уклада.

В ноябре 1917-го большевики, готовые на любые меры ради нейтрализации враждебных сил и сохранения ресурсных плацдармов здесь и сейчас, санкционировали наделение малых наций политическим суверенитетом: подписанное Лениным ноябрьское «Обращение ко всем

трудящимся мусульманам России и Востока» объясняет, что при царизме страна была тюрьмой народов, мечети разрушались, а теперь «ваши верования и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными», а «ваши права... охраняются всей мощью революции и ее органов». Ленин, который в повседневной речи нередко использовал выражение «это только аллах ведает» в смысле «информации нет и быть не может», знал тем не менее, как ценятся на Востоке символические жесты, и приказал вернуть – «выдать немедленно»! – верующим хранившийся в Публичной библиотеке Коран Османа – бесценную, одну из древнейших в мире рукопись Корана, добытую русскими войсками при оккупации Самарканда.

В Казани – также в знак уважения к богобоязненным трудящимся Востока – вернули и проштемпелевали полумесяцем семиярусную «падающую» башню Сююмбике, напоминающую разом кремлевскую Боровицкую и московский же Казанский вокзал. В ответ на авансы Центра на территории Казанской, Уфимской и Оренбургской губерний был провозглашен тюрко-татарский Штат Идель-Урал – со своим мусульманским ополчением и газетами на татарском. Ориентированные на защиту «прав коренного населения» «Харби Шуро» (военный совет) и «Милли Шуро» (национальный совет) пытались уберечь владельцев промпредприятий от стихийной национализации, а городскую буржуазию от квартирного уплотнения.

Но уже весной большевики, которым Казань нужна была как плацдарм советской власти в Поволжье и которые столкнулись с гражданской войной и интервенцией, разогнали Идель-Урал, в том числе военизированные формирования (мусульманскую Красную армию) и медиа. Вместо этого учредили Татаро-Башкирскую Советскую республику – формально автономную, но за счет доминирования большевиков в Советах депутатов идеологически и экономически подчиненную центру; национальный суверенитет был не то что отменен совсем, но поставлен на режим ожидания.

Тем не менее большевики с демонстративным уважением относились даже к религиозно окрашенным силам, если те не пытались воевать с Москвой.

В июне 1918 года в Казань съезжаются «коммунисты-мусульмане», учредившие было Российскую мусульманскую коммунистическую партию, при которой функционировали даже свои отделения юных социалистов-мусульман. Однако уже осенью, под давлением Москвы, не желавшей терпеть партии-клоны, они влились в РКП(б) на правах мусульманских организаций. Политические мутации Татарии в первые послереволюционные годы показательны – по реакции Ленина и его партии можно понять, как менялись их взгляды на государственное устройство России и как именно эти взгляды реализовались в конкретных исторических обстоятельствах.

Из 2850 тысяч жителей Казанской губернии 1742 тысячи относились к нерусским национальностям. Когда страна, по сути, распалась и все замороженные конфликты, исторические обиды, пограничные споры ожили, ребром встал «национальный вопрос»; неспособность прежнего режима ответить на вызов национальной буржуазии и стала одной из причин революции.

Да, татарский «национальный вопрос» был не таким болезненным, как, скажем, польский – там ненависть к царизму переносилась и на русских и задолго до революции политически оформилось течение, целью которого была как минимум тотальная ревизия сложившихся в империи отношений и уж точно культурная автономия. Но стратегия социал-демократов по отношению к польским националистам разрабатывалась десятилетиями; а вот в случае с Поволжьем экспромтом действовали обе стороны. Да, «малые нации», которые Россия подвергла «внутренней колонизации», ничем не хуже «больших» – но вообще-то смысл революции состоит не только в том, чтобы вывести некий малый народ из-под эксплуатации каким-то более крупным – но и в том, чтобы объединить пролетариат обоих народов, сообща строить социализм; не «русские, татары, поляки и готтентоты, соединяйтесь», а «пролетарии всех стран, соединяйтесь». К проблеме национального угнетения, таким образом, в идеале следо-

вало подходить с классовой точки зрения; сразу после того (одновременно!), как малая нация освободилась, нужно было не бросать ее, а втягивать в орбиту той, где пролетариат сильнее, – иначе нация-то освободится, но пролетариат окажется, возможно, в худших условиях, чем раньше.

По сути, Ленину пришлось столкнуться с подмеченным еще Марксом парадоксом: нет большего несчастья для нации, чем покорить другую нацию. В его зоне ответственности проклюнулась своего рода «страна внутри страны» – со своей претендующей на гегемонию партией (Российская мусульманская компартия), с курьезными властными институтами (например, в 1917-м, помимо обычных большевистских организаций, в которых участвовали в основном этнические русские, в Казани возник Мусульманский социалистический комитет – тоже марксистский, но этнически маркированный, объединявший рабочие комитеты именно татар); и надо было придумывать, что делать с этим птенцом, способным навредить и себе самому, и окружающим. Хорошо, суверенитет. Ну а что если они там захотят сохранить частную собственность на землю? А если начнут выбирать свой заведомо буржуазный парламент – как украинцы с Радой? Давать свои паспорта? А практиковать колдовство? А устраивать показательные казни «прислужников шайтана»? Попробуем экстраполировать условия этой задачи на сегодняшние реалии – поддержал бы Ленин, допустим, в Сирии ИГИЛ и другие исламистские группировки только потому, что они сражаются, предположим, с реакционным режимом Ассада и/или западными интервентами? Скорее нет, чем да – и не из буржуазного опасения любого радикализма, а потому, что у задачи есть и исторический аспект: ИГИЛ очевидно гораздо более реакционная организация, чем те, с кем они воюют.

Как далеко можно пойти, отпустив поводья? Что если доминировать в политике будет не партия, а муфтият? Что если они примутся преследовать русское население? Что если местный пролетариат, который возьмет власть в свои руки, захочет отделиться от коренной России и установить свою государственность? Стоит ли чинить ему препятствия? А если решит остаться, но в силу каких-то национальных традиций (в 1918-м у столичных пропагандистов возникали затруднения самого курьезного характера; например, выяснилось, что на татарском языке не было слова «свобода»: приходилось брать с арабского и переводить словом «простор») на каких-то особых условиях? На что можно согласиться, а что окажется неприемлемо? Должны ли иметь национальные элементы какие-то привилегии: экономические (налоговые, например) и политические, возможно, какие-то квоты в представительных органах? Наконец, как быть с тем озадачивающим обстоятельством, что, например, среди этнических татар большевиков в принципе гораздо меньше, чем среди этнических русских? Можно ли передать этим немногим в самостоятельное управление огромную территорию?

Как Ленин должен был решать весь этот комплекс проблем, который, разумеется, возник не только в случае с Казанской губернией, а со всеми прочими «окраинами»?

Понятно – и до революции именно из этого и исходил Ленин, когда формулировал взгляды партии на национальный вопрос, – что вообще-то «централизованное крупное государство есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всего мира...»; за ним и будущее: в таком гораздо вероятнее построить социализм, чем в феодальном княжестве средневекового типа. В целом до 1917-го программой РСДРП предполагалось, что после революции на территории России и будет функционировать унитарное государство, а тем малым народам, которые захотят остаться с русскими, будет предоставлена «широкая автономия» (в том числе законы, гарантирующие территориальные права, свободы меньшинств, право на самоопределение, вплоть до отделения).

Тут надо понимать, что практика в этот момент сильно отставала от теории. Наркомом по делам национальностей уже осенью 1917-го назначен Сталин – но ему даже поначалу не выделили в Смольном отдельного помещения, и он безропотно занимался делами своего комисса-

риата в комнате у Ленина. По чистой случайности один из прибывших к нему большевиков нашел ему комнату, где заседала комиссия по вещевому снабжению Красной гвардии. «Переходи к нам в Народный комиссариат национальностей», – предложил мемуарист своему приятелю; тот согласился – и так в его комнате появились столик и два стула: «Готов комиссариат!» «Невозмутимый Сталин», не проявив ни малейших признаков удивления, «издал какой-то неопределенный звук, выражающий не то одобрение, не то недовольство», – и тут же «переехал», велел расплатиться за только что заказанные бланки и печати для своей «канцелярии» тремя тысячами, занятыми у Троцкого: «У него деньги есть, он нашел их в бывшем Министерстве иностранных дел». Заем этот так никогда и не был погашен; зато расчистка царской «тюрьмы народов» согласно ленинскому плану пошла быстрее.

Ленину, остро чувствовавшему момент, становится ясно, что успех революции, исход Гражданской войны в России и перспективы мировой экспансии (а Казань представляла собой потенциальный мусульманско-большевистский плацдарм для деколонизации «угнетенных стран Востока»: Индии, Туркестана, Персии, Афганистана) зависят от того, смогут ли большевики декларировать и проводить умную и чуткую к запросам меньшинств (например, мусульманских – а мусульман в России уже тогда было около 14 миллионов) политику: завоевать их расположение и дать им возможность реализовать (фантомную) мечту о суверенитете и собственной государственности. Ленин, которому пришлось-таки на старости лет самому добиваться правды о формах заключения политического брака у европейских народов, «подвинулся» в своих взглядах сильно влево и объявил, что Советская Россия должна быть федеративной республикой – со своими, конечно, нюансами; «братским союзом всех народов»; а народы эти «оформлялись» по национальному признаку и в исторически сложившихся границах. То было демонстративное дистанцирование от имперского порядка: видите? мы предлагаем начать совместную жизнь с чистого листа, и условия брачного контракта вы пропишете сами – а мы взамен гарантируем вам ликвидацию национального угнетения. Такой подход должен был привлечь к коренной России больше народов, чем искусственные узы. Берите столько суверенитета, сколько хотите, вводите самоуправление; Советская Россия – союз свободных и равноправных республик.

Применительно к Казанской губернии это выглядело следующим образом. В мае 1920-го, после визита делегации руководителей региона к Ленину в Кремль, декретом была создана Татарская Автономная Социалистическая Советская республика. Республика автономная, татарский язык объявлен государственным (наравне с русским), но она часть РСФСР; весь госаппарат формируется из местных депутатских Советов, но из сферы их компетенции выведены иностранные дела, внешняя торговля, оборона – все осталось у центра. Школы попали в татарский Комиссариат народного просвещения, а вот Казанский университет остался в федеральном подчинении...

...Поначалу 4 декабря 1887-го не происходило ничего примечательного. Лишь после полудня в коридорах вдруг раздались свистки, а в аудитории стали просовываться горячие головы и кричать: «На сходку!» Судя по тому, что особого удивления эти подстрекательства не вызвали, учащиеся знали о существовании некоего плана бунта. Те, кто хотел бунтовать, ринулись в актовый зал: «словно прорвавшая плотину волна», по выражению одного из участников. Зал был заперт, но замок долго не продержался. Попечитель впоследствии жаловался, что Владимир Ульянов «бросился в актовый зал в первой партии и вместе с Полянским первыми неслись с криком по коридору 2 этажа, махая руками, как бы желая этим воодушевить других».

Чтобы проникнуть в актовый зал сейчас, не надо ломать замок – достаточно сказать, что вы хотите посетить университетский музей, и вахтер смирится. Юрфак выглядит весьма ухоженно – сюда было бы не стыдно привести хоть Д. А. Медведева, хоть Джона Гришэма, – да и мраморные доски висят везде, где положено: вот тут Ульянов бежал по лестнице, тут мемориальная аудитория, где он слушал лекции по римскому праву.

В актовом зале сдавал вступительные экзамены Л. Н. Толстой, читали стихи Маяковский и Евтушенко; в советское время он был декорирован исключительно советской символикой; сейчас восстановлен «исторический облик»; парадный портрет Александра Первого придает своим соседям, бородатым деятелям науки, еще большую солидность.

В зал набилось человек 150–200 самых буйных – в основном медиков, которые призывали к учреждению всех возможных свобод, вопили: «Долой самодержавие!» На срыв занятий отреагировали инспекторы и «педедя» (надзиратели), в том числе особенно ненавистный студентам тип по фамилии Потапов. Похожий на гибрид Бармалея и Карабаса-Барабаса, с бородищей, он увещевал, угрожал, топал ногами – «Требую разойтись, негодяи!», – но то был не его день: студенты сначала принялись напирать на него, затем, после обмена словесными оскорблениями, кто-то крикнул: «Бей!» – и однокурсник Ульянова по юрфаку, студент Константин Алексеев, обер-офицерский сын, родом из Уфы, ударил Потапова по лицу. Затем «была чистая свалка: несколько человек бросились на инспектора, ему нанесли несколько ударов. Потапов оказался крепким орешком – в ход пошли ножки от сломанных стульев... Тут на защиту начальства бросился помощник инспектора Войцехович и, повредив руку, отвел удар. Потапов ретировался жив и невредим».

Детали той сходки с большим энтузиазмом описываются экскурсоводами – из преподавателей юрфака; теоретически эти преподаватели встроены в систему, формально очень похожую на ту, против которой бунтовал 17-летний Ульянов; если вдолбить студентам культ того события, почему бы им однажды не повторить что-то подобное? Но атмосфера изменилась – студенты, даже воспринимающие бунт своих предшественников как романтическое и героическое событие, теперь более снулые; общественное благо интересует их сильно меньше, чем личное. Трудно представить в нынешнем университете дубль сходки 1887 года – даже как эхо событий на Болотной и Сахарова; кто будет сейчас распевать «Хвала тому, готов кто к бою! / За раз созданный идеал, / Кто ради ложного покоя / Его за грош не продавал...»?

Директор Симбирской гимназии – пятеро выпускников которой приняли участие в бунте – Ф. М. Керенский написал попечителю Казанского учебного округа объяснение о своей системе воспитания учеников: образцовые ежовые рукавицы. Каким образом мог выскользнуть из них Ульянов? «Мог впасть в умоисступление вследствие роковой катастрофы, потрясшей несчастное семейство и, вероятно, губительно повлиявшей на впечатлительного юношу». Вполне возможно, что превращение обычного юноши в государственного преступника произошло вследствие не только внутренних и сугубо семейных причин, но и внешних факторов.

Казань – непростое место. Возможно, в силу историко-географических причин – Евразия, Орда, Восток – нравы здесь всегда царили жестокие. Здесь в 1840-е орудовали банды Быкова и Чайкина (после поимки их засекли шпицрутенами, а скелеты передали в Анатомический театр), а в 1970-е весь город – и представителей правопорядка, и обычных граждан – терроризировала банда «Тяп-Ляп» (от названного по предприятию «Теплоконтроль» района, где обитали участники группировки), устраивавшая массовые избиения на улицах – так называемые пробеги – и даже обстрелы общественного транспорта из огнестрельного оружия. Никто так и не объяснил этот всплеск психопатического, немотивированного насилия; по-видимому, несмотря на витринное благополучие, в городе живет дух насилия и агрессии. И в 1880-е тоже наверняка за те 25 минут, что идти пешком от Первой горы до университета, много чего с 17-летним юношей могло произойти на улице и много чему эта улица могла научить его.

...Хорошо, что в избиении «педедя» не принял участие сам Ульянов: студента Алексева отдали на три года в солдаты, в дисциплинарный батальон. Поскольку инспекторы не справились, пришлось выпускать тяжелую артиллерию – ректора Кремлева. Тот не вызывал такой ненависти, как Потапов и К^о, и его душеспасительные беседы с бунтовщиками о том, что дело студентов – наука, а не предъявление политических требований, длились долго: три с половиной часа. Студенты требовали убрать Потапова, видимо крепко их допекшего, и – чтоб уж два

раза не вставать – отмены университетского устава, возвращения недавно исключенных, разрешения легально объединяться в землячества, устраивать вспомогательные кассы и кухмистерские – и плюс к этому гарантий амнистии за сегодняшний бунт. Среди мятежников циркулировало заранее оттектографированное неизвестными лицами воззвание, где «представители молодой интеллигентной мысли» заявляли решительный протест против «шпионствующей инспекции», напоминали об указе про «кухаркиных детей» и апеллировали к ноябрьским событиям в Московском университете: «позорное оскорбление всей русской интеллигентной молодежи». В какой-то момент в актовый зал подтянулись и либерально настроенные профессора – продемонстрировать солидарность: да, университет действительно из места, где свободные люди занимаются наукой, превратился в казарму. Произнес речь и Ульянов – насчет «царского гнета».

Один из участников сходки использует для описания происходившего слово «экстаз»: «Пропала логика разума, осталась только логика сердца». Они клялись принести себя в жертву, не предавать друг друга, отстаивать требования... «Вся душа трепетала под наплывом особого гражданского чувства и пылала жадой гражданского подвига. Войди в зал солдаты и потрещуй, под угрозами пуль, оставить зал, – мы не моргнули бы глазом и остались!»

Они и вошли – почти. Центром контрстуденческой операции стало городское полицейское управление, располагавшееся неподалеку от университета. Там, помимо полицейских сотрудников, разместился батальон 7-го пехотного Ревельского полка – с винтовками, заряженными боевыми патронами. Их задачей было пресечь разрастание бунта и не допустить столкновений студентов с горожанами из нижних слоев мещанства, которые студентов-бунтовщиков на дух не переносили.

Угроза ректора пропустить в университет войска, а может, и голод действовали: около четырех часов актовый зал стал пустеть. 99 человек – и Ульянов тоже – на выходе в знак протеста оставили инспекции билеты; вторая половина бунтовщиков на словах присоединилась к товарищам, но ограничилась рассеянным похлопыванием по карманам.

Избавившись разом и от студенческого билета, и от перспектив сделать карьеру на службе государству, ВИ побрел к себе на съемную квартиру на Новокомиссариатской, 15, – это одноэтажная с антресольным этажом деревянная постройка, «дом Соловьевой», где Ульяновы жили осенью 1887-го: они внизу, сверху хозяева. И пока те, кто не участвовал в сходке, запасались свидетельствами квартирных хозяек – что провели день дома, Ульянов, у которого алиби не было, успел написать прошение «об изъятии из числа студентов». На что он рассчитывал – ну ладно еще утром, когда «бежал и размахивал руками» в толпе, – а вечером-то, когда неизбежно должен был почувствовать похмелье? Даже советские биографы Ленина пожимают плечами в недоумении: загадка; тогда ведь еще и Маркса не прочел.

...Участие Ульянова в бунте – странный момент, пример не то что недалековидного, но иррационального по сути поведения человека с «шахматным» складом ума; только-только поступил в университет, куда и взяли-то его, брата государственного преступника, со скрипом. Мало того, через четыре года он должен был тянуть жребий на предмет отбывания воинской повинности – раз уж не воспользовался студенческой «бронью».

Ночью раздался стук в дверь – и состоялся хрестоматийный – не сказать «пинкфлойдовский»: та же метафора, те же смыслы: бунт, отчуждение, взросление, образование – диалог про Стену: жандарм упрекнул студента, куда ж вы, мол, молодой человек, бунтовать – стена ведь, броня! Ульянов поджал губы: «Стена, да гнилая – ткни, и развалится».

Метафорическое пророчество про недоброкачественные стройматериалы определило судьбу места, где оно было отекавлено. Долгое время дом номер 15 – место первого ареста Ленина – охранялся государством как памятник союзного значения. В 1970-х здесь открыли районную библиотеку, в 2008-м спалили ее фонды на заднем дворе; мраморная доска с профилем ВИ исчезла. Пустое здание полыхнуло; на пепелище был обнаружен обгоревший труп.

Сейчас на месте дома на Муштары, 15, – новостройка под номером 19: и если ее стены могут сойти за метафору политического режима, то режим этот очень устойчив. Дом номер 15 тоже есть, но другой, глубже, во дворе; о связи с Лениным напоминает только монументальное граффити – серп и молот и три буквы: НБП.

Казань в Гражданскую – ключ к Волге, верхней и нижней; коридор к сибирским хлебобородным губерниям; здесь хранилась эвакуированная Временным правительством большая часть золотого запаса Российской империи (650 из 1101 миллиона золотых рублей); отсюда лежал прямой путь на Москву с Урала. Советская власть натурализовалась здесь с приключениями: летом – осенью 1918-го красные были вынуждены отбивать захваченную белочехами – к радости большинства студентов и преподавателей, радикально поправевших по сравнению с университетским контингентом образца 1880-х, – Казань приступом; для этого пришлось провести к Волге по Мариинской системе три миноносца с Балтфлота, которые, став ядром Волжской военной флотилии, в ночь на 31 августа прорвались мимо белых батарей – в стиле марин Рафаэля Сабатини – за Верхний Услон, обстреляли базу и спровоцировали пожар на пароходах и баржах. 10 сентября Ленин, едва оправившийся после выстрелов Каплан, посылает Троцкому телеграмму, поощряющую немедленную атаку на Казань с использованием артиллерии: «По-моему, нельзя жалеть города, и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление, раз только верно, что Казань в железном кольце».

В Свияжске – островном, похожем на пушкинский Буян, городке на Волге рядом с Казанью, – Троцкому даже пришлось однажды пригрозить для устрашения децимацией – и затем оправдываться перед Москвой в излишней мягкости (расстреляли «всего» 20 человек: начальство Петроградского рабочего полка и 18 рядовых). Свияжским событиям посвящен очерк – поэма в прозе – Ларисы Рейснер: один из лучших текстов, когда-либо написанных на русском языке: о том, как красных выбили из Казани, но они зацепились за Свияжск – и чудом не сдавали его, благодаря установившейся там с прибытием бронепоезда Троцкого атмосфере.

По этому тексту ясно, что Казань, в широком смысле, была местом рождения Красной армии.

...Натерпевшийся страху и нахватавший шишек, однако оставшийся в здравом уме и трезвой памяти Потапов составил проскрипции из 153 участников. Начальство догадывалось, что невозможно выгнать сразу 20 процентов студентов – это скандал даже по тем временам; поэтому в центр посылались разъяснения, что «сторонниками беспорядков было только меньшинство, причем и из этого меньшинства многие действовали под давлением товарищей». Это не помогло Ульянову – «очень возбужденного, чуть ли не со сжатыми кулаками», его запомнили и отметили особой галочкой; «скрытный, невнимательный и даже невежливый, что очень поражало ввиду того, что он при окончании курса в гимназии получил золотую медаль», он показался начальству «вполне способным к различного рода противозаконным и даже преступным демонстрациям». Всего таких особо неблагонадежных наскреблось 39 душ. Любопытно, что первокурсников среди них всего трое; ВИ – единственный 1870 года рождения, самый младший; основная часть бунтарей были ровесниками Александра Ильича, 1865–1866 годов рождения.

Прошлись и по ветеринарам: 17 выставили с волчьим билетом, а троих, наиболее активно участвовавших в подаче петиции, взяли за воротник – чтобы затем отправить по месту прописки. Учебный процесс был заморожен на несколько дней. Входы и выходы из здания охраняла полиция. К самым одиозным инспекторам были приставлены телохранители. В портерные, кухмистерские и частные дома, про которые известно было, что там кучковались студенты, стала превентивным образом наведываться полиция. Из Петербурга отстучал историческую телеграмму министр Делянов: «Для спасения благомыслящих не щадите негодяев!» (теоретически он мог послать ее и студентам 4 декабря).

Трое суток Ульянова промариновали в предварилровке – в пересыльном каземате под крепостью, а первый день – даже в арестантском халате. Затем его выставили, и не только из университета, но и из города; местом ссылки было назначено Кокушкино. Специальный пристав следил, чтоб он убрался именно восвояси, а не абы куда.

При всех катастрофических последствиях «сходка» не была бессмысленным актом, жестом отчаяния. На несколько дней все университеты страны были парализованы. Пошла цепная реакция – за казанцев впряглись Киев и Одесса. Дело получило известность за границей – в Париже и то русские студенты митинговали в знак солидарности с Казанью.

Сочувствовало репрессированному и казанское общество: сосланных провожали едва ли не с духовым оркестром. Жертвы, в свою очередь, успели сочинить и распространить еще одну листовку, в элегических строках которой чувствуется перо кого угодно, но не Ульянова: «Прощай, Казань!.. Прощай, университет!.. Жутко и холодно стало нам... Наша молодая кровь, наше молодое сердце заставило искать выхода... Мы уезжаем из Казани с глубокой верой в правду нашего дела!..»

Уехали далеко не все – и те, кто остался в насильно замиренном городе, взяли на себя миссию отомстить реакционерам. Особенно несладкой сделалась жизнь инспекторов и попечителей – они получали письма с угрозами расправы от неизвестных лиц; один из затерроризированных такого рода почтой, помощник попечителя Малиновский, испытал 29 декабря 1887 года особенный страх еще и потому, что в этот день у него в квартире треснуло зеркало – и явившийся решать проблему дворник, в ответ на жалобу, зевнул: «Покойник будет». «Дворник, – констатирует очеркист 1920-х годов, – не ошибся: покойник готовился, но только в царской, униженной и оскорбленной Руси. Это сама Русь, самодержавная и православная, начала трескаться по всем швам».

В декабре 1887-го в кокушкинском доме обретались сразу двое политических ссыльных: брат и сестра. Анна Ильинична – по делу Александра Ульянова; ей повезло – изначально ей светило пять лет в Сибири.

Один из первых лениноведов, некий «тов. Табейко», еще в 1923 году описал картину жизни брата и сестры в Кокушкине: затравленные, «в вечном страхе за завтрашний день – царское правительство мстило жестоко», те постоянно подвергались «облавам», от которых Анна Ильинична, «вся бледная от испуга, бежала задами, по крапиве, в одних чулочках». Эта смелая фантазия вызвала гнев главной героини, которая уличила «тов. Табейко» в некомпетентности.

Облав не было, но вряд ли у брата и сестры было хоть сколько-нибудь хорошее настроение: мороз, бураны, скука, переписка под контролем, душу не отведешь; на отцовскую пенсию с волчьим билетом далеко не уедешь, загранпаспорта нет, на службу не поступишь, даже и уроки детям давать никто тебя не наймет. Либо гуляй себе в радиусе 15 верст (но ведь и соседей никаких не было), либо смотри на звезды (Коллонтай утверждала, что Ленин проявлял большой интерес к астрономии и в ранней юности знал все созвездия), либо – практикуйся целыми днями на бильярде.

Между Бланками и их бывшими крепостными не было конфликтов; в целом крестьяне хорошо относились к Марии Александровне – она дольше других сестер прожила в деревне, венчалась там, иногда помогала медикаментами. Неизвестно, называли ли ВИ «молодым баринком», но у него были знакомые в деревне; среди прочих – мужик Карпей, обладатель колоритной внешности, мастер художественного слова и, возможно, первый учитель философии ВИ; Илья Николаевич в свое время аттестовал его как деревенского Сократа. ВИ всегда хорошо сходилась с «простыми людьми» – похоже, с молодости; тому существует несколько свидетельств. Ямщики запомнили его как «забавника», у которого на всякий случай сыщутся в кармане шутки-прибаутки в духе: «А что, дядя Ефим, был бы кнут, а лошади пойдут?» В письме 1922 года жителей Кокушкина председателю Совнаркома – с товарищеским приветом от «старожилых, хорошо помнящих и знающих тебя по играм с нами в бабки, горелки и по ночев-

кам в лесу с лошадьми», – содержалась просьба выдать безлошадникам этих самых лошадей в кредит. В рамках темы «ночевки с лошадьми» остается отметить, что несколько раз Ульянов нелегально, в темное время суток, по предварительному сговору с ямщиками-татарами, ездил – шерше ля фам? – в Казань; не самая простая операция, если вы планируете вернуться до рассвета и в любой момент быть готовым предстать перед надзирающим за ссыльными становым приставом.

Неделю, месяц – куда ни шло; но прожить так несколько лет – и поневоле полезешь на стенку; да и новости доходили удручающие. В Казани погнали вторую волну репрессий – только 12 января 1888 года из университета выставили еще семь десятков «несогласных» – уже даже не за сходку, а за то, что осмелились вступить в нелегальные землячества. Затем всё вроде бы подустаканилось; бессобытийная кокушкинская жизнь также способствовала выходу из умоисступления; и теоретически, при условии проявления известной гибкости, вставив в прошение слова «раскаяние» и «покорнейше», можно было рассчитывать на некое помилование – поэтому имело смысл продолжать подготовку для учебы в каком-то еще университете. И вот через полгода после сходки, 9 мая 1888-го, ВИ пишет прошение министру народного просвещения Делянову – касательно возможности «обратного приема» в Казанский университет. Мария Александровна одновременно просит еще и директора Департамента полиции о смягчении наказания. Похоже, именно в Кокушкине жизнь преподнесла Ульянову первый урок прагматизма и конструктивного мышления: да, в том, чтобы «умереть по-шляхетски», «с честью», есть своя правда, но если хочешь делать дело, то надо уметь идти на компромиссы.

Позже Ленин вспоминал, что никогда в жизни, даже в петербургской одиночке, даже в Шушенском до приезда Крупской, не читал столько, сколько там. Добролюбов, Писарев – томами, полными собраниями; однако его Библией стала «Что делать?» – динамичная, остроумная, вдохновляющая и озадачивающая книга. Младшие современники Ленина уже не понимали, что такого особенного в этом тексте; он казался старомодным и изобилующим нелепостями; теперь, когда действие ядов, впрыснутых в роман и саму фигуру Чернышевского Набоковым, прекратилось, этот эффект воспринимается не как изъян, а как достоинство; в стиле, которым написано «Что делать?», всех этих сентенциях, ерничестве, сюрреалистических снах, деревянных диалогах – есть своя магия, которая вновь, кто бы мог подумать, стала ощущаться. «Отлично дурно, следовательно, отлично», как сказано в самом романе. Наверняка Ульянову приходило в голову, что он лучше кого-либо подходит для вакансии Рахметова, «особенного человека». Можно не сомневаться, что у него были методично выполнявшаяся программа гимнастических упражнений, четкий список для чтения и, возможно, даже упорядоченный пищевой рацион. В какой-то момент Ульянов решил написать письмо ссыльному Чернышевскому; тот получал корреспонденцию такого рода мешками – иногда просьбы о благословении, иногда проклятия и угрозы – и отвечал редко; делать далеко идущие выводы из его молчания – «Чернышевский не ответил Ленину!» – не стоит.

Хуже были лаконичные ответы из официальных инстанций: «отклонено», «отклонено». 31 августа – последний шанс успеть на курс, не в Казань, так в Москву, Киев, Харьков или Дерпт. В тот момент в Казани присутствовал министр Делянов. Мария Александровна поехала к нему и вручила прошение лично. «В казанских студентах, – покачал головой чиновник, – до сих пор играет пугачевская кровь».

Помимо исправника время от времени наезжали двоюродные братья. В какой-то момент здесь появляется новая важная фигура – жених Анны Ильиничны Марк Елизаров, добрый гений семьи. Компания ведет жизнь чеховских интеллигентов-дачников: самообразование, рыбалка, пикники. При посредничестве Марка Елизарова Ульяновы начинают закидывать удочки касательно ситуации на рынке заграничного образования: в каком университете лучше учат, сколько это может стоить, потянет ли семья и как получить под это загранпаспорт. Анна Ильинична в одном из писем сентября 1888 года проговаривается, что «брат... очень рвется

за границу, но маме очень не хочется пускать его туда». Забегая вперед скажем, что в апреле 1889-го авторитетная комиссия, состоящая из профессора медицинского факультета Казанского университета и городского врача, выпишет Ульянову справку о том, что тот страдает болезнью желудка и идеальный способ исцеления – пользование щелочными водами; лучше всего водами *Vichy* (Франция). 6 сентября ВИ в письме на имя министра внутренних дел ссылается на «надобность в получении высшего образования» и просит – «не имея возможности получить его в России» – «разрешить мне отъезд за границу для поступления в заграничный университет»...

Отклонено; если больной – так езжай в Ессентуки, здраво рассудили в Министерстве образования. Каким же все-таки образом Ульянов получил свой второй шанс? Весьма вероятно (судя по сохранившимся письмам Марии Александровны: «Ваше Превосходительство... добрейший Николай Иванович... так участливо отнеслись ко мне... по сердечной доброте Вашей и в память покойного Ильи Николаевича...»), что Н. И. Ильминский – христианизатор татарских школ и товарищ Ильи Николаевича – как раз и был тем человеком, чье любезное вмешательство позволило Владимиру Ульянову получить высшее образование хотя бы и заочно, экстерном. Дело в том, что среди друзей Ильминского фигурировал не только И. Н. Ульянов, но и, ни много ни мало, обер-прокурор Синода Победоносцев. Они переписывались и очень ценили друг друга; одиозный «Великий Инквизитор» отзывался об Ильминском с колоссальным уважением и сравнивал его со Стефаном Пермским, Трифоном Печенгским и Гурием Казанским (в 2015 году Казанская епархия РПЦ начала сбор материалов для канонизации Ильминского в лике местночтимых святых). Ильминский, через посредничество Победоносцева, мог оказать давление на ведавшего вопросами зачисления студентов министра просвещения – раз уж прямые ходатайства самого Ульянова и его матери не смогли растрогать сердце Делянова.

Правда это или неправда, но 12 сентября пришел первый положительный ответ на ходатайства Марии Александровны: Ульяновым – причем не только Владимиру, но и Анне – разрешили вернуться в Казань. И пусть студенческий сюртук пришлось сменить на пиджак и рубашку со шнурками-кисточками вместо галстука, наверняка это воспринималось как возвращение в столицу: Париж после Эльбы.

Нынешняя Казань с ее миллионом двумястами тысячами жителей и есть без пяти минут столица: витринный город «путинского процветания» нулевых – десятых, сумевший обеспечить себе постоянное присутствие в медиапространстве. На круг Казань выиграла от передрыг XX и особенно XXI века больше, чем любой другой поволжский город; видно, что живет она не только «оборонкой», как соседняя Самара, а еще и нефтью, сельским хозяйством, перерабатывающими производствами, в перспективе, может быть, даже туризмом. Три местных университета фигурируют в списке «топ-150» учебных заведений Восточной Европы и Азии. В 1990-е татары превратились в грозную политическую силу: открытый бунт резко исламизировавшегося – с национальным сознанием на стероидах – Татарстана стал самым страшным сном федерального правительства.

Район Первая гора был «тихим центром» и при Ульянове, и при Ленине, и при Шаймиеве – и сейчас. Именно здесь Мария Александровна и нашла дом, который в советское время превратили в казанский музей Ленина. Хозяева заломили 40 рублей в месяц – 40 процентов от доходов семьи (вся пенсия за отца составляла 1200 рублей в год), но Ульяновы вынуждены были согласиться: тепло, светло и минут двадцать пешком до университета – если бы ВИ вдруг приняли обратно. Наиболее похожее на дом-музей строение на улице Ульянова-Ленина оказывается избой, в которой угнездился Центр бахаизма; а вот правее, в глубине, находится двухэтажный дом, выкрашенный в цвет запекшейся крови (такой любят в Швеции), будто коттедж Петсона и Финдуса.

Внутрь удастся попасть с третьей попытки: в первые два визита автора в Казань дом «вот-вот» должен был открыться, но все ремонтировался и ремонтировался. Приходилось доволь-

ствоваться прогулкой по району; скорость его трансформации позволяет предположить, что раньше здешние строители работали механиками на «Формуле-1»; вместо старых особняков за считанные недели встают красного кирпича коттеджи и «жилые комплексы». Едва ли не единственный, кроме ульяновского, нетронутый старый дом здесь – жемчужина Казани, фамильное гнездо академиков Арбузовых, идеальная советская городская дача.

Открывшийся, наконец, музей производит впечатление учреждения, которое планирует делать бизнес не столько на оригинальном контенте (хотя дом-то правда оригинальный), сколько на очень «серьезном виде»: с недоумением взирающие на явившегося без группы китайцев посетителя экскурсоводы, костюмированные экскурсии, в ходе которых «хозяйка усадьбы», «госпожа Елизавета Ивановна Орлова» (на рекламной фотографии изображена доминатрикс в ярко-синем платье и шляпе а-ля «Трое в лодке»), рассказывает о своих «в будущем знаменитых постояльцах» «с использованием исторической лексики, дореволюционных манер светского салона и интерактивных приемов». Какой разительный контраст с Кокушкином, где служительницы, в голодные и злые на Ленина 1990-е ухаживавшие за ленинским домом бесплатно, как за храмом, и сами спасшие его от разорения, искренне радуются забредшим к ним душам. На заднем дворе, у сарайчика, припаркован велосипед-костотряс – с огромным передним и микроскопическим задним колесами. Для антуража; известно, что Ленин впервые сел на велосипед лишь в 1894-м, в Москве.

В комнаты можно лишь заглянуть, но даже и в бахилах не пройти полюбоваться, например, видом с балкона: затянута канатами, будто здесь только что произошло массовое убийство. Интерьер «максимально приближен к оригиналу», что в переводе на русский язык означает комбинацию ламината и обоев, подозрительно напоминающих ассортимент «Леруа Мерлен», со старинными чернильницами, зеркалами и рукомойниками; шахматный столик, микроскоп, термометр, фаянсовая сахарница, студенческая тужурка, форма городского, копии выписок из документов и «рукодельные работы Маняши» также на месте; дополняют экспозицию несколько картин маслом с хэштегом «лениниана». На первом этаже хранится – за тройным стеклом, будто это «Джоконда», – монументальная «Сходка в казанском университете»; подтянутый Ульянов кочетом насакивает на даже визуально «реакционных», жалких – видно, что они *on the wrong side of the history* – преподавателей... а больше и не рассмотришь ничего.

Чем, собственно, занимался ВИ сезон 1888/89 года? Известно, что он посетил однажды оперный театр и ходил в шахматный клуб (странное заведение, посетители которого по большей части предпочитали резаться в карты); играл по переписке со своим будущим патроном, самарским юристом Хардиным. Круг его знакомств практически неизвестен – хотя в городе обретались сразу несколько исторических личностей. Здесь как раз заканчивал гимназию Бауман, который уже тогда имел связи в рабочих слободах и по вечерам ходил туда соблазнять пролетариат марксизмом. После того как их выставили из Петербургского технологического, наведывались в Казань – и добровольно, и как ссыльные – братья Красины: Герман и Леонид. Наконец, ровно в это время в Казани обретался Горький – одна из самых знаменитых жертв закона о «кухаркиных детях»; он так стремился в университет – да вот не судьба. Занятно, что 12 декабря 1887-го, через неделю после разогнанной «сходки», Горький попытался покончить жизнь самоубийством: не то из-за несчастной любви, не то в связи с невыносимой для будущего художника атмосферой реакции, установившейся в Казани. Выжил – и, работая булочником в пекарне, помогал студентам обмениваться нелегальной литературой. Теоретически Ленин уже тогда мог угощаться горьковскими кренделями; однако позже оба утверждали, что не были знакомы в Казани и обнаружили курьезный факт пребывания в одном месте в одно время лишь в апреле 1908-го, на Капри; надо полагать, у них нашлись общие косточки для перемывания.

И все же в какой момент он всерьез задумался не абстрактно о возможности революции, а о том, чтобы самому стать профессиональным революционером? Осенью 1887-го, в универ-

ситете? В Кокушкине, когда глотал тома Чернышевского и Писарева? Во «второй Казани» – начитавшись «Капитала»?

По соседству с домом на Первой горе, в дешевых хазах в районе Собачьего переуллка («собачий» потому, что рядом был рыбный рынок, а на эту улицу кости выбрасывали – отсюда и стаи собак; теперь это в высшей степени респектабельная улица Некрасова), в студенческих квартирах собирались компании вольнодумцев. Мориарти диссидентской Казани в тот момент был 17-летний, на год младше Ульянова, Николай Федосеев («Они оба вышли, так сказать, с утра одновременно на дорогу», по выражению авторов предисловия к сборнику мемуаров о нем), которого 5 декабря 1887 года вытурили даже не из университета, а из гимназии; тогда же он открыл для себя сочинения Маркса и Энгельса. Федосеев развил необыкновенно энергичную деятельность, благодаря которой Казань в 1888 году стала меккой российского марксизма, далеко опередив Петербург и Москву, где деятельность марксистских кружков была временно заморожена. Федосеев обладал выдающимися коммуникативными способностями; у него была мания организовывать формировавшиеся вокруг самодеятельных библиотек кружки самообразования, нацеленные на распространение революционной литературы; причем дело было поставлено ультраконспиративным образом: в формуляр записывалось не имя читателя, а его номер: номер 15 читает первую главу «Капитала» (в списках, конечно), номер 42 – «Примечания» Чернышевского, номер 6 – «Наши разногласия» Плеханова. Члены кружков плохо представляли, кто руководит ими и какова общая структура организации – как впоследствии выяснилось, Ульянов и Федосеев умудрились ни разу не встретиться друг с другом, хотя Ульянов участвовал в одном из этих кружков и в дальнейшем использовал составленную Федосеевым «специальную программу теоретической подготовки марксистов». Проблема в том, что никто не знает, в каком именно кружке и чем конкретно Ульянов занимался: переводил с немецкого Каутского, гектографировал «Развитие научного социализма» Энгельса, пытался агитировать рабочих? Мы даже не знаем, были ли эти кружки с самого начала марксистскими или постепенно эволюционировали в этом направлении, изначально будучи скорее народническими. Разумеется, юноши были как минимум наслышаны друг о друге (Мартов в мемуарах утверждает, будто Федосеев сам говорил ему, что встречался в Казани с Ульяновым), но в 1922 году Ленин – так получилось, что Федосеев стал героем одной из самых последних его статей, – упорно настаивал, что очного знакомства не было; странная «невстреча». Все полицейские дела, из которых можно было бы узнать подробности, оказались утрачены еще до революции.

Так или иначе, казанская фабрика марксизма действовала недолго. Федосеева арестовали в июле 1889-го и так сломали ему судьбу: следствие по его делу длилось несколько лет, ему и подельникам пытались припаять создание террористической подпольной организации народовольческого толка; год он провел в одиночке, еще два промыкался по судам и тюрьмам; невеста, с которой его взяли, вышла замуж за другого... А вот Ульянова в городе уже не было; в самом начале мая мать, осознававшая, что добром эта подпольная – с танцевально-музыкальными вечерами, шахматной клубындой и библиотечными абонементом – деятельность не кончится, увезла ВИ в деревню Алакаевку Самарской губернии.

В Казани с тех пор ВИ был только проездом, но по-настоящему никогда не возвращался – только уже, как говорится, памятником; но город и после Гражданской войны продолжал посылать ему важные сигналы. Так, в мае 1921-го Ленин, наблюдавший в тот момент из окна своего кремлевского кабинета за строительством Шуховской башни на Шаболовке, прочел в газетах, что «в Казани испытан (и дал прекрасный результат) рупор, усиливающий телефон и говорящий толпе», – и тотчас заерзал: что? что? вот! вот! Впрочем, больше, чем собственно прогресс радиотехники, Ленина интересовали возможности, открывающиеся для пропаганды: его завораживала идея «устной газеты» – «без бумаги и без расстояний», которую кто-то с надлежащим выражением декламирует в Москве, и в тот же момент ее «читают» слушатели в той же Казани.

В Казани, где ВИ впервые наткнулся на настоящую, первую в своей жизни стену – и обнаружил, что неприступная, казалось бы, материя содержит в себе возможность перехода в свою диалектическую противоположность. Более того, существуют наука и технология, позволяющие форсировать этот процесс.

Не «толкни, и развалится» – а именно «ткни». Надо знать куда, точное место.

Самара 1889–1893

Главной проблемой чехословацкого лениноведения считалась так называемая «проблема кнедликов со сливами». Дело в том, что в 1920 году Ленин, беседуя с одним чехом, делегатом Коминтерновского съезда, неосторожно спросил его – а что, по-прежнему ли в Чехии едят кнедлики со сливами? Вопрос как вопрос; задал, наверно, из вежливости или чтобы разнообразить разговор о нюансах политического быта государств, образовавшихся при распаде Австро-Венгрии. Однако, потеряв виски, дотошные исследователи обратили внимание на то, что кнедлики со сливами – блюдо, которое в Чехии зимой подавать никак не могут, тогда как Ленин, считается, заезжал в Прагу: а) в феврале 1901-го, для организации ожидаемого приезда Надежды Константиновны; и б) в январе 1912-го, на Пражскую партконференцию. Не является ли – указательный палец вверх – этот вопрос косвенным свидетельством в пользу того, что была и третья – не зафиксированная в Биохронике – поездка Ленина в Прагу – состоявшаяся, с учетом сезонного графика чешской кулинарии, осенью? Расследованию этой загадки века – и попыткам откопать мнимых или подлинных свидетелей фантомного визита – и посвящало себя чешское лениноведение вплоть до бархатного 1989-го, когда все вопросы снялись сами собой.

По нынешним временам проблема «ленинских кнедликов» кажется смехотворной: какая, в сущности, разница, был или не был.

Насколько вообще глубоко сейчас имеет смысл влезать в биографию Ленина? Может быть, достаточно изложить ее на пяти страничках? Нужно ли, к примеру, подробно рассказывать о самарском периоде жизни Ленина?

В конце концов, в начале 1890-х с ним «ничего такого не происходило»: ну, изучал Маркса, ну, спорил с народниками, ну, работал юристом.

С той же легкостью, надо полагать, можно вычеркнуть из истории и сам этот период, контекст ленинской жизни. В конце концов, что такое начало 1890-х? Не 1905-й ведь и не 1917-й, ничего особенного.

Ничего?

В 1890 году в Англии случился банковский кризис – до такой степени серьезный, что вся финансовая система страны – в том числе сам *Bank of England* – оказалась на грани катастрофы; чтобы спасти ее и не объявлять дефолт, англичане заключили ряд закулисных договоров с своими финансовыми контрагентами, в частности с французами и русскими, о том, что те не станут изымать золото из Английского банка – и в обмен на это одолжение Франция получит ряд привилегий, в том числе негласное разрешение заложить для России – которая очень нуждалась в технологиях для модернизации армии и флота, но, после Крымской войны, искусственно сдерживалась Англией – верфи на Черном море, в Николаеве. Чтобы понятно было, о каких масштабах идет речь: в Николаеве были построены корабли от броненосца «Потемкин» до авианосца «Адмирал Кузнецов».

По сути, именно ход этого «забытого» (и воскрешенного только в романе Иэна Пирса «Падение Стоуна») кризиса предопределил очертания будущей Антанты – и на его последствиях сложился весь военно-политический дизайн Европы начала XX века, приведший к мировой войне и революциям.

Что касается России, то в 1891–1892 годах здесь разразился голод, затронувший 36 миллионов человек, особенно в Поволжье, в том числе в Самарской губернии; причинами этого кризиса тоже были не только климат – засуха и суровая зима, но и отсталость агропромышленных технологий, неэффективность общинного управления, а также финансово-экономическая политика правительства, которое было одержимо модернизацией – и очень нуждалось

в золоте, поэтому остервенело экспортировало хлеб под лозунгом, сформулированным министром финансов Вышнеградским: «Недоедим, но вывезем»; именно Вышнеградский занимался банковскими гарантиями от России для Англии и переговорами с Ротшильдами, чей банк, видимо, и инициировал кризис 1890-го. Голод спровоцировал и кризис идеологический: «марксисты» вошли в боестолкновение с «народниками»; именно в ходе этого конфликта и будут формироваться «политическая физиономия» Ленина, его стиль и идеологический арсенал.

Кризис 1890–1892 годов, как и было обещано Марксом, продублируется в России через несколько лет – в более затяжном варианте, в 1899–1909 годах; относительно событий этих лет вряд ли у кого-то возникнет сомнение в том, существенны ли они для жизни Ленина.

Таким образом, мы вновь возвращаемся к вопросу – где проходит грань между важным и неважным событием? Сколько «проблем кнедликов» нужно проигнорировать как нелепые и никчемные, чтобы биография Ленина свелась к цифрам 1870–1924? Сколько «периодов» ленинской биографии нужно вырезать, чтобы почувствовать себя в комфортной обстановке общепринятой сегодня поп-истории, в рамках которой Ленин вообще не является актуальной исторической фигурой – и поэтому может быть забыт, за ненадобностью?

Занятно, что в софистике этот парадокс называется «парадокс лысого» – разумеется, известный Ленину, что и зафиксировано в «Философских тетрадах»: «По поводу софизмов “куча” и “лысый” Гегель повторяет переход количества в качество и обратно: диалектика». Поставьте в ряд множество людей с разной степенью облысения – так, чтоб у каждого следующего было на волос меньше, чем у предыдущего; первый, с шевелюрой, – точно не лысый, и следующий за ним, и следующий – не делает ведь погоды один волосок. Но тогда – раз грани нет – получается, что когда мы дойдем до того, у кого на голове ничего нет, то и он тоже НЕ лысый. Что автоматически приводит нас к необходимости признать, что все лысые – на самом деле таковыми вовсе не являются; и вот тут, похоже, самое время вернуться к конкретному Ленину – чья фотография самарского периода как раз подтверждает вывод этого дикого софизма – ну и заодно иллюстрирует собой закон отрицания отрицания.

* * *

Диалектика Самары состоит в том, что, с одной стороны, то был провинциальный город на восточном краю Европы, а с другой – такая же часть глобальной сети, уже сложившейся к 1890-му, и, следовательно, такой же центр мирового водоворота, как Лондон, Прага или Петербург. «Матчасть» здесь принадлежала к XIX веку, и люди носили костюмы, как в пьесах Островского и рассказах Чехова, – но в идеологической сфере уже начался век XX, и в марксистах уже можно разглядеть будущих «большевиков» и «меньшевиков», в народниках – эсеров, а в едва-едва получившем статус губернского городе – «запасную столицу» СССР.

Нуворишеский город относился к категории «динамично развивающихся»; здесь выходили четыре местные газеты, функционировали гимназии и театр, библиотеки были укомплектованы новинками. Низкий культурный уровень низов общества, за счет которых нагуливали жир хлебные короли, – именно они задавали тон в городе, – был оборотной стороной свежеприобретенного благополучия; новая буржуазия сотнями тысяч гектаров хапала – у дворян, у башкир, у татар – землю, в хвост и в гриву ее эксплуатировала, нанимала сотнями и тысячами рабочих на сезон – а затем избавлялась от изнасилованной земли и выставляла людей на улицу, точнее, на пристань, где те и слонялись в поисках вакансий на одной из пяти паровых мельниц или каком-нибудь из десяти заводов. Эти жертвы капитализма имели больше общего с уличной гопотой, чем с дисциплинированными марксовскими пролетариями. Пристани и дебаркадеры на Волге кипели страстями – и пузырились бедностью; в центре было тихо, и, возможно, единственным праведником, который не позволял Самаре рухнуть в мальстрём варварства,

был городской гигиенист Португалов, который во время летних пыльных бурь имел обыкновение шокировать публику своим театральным видом – появляясь на улице в белом балахоне, с белым зонтом и в очках с защитными сетками; ВИ знал его сына, который в Казани, на той самой сходке, запустил в того самого Потапова не то стулом, не то подушкой от кресла. Университета, однако ж, в Самаре не было – и потому чувствовался дефицит молодежи, у которой плохо вырабатывался иммунитет против «революционной бациллы».

Идея переезда именно в Самару возникла с подачи Марка Елизарова; выхлопотав в МВД разрешение на переезд молодой жены, Анны Ильиничны, он загорелся идеей перетащить сюда всех Ульяновых.

Приемлемую квартиру нашли лишь в мае 1890-го – после трех неудачных попыток, включавших в себя встречи с плохими соседями и лихорадковыми миазмами. Район, правда, считался окраинным и имел дурную славу, а в первом этаже ульяновского дома, на углу Почтовой и Сокольничьей, в лавке купца Рытикова, продавали алкоголь – однако как один из колониальных товаров, дорогой и экзотический, и поэтому «контингент» предпочитал лечиться амбулаторно – не в ближайшей подворотне. Однажды, впрочем, злоумышленники ограбили рытиковский подвал, наказав купца на 300 целковых.

Улица с домом-музеем явно доживает последние дни – старые деревянные дома выкорчевываются на глазах, над деревянными могилками нависают высотные «жилые комплексы»; очевидно, что магия имени Ленина здесь не действует – по крайней мере в качестве охранной грамоты.

Что касается начинки дома, то тут, пожалуй, остаются в памяти разве что стенды с «занимательными» викторинными вопросами для школьников: семья Ульяновых прибыла в Самару: а) на поезде, б) на самолете, в) на лошадях, г) на автомобиле, д) на корабле (странным образом, правильный ответ – не только «д», но и «б», потому как пассажирский, с двумя гребными колесами, пароход, на котором в начале мая 1889-го приплыли в Самару Ульяновы, в просторечии назывался «самолет» – в силу принадлежности обществу «Самолет», которое в 1918 году, как и все прочие коммерческие пароходства, было национализировано особым декретом Ленина).

Обнаружить «следы Ленина» в Самаре не штука – сохранились десятки зданий, где он жил-бывал; многие обременены мраморными досками и числятся памятниками федерального значения; названия улиц написаны на домах «на двух языках» – в двух версиях, советской и «старорежимной». Аппарансы то есть соблюдены, но здания эти иллюстрируют не столько сюжет «Самара дореволюционная», сколько «Самара перестроенная»: ветхие строения завешаны рекламой – «чиллеры, фанкойлы, очистители, увлажнители», «деловой английский», фотомастерская «Дядя Федор»; старые фасады залеплены тарелками и кондиционерами.

Дворянско-купеческо-разночинная Самара, среда, в которой существовал Ульянов, вытравлена и заселена заново, причем не один раз. Образы «ленинской эпохи», которые сначала естественно, потом искусственно удерживались в коллективной памяти, постепенно выцветают, изглаживаются, затушевываются – как выращенный из деревьев в Пискалинском взвозе – деревне на левом берегу Волги, недалеко от Самары, – гигантский геоглиф: «Ленину 100 лет»; и со спутника-то едва разглядишь.

Самара на самом деле – не столько место, где ВИ проживал свое «дистанционное» студенчество, и не столько поприще его интенсивной юридической деятельности, и даже не столько шахматная столица Ленинлэнда (где он регулярно играл с юристом Хардиным), сколько территория, где через него пророс марксизм; и в этом смысле в советские годы логичнее было бы переименовывать Самару не в Куйбышев, а, вместо соседнего Екатеринограда, как раз в Маркс.

Соответственно, главным уцелевшим артефактом этого периода, пожалуй, следует признать фотографию Маркса, которую ВИ откуда-то раздобыл и держал у себя в альбоме – фотографию с оттиском подписи и пожелания: «Salut et fraternite. Karl Marx. London. 27 juni 1880» – не ему, Ульянову, конечно, но всё же – то был автограф самого Основоположника. (Гротескным

образом, к марксовской прибавилась инскрипция других братьев – космических – с фамилиями Комаров, Егоров и Феоктистов; в 1964 году эта открытка побывала на орбите.)

Что касается Грааля марксистов, то он, как и полагается такого рода святыням, утрачен: и это, конечно же, «Манифест коммунистической партии», переведенный самим Лениным.

Мы можем только воображать, как на ВИ, находящегося в состоянии философского поиска, в девятнадцать-двадцать лет действовал марксизм: вряд ли слово «наркотически» будет гиперболой. То была Окончательная Теория, объяснившая ему, по каким историческим законам развивается общество – и как его можно изменить, спрямить то есть, кривую и долгую дорогу из пункта А в пункт Б. Для этого не надо медленно ждать, довольствуясь «малыми делами»; марксизм давал рычаг, способный изменить мир быстро, при жизни, и воспользоваться плодами революции, – и, кстати, то был еще и род софистики, теоретическая база, позволяющая побеждать в любом споре – социологическом, политическом, философском, историческом.

Ленин точно усвоил, что марксизм – учение об объективно существующих в обществе противоречиях и способах их снятия: такая же наука, как география, имеющая в своей основе представление о Земле как о шаре, или классическая физика, строящаяся на законах, открытых Ньютоном. Именно поэтому кто угодно может сказать, что «Маркс устарел», что «Маркс неприменим к России», что «марксизм скомпрометирован большевизмом», что «марксизм – завуалированная еврейско-масонская идеология», что капитализм оказался гораздо более жизнеспособным, чем представлялось и Марксу, и Ленину, и способен порождать не только Рокфеллеров, но и Кейнсов (общество всеобщего благосостояния), Гейтсов и Баффетов (с их программами благотворительности) и Джобсов (икон буржуазии, которая способна навязывать пролетариату опиумный культ технологий и дизайна), что капитализм может коррумпировать и соблазнять пролетариат более тонко, чем простым увеличением цифр в зарплате, и предлагать ему привлекательный образ будущего, которое выглядит достижимым с меньшими затратами и кризисами, чем казалось в XIX веке. Даже если и так, Волга впадает в Каспийское море, а дважды два – четыре: развитие производительных сил определяет собой развитие производственных отношений – и развитие общества (или, в переводе: технологический прогресс ведет к ревизиям итогов приватизации и перетряхивает отношения классов внутри общества; сначала богаче всех были Рокфеллер и Форд, теперь Гейтс и Цукерберг; богатство перераспределилось – но классовая структура, неравенство и несправедливость остались).

Ленин был настоящим знатоком Маркса, одержимым талмудистом; сочинения Основоположника – от «Манифеста Коммунистической партии» до четырехтомной переписки, которую он сам законспектировал, – были его коньком.

Самые очевидные текстовые памятники этому увлечению – популяризаторские тексты о Марксе: статья «Карл Маркс» для энциклопедического словаря Граната, «Исторические судьбы учения Карла Маркса», «Три источника и три составные части марксизма». Эти тексты, вкупе со списком исторических деяний Ленина, позволяют использовать формулу «Ленин – это Маркс на стероидах», подразумевающую как раз то, что Ленин не только объяснил мир, но и изменил его, реализовав известный фейербаховский тезис.

Что остается в этих текстах за кадром, так это что Маркс на протяжении жизни претерпевал разного рода эволюции – и склонялся в некоторых вопросах, например, о роли демократии, о том, считать ли крестьянство революционным классом, прогрессивна ли национально-освободительная борьба некоторых народов, то на одну, то на другую сторону; соответственно, сочинения Маркса и Энгельса давали его великим апостолам – Бебелю, Либкнехту, Бернштейну, Каутскому, Люксембург, Плеханову, Ленину, Троцкому, Богданову – множество материала, который можно было толковать и трактовать, исходя из собственных представлений о том, что сейчас правильно; выдвигая вперед одни соображения и пропуская мимо ушей другие, применяя их к конкретным политическим ситуациям – периодам голода, обострения классово-

вой борьбы, реакции, прочитывая Маркса с помощью разных кодов, вы как бы адаптировали эту операционную среду под себя; и получалось так, что ваша версия марксизма могла сильно отличаться от той, что была установлена в голове вашего товарища.

Из Маркса (который был, например, «историческим расистом» и рассматривал славян как революционный материал неважного качества) можно вычитать, что в России никак нельзя совершить пролетарскую революцию до того, как она произойдет в Европе; а можно и наоборот – что как раз здесь крестьянство должно дать такую вторую волну революции, что движение к коммунизму окажется сильнее и необратимее, чем в Европе. Из Маркса можно было извлечь и довольно разные представления о том, как, собственно, выглядит точный рецепт преодоления капитализма в той стадии, когда он перешел в загнивающую стадию; а также на что именно похож конец истории – коммунизм; поскольку тома «Капитала» – аналогичного «Незнайке в Солнечном городе» – не существует, вы можете предлагать свои варианты.

Оглянитесь вокруг (можете представить себя в 1891-м, или в 1916-м, или сегодня): созрели предпосылки для революции или нет? Актуальна эта идея? Как посмотреть: чтобы ответить «да» или «нет», вы можете апеллировать к одним статистическим данным или к другим, или к здравому смыслу, или к «ощущениям» – или к открытым Марксом (или кем-то еще) историческим законам, сулящим реализацию того или иного исторического варианта.

В целом, используя хэштег «#Маркс», мы подразумеваем пять-десять других «знаковых» слов и словосочетаний (социализм, классовая борьба, прибавочная стоимость, диалектический материализм, диктатура пролетариата), естественно, осознавая, что «Маркс» этим поп-набором «кубиков марксизма» не исчерпывается. В зависимости от ситуации вы можете выбирать то, что вам представляется в марксизме важным именно сейчас: положение о ключевой исторической роли пролетариата, или учение о прибавочной стоимости, или тезис о концентрации средств производства, или развернутое объяснение значения и принципов функционирования денег в обществе. Очень грубо говоря, для революционеров эти идеологемы – нечто вроде энергетических ступок, какими обмениваются герои комиксов; эти «допинговые препараты» дают вам силу «прокручивать» историю быстрее, чем она движется естественно.

Если налепить Ленину на спину ярлык «Шахматист», можно сказать, что философская система «Маркс» была для него чем-то вроде шахматного набора: правил игры, фигур, обладающих разными возможностями, учебника шахматной игры, позволяющего выстраивать те или иные выигрышные комбинации; научившись азам этой новой для себя «игры» на рубеже 80—90-х, Ленин иногда играл так, иногда сяк; иногда без коней и даже без ферзя – но в рамках «шахмат марксизма» как системы теории и практики. Присутствует ли за шахматными правилами идеология? Неочевидно; и ровно поэтому получается, что и «экспроприация экспроприаторов», и «учитесь торговать» – марксизм: во-первых, потому что из явления «обмен товаров» вырастает все капиталистическое общество с его противоречиями; во-вторых, потому что абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. Над этим парадоксом иронизировал в свое время Радек: «Ленин, как истый марксист, принимает решения на основании фактов, а уже только потом строит теорию, объясняющую эти решения»; если это ирония, конечно.

Важно, что отношения Ленина и Маркса представляют собой вовсе не застывшую раз навсегда в 1889–1890 годах скульптурную композицию в духе сталинских монументов, но сложную драму, участники которой находились в запутанных отношениях друг с другом; мы намеренно говорим о Марксе как о живом участнике этих отношений.

По сути, то, что называется «Маркс», – это такой Солярис, мыслящий океан, приглашающий к общению, но не гарантирующий того, что каждый выловит из него один и тот же набор для своей идеологической паэли.

Ленин восхищался этим океаном, эксплуатировал его ресурсы – и всю жизнь пытался извлечь оттуда новые идеи, с помощью которых можно было верно – для взятия и удержания

власти – проанализировать текущую ситуацию (и расправиться с конкурентами) как не только сиюминутную, но историческую – и наполненную живыми противоречиями.

В этом смысле одна из версий идеальной биографии Ленина – это описания его сеансов купаний в этом океане, хроника коммуникации между ним и этим живым организмом, попытки распорядиться своим уловом с максимальной выгодой.

Поскольку Маркс – «живой», то крайне важным становится вопрос о доступе к этому «Солярису». Ленин часто декларативно говорил о запрете на любые ревизии Маркса. Естественно – подставляясь под обвинения в «гелертерстве»: что он якобы даже и не понимает, где проходит грань между ревизионизмом и творческим осмыслением, следованием курсу – и рабским копированием, начетничеством. Разумеется, Ленин прекрасно осознавал серьезность таких обвинений, однако монополия – удобная вещь для того, кто ею владеет, и если вы даете слабину, то ваш конкурент может выловить из этого мыслящего океана что-то такое, что наведет людей на предположение, что вручить власть лучше не вам, а ему.

Среди прочего, это означает, что мы, конечно, можем попытаться прочесть Маркса «по-ленински», «глазами Ленина», но штука в том, что опыт этот принципиально неповторим.

Ленин читал Маркса неодинаково, пользуясь для расшифровки разными кодами – и сообщая свои толкования с разными внешними обстоятельствами. В 1914–1915 годах Ленин, к примеру, приходит к мысли, что читать «Капитал», не пользуясь кодом Гегеля, гегелевской философии, – значит вульгаризовать Маркса. «Нельзя вполне понять “Капитал” Маркса, и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв всей Логике Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса ¹/₂ века спустя!!» Опубликовать свое открытие он не стал, но сама формулировка примечательна: получается, первые двадцать пять лет сам Ленин понимал Маркса неправильно.

* * *

Теория марксистов привлекала к себе неофитов, по-видимому, не только как научная, но и как нигилистическая, позволяющая расплываться с прошлым. Не зря многие мемуаристы, рассказывая о своих первых шагах в марксистских кружках, упоминают «нигилистский» вид будущих большевиков: косоворотка, студенческая фуражка, синие очки, волосы до плеч; впрочем, сколько ни обвиняй молодого Ленина в «ткачевщине» и «нечаевщине», копированием внешних атрибутов этой публики он точно не злоупотреблял.

Возраст «самарского» Ленина – между Вергером (вначале) и Евгением Онегиным (перед отъездом), и все это время он то и дело демонстрирует то свою «шершавую оригинальность» (копирайт В. Засулич), то вкусы и манеры «особенного человека» из Чернышевского, не вписываясь ни в один из известных типажей.

Единственный не имеющий отношения к семье персонаж женского пола, к которому можно – без особых оснований – привязать Ленина в самарский период, – это пламенная, изначально из группы «русских якобинцев-бланкистов» революционерка Мария Яснева-Голубева, на девять лет старше Ленина, высланная из столиц за народническую деятельность. Ульянов бывал в ее квартире в доме на Дворянской улице (дом сохранился, это бросающееся в глаза здание в псевдорусском стиле) – а она в доме его семьи; задним числом, поработав на доставке «Искры», а затем и в питерской ЧК, она опишет его как «невидного, выглядевшего старше своих лет молодого человека». Из мемуаров известно еще, что на одной костюмированной вечеринке ВИ сделал шутовское внушение двум кичившимся своей либеральностью девушкам, которые нарядились одна царицей, а другая рабыней («Что же это, слова у вас одни, а костюмы вам нравятся совсем другие?»), а на праздновании нового, 1892 года очень неуклюже танцевал кадрили: «давал руку чужой “даме”, вместо своей, брал за талию вместо “дамы” случайно

подвернувшегося кавалера из другой пары»; следующий раз мы застанем Ленина танцующим только в Женеве.

Если типажом эпохи был «вечный студент», то ВИ ему катастрофически не соответствовал: университет, куда он, наконец, записывается летом 1890-го, 20-летним, он успевает окончить со второй космической скоростью, схватив по книгам за полтора года то, чему обычные молодые люди, на лекциях и семинарах, выучивают за четыре. Когда он, собственно, был студентом? В Алакаевке и на сессиях в Петербурге, где сдавал, будто орешки щелкал, право – гражданское, уголовное, римское, финансовое, церковное, международное. Исследовательница Р. Поддубная обнаружила в журнале приемов Департамента полиции Петербурга от 1890 года запись о том, что Ульянов просил разрешения выехать за границу; причиной могло быть желание поступить в иностранный университет, поехать на лечение – или установить контакты с иностранными марксистами; возможно, всё вместе; но до 1895-го ВИ никуда так и не выпускают.

Эпопея с попытками получить высшее образование заняла на круг все же почти пять лет – но зато сразу после получения диплома, в начале 1892-го, ВИ утверждается в должности помощника присяжного поверенного – того самого Хардина, который еще в 1889-м был его партнером по игре в шахматы по переписке.

Сюжет «Ленин-юрист» кажется страшно перспективным: вот тот «гришэмовский» молодой человек, который сумел бы добиться оправдания Джека Потрошителя или спасти от электрического стула Рудольфа Абеля.

Тема «Юридическая деятельность помощника присяжного поверенного Ульянова» исследована вдоль и поперек; мы знаем, что он провел в Самарском суде 18 дел: 15 уголовных и 3 гражданских – и везде представлял чужие интересы бесплатно, был казенным адвокатом, то есть чем-то средним между собственно адвокатом и общественным правозащитником.

Самарские нравы напоминали скорее о Диком Западе, чем о крае дворянских гнезд; город и губерния кишели любителями пожить за чужой счет. Основная клиентура ВИ была гротескно-мелкотравчатой, из уголовных, настоящий фестиваль «чеховских» злоумышленников: один украл валявшееся возле лавки купчихи чугунное колесо, другой позарился на мерзлое белье на веревке, третий с пьяных глаз матерно обругал сначала Богородицу, а потом и царя, четвертый недосмотрел за покотившейся дрезиной, пятый утащил у коллежского регистратора «потертый форменный сюртук, мешок и 3 горбушки хлеба»... Ни Робин Гуда, ни Ринальдо Ринальдини, ни Дрейфуса – никаких «резонансных» или «романтических» клиентов и, соответственно никаких громких триумфов, одна беспросветность; и неудивительно, что Ленин восхищался только что вышедшей «Палатой номер 6». Задним числом ВИ сам иронизировал над своими успехами в этой области – мол, не выиграл ни одного дела; поскольку вина подозреваемых во всех достававшихся ему делах не подлежала сомнению, ему приходилось просить не столько об оправдании, сколько о смягчении приговора, снисхождении, ввиду таких-то и таких-то обстоятельств. Несколько раз он отказывался вести защиту – например мужа, уличенного в избиении жены кнутом. Сам ВИ, впрочем, никогда не жаловался ни на мелочный характер деятельности, ни на значительные усилия, потраченные втуне; есть ощущение, что он занимался этим больше по надобности, чем по душевной склонности; так же инерционно, как облакался, чтобы идти в суд, в отцовский фрак. Самое знаменитое в ленинской юридической карьере дело, странным образом, было инициировано им самим: он подал в суд на жлоба-купца, который, полагая себя перевозчиком-монополистом на некоем участке Волги, остановил лодку, нанятую ВИ и Марком Елизаровым для переправы, и силой заставил пассажиров пересечь на свой транспорт. ВИ показал зубы, закатал рукава, трижды за свой счет ездил в Сызрань давать показания – и упек-таки обидчика за решетку на 30 суток, продемонстрировав если не характер, то упрямство. Часто представляясь в дальнейшем «доктором прав», особенно за границей, в Германии, Англии и Польше, он, похоже, основной про-

фессией, «призванием» считал работу революционера и литератора; юриспруденция была чем-то вроде «ремесла». Он будет консультировать шушенских крестьян и уголовников в Новом Тарге, будет вести дело о наследстве Шмита и вызволении из тюрем большевиков, обвиненных в причастности к тифлисскому ограблению; безусловно, юридическое образование окажется значительным подспорьем в тот момент, когда он станет главой государства, в котором заново придется создавать законодательство. Но к профессии относился не без брезгливости, воспринимал ее, похоже, как классово маркированную – и в качестве эффективного средства борьбы против системы юриспруденцию не рассматривал: «Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы... эта интеллигентская сволочь часто паскудничает... Юристы самые реакционные люди, как говорил, кажется, Бебель... ты, либералишко...» и т. п.

То, что Ульянов в Самаре, даже получив солидную хлебную профессию и имя, продолжал курс на конфронтацию с системой, свидетельствовало, конечно, и о порочности системы – которая не смогла интегрировать талантливую заблудшую овцу в общество – и в конечном счете вытолкнула ее из страны в мир кнедликов со сливами, радикализовала и озлобила; с государственными чиновниками, по ВИ, есть один способ разговора: «рукой за горло и коленкой под грудь».

Узость круга «интеллектуалов» способствовала сплочению в «кружки» – куда шли, чтобы сбежать от вульгарности и беспросветности провинциальной жизни, наглотаться книжек, от которых мир вокруг становится светлее, – но, пока не распространился марксизм, ограничивались распитием чая, и не только чая, и кадрилями на благотворительных вечеринках в пользу политзаключенных. Самые отъявленные типы перепечатывали на гектографе романы Чернышевского и устраивали в турпоходах мобильные лектории, докладывая под плеск волжской волны свои воззрения на основы этического учения о благах. Чтобы составить представление об антураже этой нелегальной, щедро разбавленной жигулевским пивом деятельности, вы можете, оказавшись в Самаре, прийти – нет, не в знаменитую пивную «На дне», где тоже бывал ВИ, – а на Садовую, 154. Дом сейчас другой, но на старом фундаменте, да и мраморная доска придает этим дровам известное величие. Именно здесь, в месте обитания Алексея Скляренко, который затем на протяжении двадцати лет будет делать безупречную революционную карьеру, проходили собрания ленинского кружка и хранилась подпольная библиотека. Распропагандированный ВИ, хозяин квартиры перекрестился из народников в марксисты, а затем и в большевики; мы увидим его даже в Лондоне, на V съезде РСДРП, – куда он попал с паспортом на имя Скарловского, хотя до того был Бальбуционовским, но угодив раз на допрос к жандармам, выяснил, что на самом деле он внебрачный сын совсем не того человека, которого считал отцом, а другого. После этого он был вынужден – так полагалось – поменять отчество и фамилию – на «Попов», и уж затем стал Скляренко, по матери (хотя в «Правде» и «Просвещении» подписывался: «Босой»).

До появления ВИ в насыщенной ономастическими парадоксами интеллектуальной среде Самары доминировали так называемые «огарки»: политически расхристанные, помышляющие о народных тяготах и возможности революции между рюмкой водки и кружкой пива интеллигенты. Иногда это были аборигены, иногда вернувшиеся из Сибири после ссылки и осевшие в Самаре – с которой они познакомились по дороге на восток: здесь был этап – народники. «Огарки», по словам мемуариста Семенова, представляли собой компании субъектов, «часто опустившихся до потери человеческого облика» – и, судя по манере их лидеров расшибать гитары об печку (чтобы «лучше звучала»), представлявших собой аналог панков 1970-х. Квартиры их были щедро укомплектованы обсосанными раковыми панцирями, грязными половиками и пустыми чемоданами. Это были выродившиеся, деградировавшие Достоевские бесы, по инерции считавшиеся народниками, но после общения с настоящим народом утратившие веру в его воскрешение. Скорее всего, они тоже пытались прочесть «Капитал», но «ломали зубы на первых десяти – двадцати страницах этой книги, в которых излагается диалектика сто-

имости» – и, во-первых, не вполне понимали, при чем здесь революция, а во-вторых, считали ниже своего достоинства переписываться в марксисты, полагая тех циничными падальщиками, которые готовы были принять крестьянство в качестве своей клиентуры лишь после того, как оно пролетаризуется.

Самарская атмосфера, видимо, действовала и на самого ВИ – который даже и в боевую стойку вскакивал здесь из положения «лежа». Его товарищи по марксистскому кружку вспоминают, что он являлся в гости, заваливался на хозяйскую постель (под ноги стелилась газета) и подавал голос лишь тогда, когда слышал от других участников посиделок явную ахинею; и вот когда на его «Ерунда!» обиженный начинал вскипать, ВИ вскакивал – и выливал на оппонента настоящий ушат критических помоев.

Поскольку ровесники Ульянова – разночинное поколение, родившееся в начале 1870-х, – уже не вполне понимали, в силу каких причин им нужно «идти платить долг народу», марксистские кружки весьма успешно конкурировали с народническими. И совершенно понятно, почему ВИ, прочитав Маркса, стал относиться к народникам с брезгливой неприязнью – которую мог выплеснуть на них в своих «рефератах»: так назывались лекции с последующей дискуссией для небольшого кружка; род нынешних «восьмидесятислайдовых презентаций»; именно из них вырастут его «Друзья народа».

Народники – во всех ипостасях: культурной, экономической, политической – не могли не раздражать ВИ – как любые люди, чья производительность труда ниже возможной: явление, с которым он боролся всю жизнь. Если уж они берутся улучшать общество – то почему делают это так кустарно? Что такое «теория малых дел», когда есть научный способ изменения мира? Что такое вся эта долгая работа с народными массами – агрономическая помощь и культурное просветительство: какой смысл инвестировать в крестьянина, если передовой класс – пролетариат, а история делается за счет классовой борьбы, «скачков», революций – а не медленного улучшения качества жизни и нравов? Как можно идеализировать «оазисы антикапитализма», общины и артели, если объективно эти институты только искусственно подмораживают существующие социальные отношения, а не становятся материалом для новых, более прогрессивных форм?

Кроме того, народники – которые, разумеется, делали благое дело, бескорыстно помогали и просвещали слабейших – раздражали ВИ потому, что орудием преобразований выступала неорганизованная интеллигенция, с ударением на первом слове. Если бы народническая интеллигенция по крайней мере в состоянии была явить себя в форме партии или законспирированной организации, члены которой действовали слаженно, подчинялись уставу и посвящали себя методичной борьбе с государством «за права народа» и за политические свободы, – тогда бы еще куда ни шло, к ним можно было бы относиться пусть не как к авангарду революционного движения, но хоть сколько-нибудь всерьез. Но времена титанов «Народной воли» прошли, а эпоха эсеров еще только брезжила.

На самом деле народники вовсе не были глупцами и, отрицая возможность развития в России «стандартного», как в Европе, капитализма, знали, о чем говорили.

Курьез в том, что после революции Ленин вынужден будет строить социализм в стране, которая явно еще не исчерпала прогрессивный ресурс капитализма, не прошла капиталистическую стадию развития. Но, чтобы не отдавать власть обратно буржуазии, которая могла бы, конечно, обустроить капитализм должным образом, Ленин, по сути, возвращается к «друзьям народа», которые полагали, что капитализм России не нужен; и то, что Ленин соглашается принять аграрную программу левых эсеров, формально подтверждает его превращение в народника (разумеется, если бы вы сказали об этом ему самому, он выцарапал бы вам глаза – как Богданову, который объяснил в 1909-м, что он, Ленин, истребитель меньшевиков, на самом деле и есть меньшевик). Как и его превращение после 1922-го в «крестьянского вождя»: пролетариата к этому моменту в России окажется слишком мало, чтобы опереться на него, – да

и Кронштадт покажет его ненадежность. Так Ленин возвращается к тому, что ключевой класс в России, как ни крути, – крестьянство. Крестьянство, которое за счет кооперации и «смычки» с городом, с пролетариатом, могло стать не худшим локомотивом истории, чем пролетариат. Медленнее, конечно, – но в том же историческом направлении; тише едешь – дальше будешь.

И не надо думать, что марксисты с народниками в одной берлоге не уживаются – уживаются, и еще как. И то, что народник Преображенский с алакаевского хутора Шарнеля оказывается в 1923 году управляющим совхозом Горки, где медленно умирает Ленин, – тому свидетельство.

Теоретически удаление Ульяновых в Алакаевку – за 70 километров от Самары – тоже вписывалось в народническую модель поведения: интеллигентная семья обустраивается на земле; другое дело, что Ульяновы приехали сюда не столько для того, чтобы стать ближе к народу, сеять разумное, доброе, сколько с намерением построить там капиталистическое агропромышленное предприятие. В поместье имелись дом, 60–80 гектаров земли и мельница; судя по тому, что за них отдали большую часть того, что было у семьи за душой – семь с половиной тысяч рублей, – предполагалось эксплуатировать эти земельные ресурсы. Старшим мужчиной в семье был ВИ; он прочел множество книг о ведении сельского хозяйства, так что, получается, именно он и должен был сделаться сельским капиталистом.

Что из этого вышло на самом деле?

Главной достопримечательностью Алакаевки была бедность: здесь мыкались около двухсот человек. В каждом четвертом крестьянском хозяйстве не было лошади; у многих – особенно живших ближе к ульяновскому хутору – и земли-то не было вовсе: их освободили в 1861-м только с участком, на котором стоял дом, а собственно пахотную землю приходилось арендовать. Ни одного грамотного среди жителей деревни – что, впрочем, не помешало им в первый же «алакаевский» сезон, в 1889-м, украсть у европейски образованных Ульяновых лошадь, а потом и корову. Всеведущий биограф Ленина Волкогонов утверждает, что ВИ «даже подал в суд на соседских крестьян, чей скот забрел на посевы хутора», – и выиграл дело.

О «помещическом» периоде ВИ известно мало – лишь то, что в первый год Ульяновы посеяли подсолнечник и пшеницу, а потом, по рассказам самого Ленина жене, бросили это дело: «Нельзя, отношения с крестьянами ненормальными становятся». Земля была сдана в аренду – и всеми отношениями с арендаторами занимался некий Крушвиц, который то ли выплачивал Ульяновым фиксированную сумму, то ли забирал себе посреднический процент от денег, собираемых с крестьян. Ульяновы жили в Алакаевке летом, как на даче, а в зимний сезон перебирались в Самару, и, похоже, управление имением занимало в жизни ВИ еще меньше места, чем работа юриста.

Интересно, что Алакаевка была куплена у человека по имени Серебряков, который был капиталистом с идеями. Потерпев поражение при попытке вести в центре России хозяйство передовыми европейскими методами, он за год до появления здесь Ульяновых передал часть своей земли и технику в аренду тем, кто хотел продолжить эксперименты, но имел для этого лишь собственные силы, – изгнанным из университетов с волчьими билетами студентам и прочим разночинным энтузиастам народничества. Рядом с Алакаевкой находился хутор Шарнеля – знаменитое на всю Россию место, которое описано в художественной литературе и сделалось объектом паломничества крестьян-сектантов, поскольку жила там как раз та самая публика, которая полагала, что община, «мир» – это, по сути, коммунистическая ячейка, так что в коммунизм проще всего попасть с крестьянами, занимаясь честным хлебопашеством. ВИ много общался с колонистами, в особенности с А. А. Преображенским, который делился с ним своими проблемами (богатые крестьяне гнали пришлых «скубентов», предлагавших менять порядки, – угрожали им, избивали). Они обсуждали, что делать с оставшимися без помещиков и в общине крестьянами – тем «токсичным» классом, который явно не в состоянии гарантировать России конкурентоспособность в гонке со странами Запада. Уже тогда страх, что Россия

станет колонией Запада, терзал патристическую интеллигенцию. Одним из рецептов сопротивления было донести до крестьян, что община – это и есть социализм, ну или почти социализм, и раз так, крестьяне, сами того не осознавая, – ходячие бациллы социализма, так что никакая Европа им не нужна.

Более трезвомыслящий ВИ нашел в Преображенском партнера по исследованиям местного населения и устраивал через него анкетирование крестьян – за свой счет напечатать несколько сотен бланков, – чтобы подтвердить, что капитализм проникает в деревню.

Между Алакаевкой и Кокушкином – примерно 350 километров, Алакаевка сильно ниже по Волге; обе деревни в часе-полтора езды от городов – соответственно, от Самары и Казани. Из связи с Лениным Алакаевка извлекла много больше: село, где ленинская тема – центральная, выглядит очень ухоженным: кроме школы, большой библиотеки, ДК и парка, здесь есть даже хоккейный стадион – с прожекторами, словно где-то в Канаде или Финляндии; ВИ не вылезал бы оттуда ни днем ни ночью.

«Иконическое здание» Алакаевки, странным образом, – не гнездо Ульяновых (которое слишком похоже на обычный деревенский помещичий одноэтажный дом), а двухэтажный советский кирпичный дом с умопомрачительной мозаикой на торце: «Молодой Ленин»; ради нее одной сюда можно приехать не то что из Москвы – из Пекина. Главная изюминка ульяновского дома – экскурсовод, подходящий к своему делу творчески и сообщающий, среди прочего, что Ленин однажды не испугался провести ночь на местном «окаянном» месте – могиле девушки, которая из-за пристававшего к ней барина покончила жизнь самоубийством, и даже повесил там свою кепку – чтоб никто не боялся.

Если в деревне читали всё подряд, несистематически, без разбора – особенно всё околуполитэкономическое (желевские издания группы «Освобождение труда», капитальные «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства» Н. Даниельсона, даже протоколы заседаний германского рейхстага), – то в городском кружке, который вел сам ВИ, дело было поставлено иначе. Работа велась в деловой, исключавшей всякую мечтательность атмосфере; девизом занятий была «методичность и регулярность». В одни и те же дни и часы, по четко составленной программе: общие основы марксизма, связи между философскими и экономическими учениями, абсолютная прибавочная стоимость, концентрация и централизация производства, диалектика, исторический материализм, научный социализм, теория государства. В таком исполнении марксизм действовал на самарскую молодежь, как магнит на железные опилки. Схема: «капитализм – индустриализация – рождение пролетариата – рост сознательности – революция» выглядела настолько убедительной, что мало у кого находились оправдания морально разлагаться.

Самара, как и Симбирск, находится в местности с географическим «фортелем» – наводящей на мысли о преобразовании гидроресурсов в электричество и позволяющей совершать речные «кругосветные» путешествия: спускаешься по Волге мимо Жигулей, по излучине Самарская Лука, километров через семьдесят, у села Переволоки, перетаскиваешь на своем горбу лодку в речку Усу – и возвращаешься по ней обратно в Волгу, но уже выше, у Тольятти (бывшего Ставрополя); оттуда обратно в Самару; классический маршрут для дружных компаний, достаточно многочисленных, чтобы перетаскать на плечах лодку. Сохранилось описание похода с участием ВИ 1890 года; в мемуарах мелькают словосочетания «лодка “Нимфа”» и «домашняя вишневка». Маршрут предполагал ночевку у утеса Стеньки Разина – того самого, «есть на Волге утес, диким мохом оброс» – и интервью у эха, которое сам ВИ и продемонстрировал всем, кто готов был выслушать этот сатирический диалог:

К вам министры приезжали?

Эхо отвечало: жали.

Ваши нужды рассмотрели? ... ели

Как же с ними поступили? ... пили.
 Вышнеградский у вас был? ... был.
 Все вопросы разобрал?... брал
 Чем с ним кончен разговор? ... вор!

Интересно, что ВИ – сразу несколько знакомых ссылаются на его рассказы – совершал это четырехдневное путешествие несколько раз и в одиночку, из спортивного интереса, а также ради изучения уклада. У Ульянова имелись высокопоставленные предшественники и последователи – здесь Репин писал этюды к «Бурлакам»; здесь в 1878 году десять дней под именем Маланьи Переваловой прожила Софья Перовская – поменяв платье и туфли генеральской дочери на сарафан и лапти; сюда в середине 1890-х плавал Горький, а Кржижановский еще до революции рыскал здесь в поисках возможности поставить большую электростанцию. В селах можно было познакомиться с сектантами. В Екатериновке, между прочим, даже стоит стела – напоминающая эфиопские, в Аксуме, – с табличкой про май 1890-го: «во время Жигулевской кругосветки» село посещал Владимир Ильич Ленин. Кругосветки популярны сейчас не меньше, чем в ульяновские времена, – и наслаждающиеся возможностями импортозамещения туристы, любуясь Змеиным затоном, вершиной Тип-Тяв, Царевым курганом и Жигулевскими горами, со значением пересказывают друг другу байки про то, что именно тут Стенька Разин закопал свои сокровища, припечатав ход в яму не только камнем, но и заклинанием: «а кто его отвалит, тот найдет много золота, исполнит главное желание, но сам весь облысеет и род его весь переведется»; текст, наводящий на мысли об альтернативных источниках финансирования большевистской прессы в 1917-м.

Как раз в самарские годы ВИ открыл для себя науку статистику – которая помогала опровергнуть интуитивное ощущение, что «какой там у нас капитализм»; он был уверен, что ключ к тому, что Маркс «применим» к России, – изучение земских сборников. Статистика помогала доказать, что никакого абстрактного «народа», как у народников, нет – а есть представляющие разные классы группы, которые уже роют могилы друг для друга и вот-вот вступят в борьбу.

В кружках он учил товарищей, как пользоваться этим материалом, читать цифры, избегать типичных ошибок (которые обычно совершали как раз народники): брать надо не среднюю цифру, а смотреть на группы и типы – и вот ими уже оперировать. Не крестьянство вообще – а с таким-то количеством лошадей и баранов.

Цифры, однако ж, можно было достать разные – и по-разному их интерпретировать. И нет ничего удивительного, что из-за них происходили такие же свары, как из-за литературы или истории; как писал Потресову Ф. Дан, «гнусно и противно до последней степени! Если бы опять-таки не “железная необходимость”, то я давно уже плюнул бы на статистику. Чувствую себя, как будто сел в помойное ведро!».

ВИ, однако ж, наслаждался пребыванием в этом ведре – и особенно потому, что оно никогда не пустело. Сама жизнь подбрасывала материал, и не только «тенденции последних десятилетий», но и газетные новости: в кружках обсуждалось, как чудовищный голод 1891 года или кошмарная эпидемия холеры 1892-го повлияли на расслоение крестьянства. Если государство, убив брата и продемонстрировав свою некомпетентность в управлении, радикализовало его мнения, то Маркс сделал его толстокожим; и, пожалуй, если бы в Самаре выходил сатирический журнал вроде нынешнего «Charlie Hebdo», то ВИ посчитал бы политически правильным опубликовать карикатуру на голод; исповедуемый им символ веры вынуждал его защищать точку зрения, согласно которой голод – «по большому счету», «объективно» – благо, потому что разрушает сознание и привычный быт крестьян, выгоняет их – очень кстати разуверившихся в религии и общине – из деревни в город, где они «вывариваются в фабричном котле», превращаются в промышленный пролетариат, вырабатывают новое классовое сознание – и становятся могильщиками буржуазии. Прогресс так выглядит, нравится это кому-то или нет.

И поскольку в теории он знал про пролетариат все, ему оставалось лишь познакомиться с ним поближе, «живьем». И раз уж в поездках на сессии он успел неплохо освоить Петербург – именно туда, в том направлении, и следовало двигаться; теперь уже насовсем.

Петербург 1893–1897

Рассказывали, будто в Институте марксизма-ленинизма существовало целое здание, отведенное под производство монументальной Биохроники Ленина: лабиринт коридоров, где на дверях висели таблички вроде «1.07.1917 – 10.07.1917», «1898, 2-я пол.» и т. п. Если это правда, то синекурой, о которой мечтали все научные сотрудники этого мозгового центра, наверняка была должность заведующего кабинетом «1896»: год, про который мы знаем меньше, чем про какой-либо еще, – и крайне маловероятно, что сможем когда-либо узнать больше. Весь этот год Ленин, арестованный в ночь с 8 на 9 декабря 1895-го, как и его товарищи по «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса», просидел в камере-одиночке номер 193 в доме предварительного заключения по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная, 25.

Сам он о своем замке Иф особо не вспоминал, проворчал только через 14 месяцев, не успев дописать книгу: «Жаль рано выпустили, надо бы еще немножко доработать». Надзиратель тоже мемуаров не оставил. Мать – сохранились письма – просила освободить его под поручительство, но безответно. Четыре раза его допрашивали. Два раза в неделю можно было видеться с родными: один раз лично – полчаса, второй на общем свидании, через решетку, – час. Чтобы увидеть «невесту» – Надежду Константиновну, ВИ убедил ее явиться в условленное время на Шпалерную и встать в том месте, где был виден в момент выхода на прогулку именно этот кусочек улицы.

Впервые будущие супруги взглянули друг другу в глаза в конце февраля 1894-го на квартире будущего руководителя Гидроторфа и создателя аппарата «торфосос» инженера Р. Классона – где, под видом празднования Масленицы, состоялся мини-съезд марксистского кремде-ля-крем Петербурга. Празднование было фальшивым, а вот блины настоящими: жандармы иногда заявлялись на околополитические сборища и после того, как при разгоне одного такого в полицейских списках оказались самоназванные Николай Александрович Романов и Бином Ньютонович Гипербола, потребовали носить с собой на всякое суаре еще и паспорта – «Больше вам Гипербол не будет»; реквизит тоже приходилось предоставлять качественный – отсюда и блины.

Дом Первого свидания (в Биохронике – Большеохтинский пр., 99; потомок инженера, М. И. Классон, называет соседний – Панфилова, 26) не вошел в ленинскую мифологию; курьез в том, что это место находится ровно напротив – через Неву – от Смольного, где супруги Ульяновы поселятся 23 года спустя.

Больше, чем своим грядущим местом жительства, блинами и будущей женой – тогда учительницей Корниловских курсов и мелкой чиновницей Управления железных дорог, 24-летний ВИ интересовался другими гостями – П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановским.

Политэкономы и, по мере необходимости, философы П. Струве и М. Туган-Барановский были, по выражению А. Тырковой-Вильямс, «два Аякса марксизма», которые «вместе давали битвы в полузакрытых собраниях Императорского Вольного экономического общества», «вместе составляли программы и манифесты, явные и тайные, вместе затевали и губили журналы, вместе шли приступом на народников».

ВИ увидел этих полубогов – ради знакомства с которыми отчасти и перекочевал из Самары в Петербург – живыми впервые, но не стушевался: если где-то рядом затевалась атака на народников, то он тоже мог предложить свои услуги – и для этого у него в портфеле лежало оружие, которое могло избавить Петербург от этой ереси так же верно, как стрихнин уничтожает крыс, а диалектика – либеральную глупость.

М. И. Туган-Барановский, приметливый экономист, дока по части объяснить, как связан промышленный подъем в России с голодными годами, ростом производства в Англии и падением товарооборота Нижегородской ярмарки в сравнении с Ирбитской и Полтавской (ничего сложного – просто есть устаревшая форма торговли, и новый транспорт убивает ее, как интернет-торговля – офлайн), чувствовал к В. Ульянову антипатию; особенно ощутимую по контрасту с его старшим братом, с которым они вместе занимались в биологическом кружке при Петербургском университете изучением пиявок – и даже установили, что у тех есть нечто вроде органов зрения. Что касается органов зрения самого Тугана, то они подвели его – и он разглядел в ВИ только какого-то крошку Цахеса; в предисловии к «Русской фабрике» приведены выдержки из писем Тугана по поводу ранних экономических статей Ульянова-Ильина: «Так хотелось сказать – “маленький ты мальчик, не горячись, будь спокойнее, то, что тебе кажется верным, вовсе не так верно – жизнь неизмеримо сложнее, глубже, таинственнее, чем ты это себе представляешь”».

Что касается П. Б. Струве, то он оказался более покладистым; возможно, этому поспособствовало то обстоятельство, что в ульяновском портфеле лежала, среди прочего, еще и гигантская – и весьма благосклонная – рецензия на последнюю книгу Струве; так или иначе, с того вечера пройдет совсем немного времени – и ВИ сделается добрым приятелем Петра Бернгардовича, а тот будет приглашать самарского юриста печататься в легальных марксистских сборниках и выступать на разного рода полулегальных марксистских ассамблеях со своим главным хитом.

«Друзья» («Что такое “Друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?») были «цыганочкой с выходом» молодого, «дошушенского» Ленина – которую он исполнял в «салонах» и на разного рода молодежных собраниях не раз и не два. Именно благодаря «Друзьям» ВИ заработал себе эпатажную репутацию «рассерженного молодого человека», завтракающего живыми радетелями за крестьян и способного содрать позолоту с нимба на любой иконе. Впрочем, нимбы народников, засиявшие в народовольческие десятилетия, к середине 1890-х несколько поблекли – и идеология их, которую еще только предстояло переформатировать в эсеровскую, представляла легкую добычу для зубастых марксистских хищников, наслаждавшихся ощущением вседозволенности, которое давали им статистика и марксистская диалектика.

Как и большинство ленинских «шлягеров» такого рода, «Друзья» – полемика против идеологических двойников, псевдосоюзников, которые на деле хуже прямого врага – «честной буржуазии». Объект нападков номер один – «главарь» «Русского богатства» либеральный народник «г-н Н. Михайловский», искренне переживавший разорение русского крестьянства и усомнившийся в применимости марксовских теорий о капитализме к российской реальности.

Грубая вербальная атака с целью опорочить репутацию оппонента обычно включает в себя серию щелчков по носу, которые если и не квалифицируются формально как оскорбление личности, то звучат поразительно развязно по тону: «Поскребите “народного друга” – <...> и вы найдете буржуа»; «с мещанской пошлостью размазывает»; «разглагольствует»; «решительно отказываюсь понимать – если это полемист, то кто же после этого называется путолайкой?!»; «но ведь пишет это не институтка, а профессор» и т. п.

Настоящий конек ВИ – недружественный, в духе энгельсовского «Анти-Дюринга», пересказ с язвительными комментариями: «это замечательное “но”! Это даже не “но”, а то знаменитое “mais”, которое в переводе на русский язык значит: “уши выше лба не растут”»; «С таким же успехом можно бы связать и г. Михайловского с китайским императором! Что отсюда следует, кроме того, что есть люди, которым доставляет удовольствие говорить вздор?!»; «Может быть, впрочем, он самостоятельно додумался до этого перевирания Маркса?»; «для грудных детей, что ли, рассказываете это Вы, г. Михайловский, что детопроизводство имеет физиологические корни!? Ну, что Вы зубы-то заговариваете?». В качестве мизерикордии ВИ пользуется

классическими текстами; здесь – гётевским стихотвореньем «Что такое филистер? Пустая кишка, полная трусости и надежды, что бог сжалится»; хороший довод в споре о том, изменит ли строительство фабрик в России, как в Англии, общество в лучшую сторону – или означает фактическое вымирание деревни.

Эта черта ВИ – ругаться, забывая о всякой мере, заливаясь, когда он слышит «чушь», злым смехом, – при первой же встрече врезалась в память будущей невесте, но не оттолкнула ее; чего не скажешь о большинстве других знакомых ВИ. Даже когда ему делали замечание, что его манера повторять последнюю фразу собеседника в сопровождении предуведомления «только подлецы и идиоты могут говорить, что...» не является основой для конструктивного общения, он все равно продолжал пользоваться этим приемчиком; Г. Соломону, который знал ВИ не только по политическим, но и по семейным делам, он казался «полуненормальным».

Незнакомым, впрочем, это, скорее, нравилось. Анна Ильинична вспоминала, что приятельницы просили ее достать им почитать какой-нибудь из выпусков «Друзей» и на вопрос, какой именно, отвечали – а тот, где ее брат употребляет больше «крепких слов». Потом, правда, выяснилось, что под «выражениями уж очень недопустимыми» имелось в виду, например: «Михайловский сел в калошу»; но идея понятна, и хотя ВИ, возможно, и производил на народников и посторонних наблюдателей впечатление берсерка, на самом деле его язвительность точно дозирована и просчитана.

И хотя ленинский «ситком о народниках» безбожно растянут (а ведь сохранились только две из трех дошедших до нас частей – середина пропала); хотя Н. Михайловский – пусть даже и осмелившийся вступить в спор с Марксом и Энгельсом – едва ли заслуживал той шокирующей манеры, в духе «ах Моська знать она сильна...», которую ВИ избрал для его критики; и хотя уже во втором абзаце у самого автора начинает заплетаться язык («изложивши...», «излагающей...» в одном предложении; кто на ком стоял?), текст и сейчас можно вернуть к жизни – если как следует жахнуть его дефибрилятором.

Считается, меж тем, что именно «Друзья» изменили статус и общественное положение марксистов, на которых раньше «смотрели в лучшем случае как на чудаков, пренебрежительно похлопывали по плечу (“ах вы марксист эдакий”), насмешливо спрашивали о числе открытых кабаков» (намек на увлечения статистикой и фразу Струве про необходимость для России «пойти на выучку к капитализму»), то есть «травили как вырождающихся в семье благородной русской интеллигенции» (Б. Горев). Ульянов, да, доминирует на поле боя, владеет мячом все сто процентов времени – и ставит галочки против всех пунктов в списке намеченных задач: «отповедь всем божкам народнической публицистики» – дал; «несостоятельность» их подхода в социологии, философии, экономике и политике – вскрыл; умение бить противника статистическими выкладками – продемонстрировал; монополию марксистов на понимание диалектического метода – отстоял. Разумеется, все запомнили в «Друзьях» «припев» – хамские персональные атаки на лидеров народников и их идеологию; но важнее всего, пожалуй, тот абзац, где Ленин формулирует мысль совсем иного рода: что просто подначивать рабочих бороться за их политическую свободу есть трюк буржуазной интеллигенции, потому что пролетариат, да, вытащит для буржуазии каштаны из огня, но политическая свобода будет служить интересам буржуазии и облегчит рабочим не их положение, а условия борьбы с этой же буржуазией. Это может показаться пустословием – однако в этом предупреждении прописан – в 1894 году! – весь сценарий 1917 года. Характерно, что помимо предупреждения, автор формулирует настоящую задачу рабочих: не просто реализация стихийных революционных инстинктов, но организация социалистической рабочей партии. Ленину, еще раз заметим, 24 года.

Если осенью 1894-го Надежда Константиновна видела ВИ только в марксистских салонах, где тот размахивал своими «желтенькими тетрадками» с «Друзьями» – которые затем будут циркулировать в нелегальных кругах неподписанными, – то зимой 1894/95 года они знакомы «уже довольно близко», неопределенно поводит рукой в воздухе НК.

«Я жила в то время на Старо-Невском, в доме с проходным двором, и Владимир Ильич по воскресеньям, возвращаясь с занятий в кружке, обычно заходил ко мне, и у нас начинались бесконечные разговоры». 25-летняя НК была чувствительной женщиной – у нее даже кружилась голова от запаха табака, которым были пропитаны тетрадки ее учеников в Корниловской школе, где она, вместе с подругами, преподавала молодым рабочим с окрестных заводов географию (и, под ее видом, политэкономия), историю (с упором на классовую борьбу), математику (разрешались только четыре правила арифметики; полиция могла закрыть класс из-за того, что учат десятичным дробям: видимо, дроби пугали полицию потому, что революционеры зашифровывали свои письма как раз ими), литературу (Чернышевский и Писарев). Жизнь учительницы вечерней школы для рабочих была насыщена забавными происшествиями. Один из ее студентов пропал на две недели и объяснил свое отсутствие тем, что не мог оторваться от выданного ему романа «20 000 лье под водой» – пока, проглотив его несколько раз, едва не заучил наизусть. Другой – по фамилии Фунтиков (в пандан к другим ученикам НК – Бабушкину и Кроликову), одурев от чтения Некрасова, решил стать поэтом и, выступая на вечере промышленника, владельца бумажной фабрики Варгунина, продекламировал стихи, где были строки: «Ты эксплуатируй-то эксплуатируй, но помни свои задачи по отношению к рабочим». Варгунин хохотал; то был редкий тип честного отечественного капиталиста, некоторым образом конкурировавшего с социал-демократами. Понимая, что производительность труда обратно пропорциональна уровню пьянства – как среди его собственных рабочих, так и среди «соседских», он сначала учредил нечто вроде интеллигентского кружка, занимавшегося организацией досуга пролетариев, а в 1891-м выкупил у пивоваренного завода «Вена» часть территории и устроил там, с целью обеспечить рабочих «нравственным, трезвым и дешевым развлечением», народный парк – с театром, читальней и каруселями; собственно, он и основал ту самую Корниловскую школу, где НК проповедовала Белинского и Гоголя. «Вена» теперь принадлежит «Балтике», но пиво там больше не варят; варгунинский парк «Вена» – с вайфаем, картингом и веревочными «лазалками» – носит имя одного из учеников Крупской; на здании Корниловской школы, под мраморной доской с профилем Надежды Константиновны, намалено: «Коммунизм – это молодость мира», и произведением вандалов это граффити не выглядит.

Дегустация кулинарных изделий Елизаветы Васильевны Крупской была скорее родом отдыха; чаще ВИ и НК вместе отъезжали по делам, и ВИ учил ее на своих семинарах, которые устраивал для интеллигентов и рабочих, методам ухода от «негласного надзора» – перескакивать с одного транспорта на другой, пользоваться проходными дворами, менять имена и туалеты – и искусству шифрования: для этого бралась какая-нибудь книжка, хоть тот же Некрасов, – и начинали шифровать тексты – и дробями, и через точки над буквами в книжках, и «химией».

Все это оказалось весьма кстати, когда ВИ оказался взаперти на Шпалерной, где все его письма, разумеется, просматривались; приходилось прибегать к разным уловкам.

НК выполнила просьбу «жениха» – и в течение нескольких дней приходила на указанную точку; но то ли неправильно что-то поняла, то ли еще что-то пошло не так – и в следующий раз они увиделись только в Шушенском. В качестве компенсации за эту «невстречу» ВИ мог наслаждаться ассортиментом тюремной библиотеки; мало того, в камеру разрешалось передавать книги с воли. Воспользовавшись случаем без помех погрузиться в запутанный статистический материал, Ленин договаривается с сестрами о поставках литературы – и энергично работает над «Развитием капитализма в России», дважды в неделю получая посылки. В перерывах между книгами он занимался гимнастикой, переписывался легально со знакомыми и нелегально, точками, через книги из тюремной библиотеки, с Мартовым, перестукивался через стенку со Старковым («ухитрялись даже играть в шахматы»), много ел (чтобы писать тайные послания молоком между строк писем и на книжных страницах, нужно было иметь «черниль-

ницы»; ВИ приноровился лепить их из хлеба – и вынужден был отправлять их в рот всякий раз, когда щелкала форточка в двери; «Сегодня съел шесть чернильниц», – отчитывался он в письмах НК; будущая теща нашла его в феврале 1897-го несколько пополневшим), проявлял шифровки не на свечке, как принято было, а макая бумагу в горячий чай – имея последний в достатке («Чаем, например, с успехом мог бы открыть торговлю, но думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции с здешней лавочкой победа осталась бы несомненно за мной»). Его веселое настроение разделяли далеко не все, кто пытался штурмовать питерское небо, – например, Потресов просидел пять месяцев из тринадцати не на Шпалерной, а в Петропавловке, где порядки в это время были таковы, что одна из заключенных, народоволка Ветрова, облилась керосином из лампы и сожгла себя заживо в знак протеста. Другой товарищ ВИ, студент-технолог Петр Запорожец, впал в одиночке в депрессию, связанную, не исключено, с тем, что ему дали срок ссылки на два года больше, чем всем, – якобы как главарю. Он проявлял беспокойство и подозрительность, его раздражало все, связанное с цифрой «два», – до такой степени, что он растоптал один из цветков, который невеста Ванеева принесла в тюрьму; уже после ссылки, сильно осложнив жизнь своим товарищам, он набросился на мать с ножом и умер в психбольнице.

ВИ, представитель совсем иного психотипа, сохранил здоровье душевное и уделял много внимания физическому.

Помимо книг и белья, он выписывал себе минеральную воду из аптеки, клистирную трубку и один раз зубного врача.

Видимо, лучшим биографом Ленина стал бы тот, кто сумел осмотреть его с раскрытым ртом и привязанными к стоматологическому креслу руками. Вся жизнь ВИ терзали зубные демоны – и он не только мучился от боли, появляясь с подвязанной нижней челюстью в самых неподходящих местах, но и использовал стоматологические образы в своей политической деятельности: «у партии имеются два флюса: флюс справа и флюс слева – ликвидаторы и отзовисты... партия сможет снова окрепнуть только в том случае, если она вскрыет эти флюсы»; «ближе мы подходим к тому, чтобы окончательно вырвать последние испорченные зубы капиталистической эксплуатации, – строить наше экономическое здание».

Именно из-за зубных врачей – которых охотно брали как в подпольные политорганизации за удобство использования кабинетов в качестве нелегальных хабов, так и в полицию, по той же причине, – в конечном счете ВИ и оказался в тюрьме и ссылке: «Союз борьбы» выдал 24-летний дантист Михайлов. ВИ вычислил его только уже на Шпалерной – и написал об этом между строк книги «Сельскохозяйственные рабочие и организация за ними санитарного надзора в Херсонской губернии». Рабочие, оставшиеся без энсэя, собирались убить провокатора еще в 1896-м, но Михайлов ускользнул, а когда опасность рассосалась, вернулся к своей трикстерской деятельности: в 1902-м свел попа Гапона с Зубатовым и не смог пережить лишь лето 1906-го, когда его, тогда уже начальника сыскной полиции Севастополя, расстреляли на улице эсеры.

Опять же с подвязанными зубами Ленин – совпадение? – проследовал мимо Шпалерной вечером 24 октября 1917-го по дороге в Смольный, едва свернув с Литейного моста; как раз где-то на пяточке, который он указал в качестве места встречи своей невесте, стоял пикет пелевинских юнкеров в «Хрустальном мире». Такого рода здания редко меняют свое назначение, и неудивительно, что теперь там находится «следственный изолятор центрального подчинения» СИЗО-3 ФСИН России. На просьбу автора книги, отчаянно размахивавшего «официальным» письмом из издательства, разрешить с ознакомительными целями посещение камеры номер 193, которая в советское время пусть не была открытым музеем, но оставалась мемориальным помещением, по указанному на сайте телефону было сказано буквально следующее: «Там ремонт, ничего нет, ни музея, ничего, стены разбиты, самой той камеры больше не существует».

Не имея возможности заглянуть в это «великое ничто», мы можем, однако, реконструировать, как ВИ там очутился.

По приезде из Самары в его распоряжении имелись как деньги для аренды квартиры, так и рекомендательные письма, касающиеся и работы, и потенциальных единомышленников по части марксизма; статус помощника присяжного поверенного позволял ему попадать в весьма респектабельные места относительно свободно; ему не нужно было «завоевывать» столицу, как д'Артаньяну Париж, поэтому трансплантация из одной среды в другую прошла быстро, безболезненно и, сколько известно, без приключений.

Судя по отчетам мемуаристов, жизнедеятельность ВИ протекала в трех режимах. В адвокатской среде он был сын действительного статского советника И. Н. Ульянова и носил фрак с цилиндром. Выезжая на окраины, одевался самым непритязательным образом – сами рабочие и те удивлялись помоечному виду своего «Николая Петровича». Наконец, естественной средой для него была студенческо-интеллигентско-разночинная. К «Аяксам» и студентам-технологам ему даже не нужно было адаптироваться. С одной стороны, он был «брат повешенного». С другой – к отцу ВИ обращались «Ваше превосходительство»; и это тоже был элемент выигрышной комбинации, чтобы занять место среди «духовной аристократии» (Струве был сыном губернатора, Потресов – генерала, Калмыкова – женой сенатора, Мартов – из богатой буржуазной семьи); все участники этого кружка впоследствии сделали большие карьеры – академические и политические.

Естественно предположить, что Ульянов прибыл в Петербург, чтобы сделать карьеру, связанную с юриспруденцией; однако, судя по его поведению, непохоже, что продвижение по этой части всерьез интересовало его. Тем не менее он не пренебрегал и социальным камуфляжем – позволявшим отвлекать внимание от своей нелегальной деятельности. В начале сентября 1893 года по рекомендации самарского адвоката Хардина Ульянов зачислен помощником присяжного поверенного к петербургскому адвокату Михаилу Волькенштейну – который учился в одном классе с Чеховым и написал об этом воспоминания, однако не посчитал нужным рассказать потомкам о своем необычном подчиненном: досадная оплошность, учитывая, что в феврале 1917-го архивы окружного суда Петербурга сгорели и понять, какие именно дела вел Ульянов, невозможно. Косвенные свидетельства указывают на то, что ВИ сам выбирал себе дела – но не по громкости и прибыльности, а по социальному признаку: его интересовало все, связанное с рабочими. Обычно такого рода дела назначал адвокату суд; «хлебными» их точно назвать было нельзя – и, видимо, они позволяли лишь перебиваться из кулька в рогожку, с расчетом на пенсию матери. М. А. Сильвин пересказывает ответ Ульянова на вопрос, «как идет его юридическая работа»: «Работы, в сущности, никакой нет, что за год, если не считать обязательных выступлений в суде, он не заработал даже столько, сколько стоит помощнику присяжного поверенного выборка документов на ведение дел». Формально Ульянова отчислили из состава присяжных поверенных уже после суда, в 1898 году.

Содержать семью ему было не нужно, квартиры – судя по тому «гробу Раскольников», что показывают сейчас в Большом Казачьем, где ВИ прожил с 14 февраля 1894-го по 25 апреля 1895-го, – он нанимал недорогие; доходят, правда, глухие слухи, что до знакомства с НК он якобы ухаживал не то за некой хористкой Мариинского театра, не то... однако все это сведения из серии «глухой слышал, как немой сказал, что слепой видал». Разумеется, как все сообщения прогрессивных молодых людей, марксистские салоны, помимо прочего, выполняли еще и функцию клубов знакомств, где складывались сложные отношения между мужчинами и женщинами. Мартов, например, был влюблен в Любовь Барановскую, подпольная кличка которой, «Стихия», позволяет предположить наличие у нее соответствующего темперамента; она, однако ж, вышла не за него, а за будущего агента «Искры» Радченко. Струве был официально приемным сыном издательницы Калмыковой, но по факту в течение трех лет – ее любовником. Ульянову якобы нравилась Аполлинария Якубова, но она вышла за Тахтарева, и поэтому

ВИ познакомился с ее подругой Надеждой Крупской... Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла – как говорили в таких случаях казанские приятели ВИ из мусульман.

В Петербурге Ленин жила, «по-крупному», трижды – с десятилетними примерно интервалами. Большую часть времени ему приходилось укрываться от кого-либо – поэтому знание местности, проходных дворов и переулков было критически важным; и когда в 1905-м и 1917-м он несколько раз просил «достать ему план города» – это не означает, что он совсем не ориентируется на местности: просто если придется уходить от преследований, надо знать больше, чем обычный человек. Для организатора и «маршрутизатора», любящего быстрое планирование, Петербург – сложно устроенный, разрезанный реками и мостами на сектора – представлял хорошее поле для игры. Ленин, по-видимому, не был особо привязан к этому городу – но кажется очень «питерским» типом.

Многому научившийся и в казанских федосеевских кружках, и в самарских разговорах с Хардиным, Ленин к середине 1890-х был настоящим магистром конспиративных искусств и своим даром ускользать от филеров, используя подвернувшиеся по ходу декорации, напоминал персонажей гайдаевских комедий. Он не только менял квартиры, чтобы хозяева не запоминали людей, которые к нему приходили, но и был выдающимся знатоком питерских подворотен, проходных дворов и прочих особенностей городского лабиринта; его манера «шмыгать» в случайно подвернувшиеся подъезды, комнаты швейцаров вызвала восхищение. «Кто-то спускается с лестницы и видит, что сидит в комнате швейцара неизвестный человек и покатывается со смеху», – воспроизводит один из таких кадров с точки зрения случайного прохожего мемуарист.

У Ленина, несомненно, был определенный театральный дар, позволявший ему выдавать себя то за русского рабочего, то за финского косца, то за мастера-англичанина, то за повара-финна; вкупе с его осторожностью это позволяло ему безболезненно перемещаться по районам, чья репутация никогда не была на высоте.

Как он выглядел, какое производил впечатление и что представляла собой его повседневная жизнь?

Все согласны в том, что 24-летний ВИ выглядел много старше своих лет – отсюда уже тогда прилипшая к нему кличка «Старик». Бабушкин в «Воспоминаниях» приклеивает лектору слово «Лысый», Мартов – «Тяпкин-Ляпкин» («На вопрос о происхождении второго прозвища товарищи мне разъяснили: он у нас до всего своим умом доходит»). Шелгунов замечает, что «волосы, усы, борода тоже были в каком-то беспорядке. Лицо было как будто в морщинах, так что он произвел на меня впечатление человека, которому было уже к сорока годам». Что касается режима дня, то Сильвин рассказывает, что ВИ в период проживания в Казачьем – это рядом с Гороховой, в общем, центр города – вставал в семь-восемь часов, работал дома, часам к одиннадцати шел в читальню газеты «Новости» на Большой Морской. Вторая половина дня, видимо, была посвящена нелегальщине.

«Ленинская» группа – «Старики», по внешности главаря – была одной как минимум из трех «банд» марксистов-практиков, занимавшихся на окраинах кружковой деятельностью; с ними в первой половине 1890-х конкурировали еще «Обезьяны» (тахтаревская группа) и «Петухи» (чернышёвская) – марксистов, готовых просвещать рабочих, было больше, чем потенциальных учеников. Все они были хорошо законспирированы и состояли из людей, которые вели двойную жизнь, все к 1895-му перешли от просвещенческой деятельности – за которой стоял поиск сознательных рабочих – к агитации: «сознательные» должны будут подтолкнуть своих коллег устраивать массовые беспорядки; опыт участия в бунтах, предполагалось, подготовит рабочих для вступления в массовую организацию. Интеллигентам, «профессиональным» марксистам нужно было подливать масла в огонь – чтобы стихийные экономические требования превращались в обдуманные политические.

И «Старики», и «Обезьяны», и «Петухи» рано или поздно проваливались – и оказывались за решеткой; таким образом, надо осознавать, что быть «нелегальным марксистом» в середине 1890-х означало не только принадлежать к прогрессивной интеллигенции и наслаждаться вниманием курсисток на студенческих вечеринках, но и состоять в «обреченном отряде»; хобби примерно такого же рода, что полеты на воздушном шаре.

Сегодняшние представления о кружковых занятиях интеллигентов с рабочими сводятся, пожалуй, к картинке в духе иллюстраций к ориенталистским книжкам: восседающий на ковре в позе лотоса мулла монотонным голосом зачитывает цитаты из Корана, и окружающие его ученики бьются лбами об пол. Ульяновские занятия выглядели скорее как гибрид лекций и дискуссий; ВИ читал «Капитал» и на примерах из жизни разъяснял, что все это значит; чтобы ученики усваивали материал, «Николай Петрович» обострял свои тезисы, переводил разговор на бытовые вопросы и даже на личности, вовлекал в спор, заставлял приводить оригинальные доводы: ведь из кружковцев должны были выйти агитаторы, способные сами растолковать рабочим, зачем им вступать в войну с хозяевами, которые могут их уволить или коррумпировать.

Взамен «Николай Петрович» требовал заполнять анкеты, состоящие из подробных вопросов об условиях жизни рабочих: дорого ли молоко? читают ли женщины? сколько процентов берут штрафов за опоздание? Это анкетирование было едва ли не самой серьезной частью кружковой деятельности: «студентам» объяснялось, что они должны отнестись к своей среде «научно», изучать свой завод, как сыщик – место преступления. Заглядывайте в соседние мастерские, в окна корпуса администрации, в чужие кастрюли – в общежитиях, и везде разговаривайте, и в особенности держите ушки на макушке, когда речь заходит о зарплатах, штрафах, трудовом графике, случаях, приведших к инвалидности, увольнениях, готовящихся стачках и произведенных арестах; бытовые условия, распорядок дня и диета рабочих – всё запоминайте, всё записывайте, потом об этом и потолкуем.

Дело не ограничивалось только «Капиталом» и «Манифестом коммунистической партии»; каждый лектор брал своим.

Кто-то описывал высокотехнологичный Небесный Иерусалим, куда еще немного и вступит пролетариат; мир, где все работают и всё общее, производил особенно сильное впечатление на питерских рабочих – которые в тамошнем климате и «достоевской» атмосфере, оторванные от деревенской жизни и затурканные на фабриках, становились нервными и мечтательными. Кто-то, как Г. Алексинский, показывал литографию с «Сотворения мира» Айвазовского: «Товарищи! Вы, наверно, все видели в музее Александра III картину Айвазовского “Сотворение мира”»? Все не устроено, в беспорядке, в полутьме, но вдруг этот хаос озаряет луч света. Этот луч света вносит в среду пролетариата его рабочая партия». Туган-Барановский уверял, что уже через 30 лет пролетариат всё сметет, перестанут существовать частная собственность и государство, все будут свободны и все научатся летать – с помощью авиации. ВИ – «Николай Петрович» – работал совсем в другом режиме и стилистическом диапазоне – и выступал еще и в роли юрисконсульта со специализацией по трудовому праву, способного просветить не только касательно пресловутой прибавочной стоимости, но и насчет того, считать ли праздником запуски или пятницу масленичной недели, сколько именно делятся положенные для отдыха полдня сочельника, каково минимальное количество часов, которые рабочий может трудиться без перерыва на прием пищи, когда считать, что заканчиваются ночные часы – в 4 или в 5 утра, – и допускаются ли отступления от закона в случае внезапной порчи орудий, а также для вспомогательных работников, занимающихся уходом за котлами, обеспечением освещения и пожарной службы. Это создало ему недурную репутацию – и хотя он не расписывал, «как все будет в двадцатом веке», на его «семинарах» никогда не было пустых стульев.

Это только сейчас кажется, что нет ничего проще, чем разagitировать живущих в чудовищных условиях рабочих; на самом деле не такая уж податливая это была среда. М.Ту-

ган-Барановский вспоминает, как еще в 1880-х они с приятелями пытались агитировать крестьян – и тотчас столкнулись с криком: «На вилы их!»; и если бы не жандарм, то и некому было бы писать мемуары. Многие рабочие не доверяли чужим и отбрыкивались: сами, дескать, с усами; у них была своя традиция «кучкования» – идущая от Степана Халтурина.

В 1890-е «смычка» между интеллигентами и пролетариатом стала более привычной, но не сразу. Всякая попытка протянуть руку чревата была последствиями – иногда комичными (когда работницы табачной фабрики Лаферм приняли одного агитатора за «нахального Дон-Жуана и чуть не избили»), иногда не очень – так, марксиста Тахтарева в 1894-м рабочие на Шлиссельбургском проспекте отлупили по-настоящему – просто за то, что он не снял шапку, проходя мимо церкви. Надо понимать, что он возвращался домой после того, как провел занятие в своем кружке, то есть выглядел, как они; «Если бы они заподозрили во мне “интеллигента” и “бунтаря”, дело обошлось бы, по всей вероятности, еще хуже». Чтобы успешно общаться с рабочими, нужно было знать множество Dos&Donts: можно ругать правительство и попов, но – по крайней мере так было до 1905-го – ни в коем случае не царя: «Чашки бей, а самовара не трожь». Отсюда, собственно, озадачивающие лозунги, иногда выбрасывавшиеся самими рабочими: «Долой самодержавие, а царя оставить»; отсюда добровольное участие 50 тысяч рабочих – колоссальная цифра для 1902 года – в подношении венка к монументу Александру II в Москве. Неудивительно, что многие разочаровывались: если агитировать против монархии можно только под защитой полиции, то зачем такая агитация?

Марксистов в Петербурге было больше, чем щелей в том заборе, что отделял их от социального «материала», которым они собирались пробавляться. И раз работа с «массой» была невозможна, приходилось отыскивать и обучать азам марксизма отдельных сознательных рабочих, которые потом понесут идеи в массы, общаясь с ними на их языке: вы – сила, если сможете организовать, вы можете не просто получать больше денег, но стать властью; слабо?

Люди с экстраординарными коммуникативными способностями всегда ценятся в обществе, но особенным дефицитом в 1890-е были те, кто имел контакты в разделенных условиях существования мирах: разночинном и пролетарском Петербургах.

Один из старейших членов «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», счастливо избежавший в 1895-м ареста Василий Шелгунов, работал на Обуховском заводе и одновременно был «студентом» технолога Германа Красина, брата Леонида. Солидный человек, он увлекся марксизмом и активно пользовался своим природным талантом заводить знакомства; его записная книжка толщиной напоминала «Желтые страницы», и именно этот человек разогревал среду до той температуры, когда социальные атомы начинали активно двигаться; благодаря Шелгунову, который через несколько рукопожатий знал, кажется, всех рабочих Петербурга, пролетарский Петербург вошел в плотную смычку с интеллигентским. Когда осенью 1894-го Шелгунов пригласил нескольких социал-демократов поработать в кружках, при дележке города на районы Ульянову, Мартову и Кржижановскому достался Шлиссельбургский тракт – Невская застава.

Расположенная на юго-восточной окраине Петербурга Невская застава была огромная – самая, наверно, большая в дореволюционной России – промзона, больше чем на десять километров растянувшаяся вдоль Невы, особенно с той стороны, по которой идет Шлиссельбургский тракт – нынешний проспект Обуховской Обороны.

Невская застава была настоящей твердыней русского капитализма; ее называли «русским Манчестером» или «русским Сент-Антуанским предместьем». Там было около пяти десятков заводов и фабрик – военных, чугунолитейных, ткацких, бумагопрядильных, стеариновых, химических, пивных, писчебумажных; из них десятков настоящих монстров – таких как Обуховский или Семянниковский. Возможно, сейчас она в меньшей степени «на слуху» в качестве очага революционного движения Петербурга, чем Выборгский район, – потому, наверно, что в последнее десятилетие перед революцией дух бунта почему-то там подвыдохся; однако в 1890-

е то было самое перспективное в России место, с самыми сознательными и взрывоопасными пролетариями, и неудивительно, что Ульянова, для которого каждая фабричная труба была тем же, что бобовый стебель для сказочного Джека, тянуло сюда магнитом. Это был одновременно книжно-романтический – но скорректированный практическим опытом общения трезвый, прагматичный интерес; судя по текстам, Ульянов не испытывал по отношению к рабочим религиозного благоговения (класс вряд ли самостоятельно справится с ролью спасителя мира от капиталистического апокалипсиса) и уже тогда, как и после, выступал против абсолютной самостоятельности рабочих организаций: они должны работать совместно с «учеными» социал-демократами, взаимодействовать – но не оставаться самостоятельными политическими единицами.

Чаще всего фабрики в России открывали те, у кого были технологии и машины, – англичане и немцы. Особенно удобно им было работать в Петербурге, где были дешевая рабочая сила и приемлемая бизнес-среда. Отсюда фабрика Торнтон, мануфактура Максвелла, Александров-Невская мануфактура Паля, Невская писчебумажная (Джон Гобберт + Александр Варгунин); да и Семянниковский завод основал в 1857 году человек по фамилии Томпсон.

К началу 1890-х Россия напоминала Китай (переставьте одну цифру) начала 1980-х: изобилие полезных ископаемых, почти неисчерпаемая дешевая рабочая сила – идеальный плацдарм для разворачивания капитализма, особенно любопытный для наблюдателя в силу многочисленных «но», тормозящих эксплуатацию всех этих естественных богатств: закрытая таможенная система, затруднительность иностранных инвестиций, а главное – «невысокое качество русского труда», то есть низкая производительность – которая была для марксистов такой же проблемой, как для самих капиталистов; именно поэтому, когда товарищ с возмущением рассказывал ВИ о диких нравах начальства на одной сапожной фабрике: «За все штраф! Каблук на сторону посадишь – сейчас штраф», – тот смеялся: «Ну, если каблук на сторону посадил, так штраф, пожалуй, и за дело».

«Несмотря на то, что русский рабочий получает гораздо меньше западноевропейского, труд в России обходится едва ли не дороже, чем на Западе. В Англии на 1000 веретен – 3 рабочих, в России, по расчету Менделеева, – 16,6. Поэтому получая в 4 раза высшую плату, английский рабочий обходится дешевле фабриканту, чем русский рабочий», – чеканит цифры политэконом М. Туган-Барановский. Низкая заработная плата, длинный рабочий день, полицейские запреты на любые виды протестов плюс невежество и безграмотность рабочих – вот те особенности, которые определили «физиономию» русской промышленности, обрекли ее на зависимость от иностранных технологий – и на тот сценарий, который реализовался после 1917 года, когда рабочие сами «национализировали» фабрики и заводы.

Трансформация сельской местности вокруг Петербурга в индустриальную зону, подразумевающая заселение ее людьми, оторвавшимися от почвы, началась еще при Петре, который, во-первых, переместил сюда ямщиков из Смоленской губернии – чтобы обслуживали Шлиссельбургский тракт, во-вторых, заложил здесь несколько кирпичных заводов, обеспечивающих Петербург стройматериалами. Основная масса заводов возникла уже в XIX веке – и комплектовалась мужчинами, которые поначалу приезжали из деревень только на зиму, подработать, а потом, вкусив городской жизни, перевозили в слободки семьи.

Петербург работал гигантским пылесосом, который на протяжении десятилетий высасывал рабочую силу из деревни, особенно из северных губерний – Вологодской, Псковской, Архангельской. Есть сведения, что к концу 1890-х «natural born», потомственными пролетариями были 89 процентов рабочих города. На Торнтоне, Обуховском, Путиловском, Балтийском можно было увидеть толпы людей, проработавших на одном месте по четверть века. Именно в этой среде и следовало искать грааль марксистов – «сознательных» рабочих, сверхчеловеков-мессий, которые и должны были самоорганизоваться в процессе буржуазной революции, а затем совершить свою. Всего в Питере были сконцентрированы около пяти процентов от всего

тогдашнего российского пролетариата: примерно 150 тысяч «настоящих» фабрично-заводских рабочих (то есть исключая строителей, грузчиков, кустарей и т. д.).

Молодые марксисты, унаследовавшие от народников интерес к перспективным в научно-историческом смысле классовым контингентам, смотрели на этот процесс как на сжатие стальной пружины, обратный ход которой можно направлять, – и изучали этот новый антропологический вид, расу, которая должна была стать материалом для преобразования истории, с тем же усердием, с каким Дарвин исследовал своих зябликов, а Александр Ульянов – пиявок. По тому, как быстро развивались события, какой эффект оказывала на массы пропаганда, было ясно, что вопрос, подействует ли на пролетариев оживляющий порошок марксизма или нет, уже не стоит; вопрос стоял: как скоро?

Политическая жизнь носила отчетливо сезонный характер, и с цветением черемухи деятельность кружков сворачивалась, интеллигенция рассеивалась по дачам. В 1894-м ВИ выехал из Петербурга к середине июня – чтобы провести лето под Москвой, в Люблине, на даче у семьи сестры, Елизаровых. В парке в Кузьминках до сих пор стоит менгир, напоминающий, что Ленин не болтался в этой сельской атмосфере без дела, а работал над «Друзьями» и переводом «Эрфуртской программы» Каутского; было бы правильнее поставить памятник либо с печатной машинкой (потому что именно здесь ВИ впервые попытался научиться – без особого успеха – печатать), либо, еще лучше, с велосипедом: во-первых, потому, что это лучший символ для выражения политических и этических идей Ленина, а во-вторых, потому что именно в этих местах он научился кататься на велосипеде – чтобы затем на протяжении всей жизни оставаться страстным, как тогда говорили, «циклистом». Машина, на которой учился ездить ВИ (а также его младший брат, Дмитрий Ильич, и сосед Елизаровых по люблинской даче толстовец Павел Буланже), весила 53 фунта и принадлежала Марку Елизарову: он служил на железной дороге и мог себе позволить предоставлять родственникам и знакомым новинку для экспериментов.

В Европе в середине 1890-х был настоящий велосипедный бум; езду на велосипеде рекомендовали как средство физиологического и социального оздоровления. В одной России издавалось четыре профильных журнала («Циклист», «Велосипед», «Самокат», «Вестник Московского общества велосипедистов-любителей»), и решительно все учились кататься; даже 67-летний Толстой, одновременно с Лениным. Август Бебель ввел моду на велосипед в среде европейской социал-демократии – воплощение демократичности, он, депутат рейхстага, прикатывал на нем на рабочие митинги в Берлине; и даже Плеханову, который считал следование моде ниже своего достоинства, пришлось, морща нос, дотронуться до руля и седла велосипеда, принадлежавшего сыну П. Аксельрода: «А что, хорош велосипед? Не прокатиться ли и мне на нем? Или неудобно тамбовскому дворянину ехать на стальном коне?» Ему в его светлом костюме, желтых ботинках и лайковых перчатках, видимо, представлялось, что это недостаточно элегантно для него аксессуар.

Ленин умел крутить восьмерки, чинить прямо на тротуаре проколотые и лопнувшие шины и именно что гонять, не обращая внимания на красный свет светофоров и другие предупреждающие сигналы; он постоянно попадал в аварии и, судя по отчетам тех, кто встречал его на улицах разных европейских городов, представлял собой на велосипеде что-то вроде колесницы Джаггернаута – готовый продемонстрировать всякому, кто не разделяет его взгляды, свои преимущества в скорости, ну или, в худшем случае, преподать самому себе урок диалектики: садишься на велосипед, а слезаешь с кучи металлолома.

Как и во многих прочих сферах, он посвящал себя не только практике, но и педагогической деятельности; сразу несколько мемуаристов, по странному совпадению женщины, рассказывают о своем опыте по этой части. Особенно запоминается – потому что вообще эта женщина ненавидела Ленина и сообщала об этом при любой возможности – свидетельство жены Г. Алексинского. Т. Алексинская никак не могла преодолеть страх и поехать одна, без под-

держки; она угодила в ученицы Ленина летом 1907-го в Финляндии. «Вдруг, усмехнувшись, он подходит и говорит: “Запомните хорошенько одно: нужно только захотеть! И когда вы почувствуете, что желание охватило вас всецело, то смело в путь, все достигнете! А теперь, – он с силою толкнул мой велосипед, – *de l’audace, encore de l’audace et toujours de l’audace!*”». «Для победы нам нужна смелость, смелость и еще раз смелость» – пожалуй, дантоновская цитата сообщает этому символу Ленина еще одно измерение.

Летом 1895-го ВИ выбирается из города уже в конце апреля – намереваясь всерьез подлечить свой желудок и заодно наладить контакты с европейскими социал-демократами. Май он проводит в Швейцарии, июнь – в Париже, июль – август – в Берлине и опять в Швейцарии и в сентябре завершает свое турне в Прибалтике.

Побывав в Берлине и Париже (у Поля Лафарга, который охладил его энтузиазм касательно возможности вбить рабочим Маркса кружковыми, «книжными» чтениями: «Они ничего не понимают. У нас после 20 лет социалистического движения Маркса никто не понимает») и поправив, в обществе Аксельрода, здоровье на швейцарском горном курорте, ВИ едва не доехал до Лондона – но договориться о встрече с Энгельсом не удалось: 75-летний сагамор, находившийся при смерти, не пожелал принять молодого русского социалиста и тем же летом отправился в страну вечной охоты, так что еще и некролог пришлось с колес писать.

Европа завораживала 25-летнего адвоката прежде всего легальностью социализма: там можно было свободно посещать социал-демократические собрания, свободно выходили журналы, газеты для рабочих; ВИ набрасывался на этот тип потребления с жадностью. В Швейцарии состоялось его знакомство с будущими соредакторами по «Искре». Плеханов только что закончил книгу с сулящим увлекательное путешествие в мир марксистской философии названием «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»: тотальная ревизия истории, философии, экономики и, среди прочего, либерального народничества с марксистских позиций; и хотя Плеханова, полагавшего, что литературных талантов Ульянова едва ли хватит даже на создание инструкции, как пользоваться утюгом, прошиб бы холодный пот от одной лишь мысли об этом, однако если бы в типографии перепутались страницы «Монистического взгляда» и «Друзей», то никто бы этого не заметил.

ВИ нарисовался в Женеве и Цюрихе не просто как очередной марксист-самоучка, из тех, что съезжались к Плеханову и Аксельроду на манер китайских туристов, целыми группами. Отгектографированные «Друзья» добрались уже и до Плеханова с Аксельродом – которые очень нуждались в связях с организацией рабочих с конкретных предприятий, а не «русскими рабочими вообще»; такого рода организацию они могли бы представлять в Европе на конгрессах Интернационала, и поэтому Ульянов был интереснее им едва ли не больше, чем они ему. Совместное периодическое издание? Отлично. Манифест российской социал-демократии? Да хоть завтра. Устроить что-то вроде съезда делегатов от российских марксистских кружков? Устраиваем. Хотим создать партию по образцу немецких социал-демократов? Прекрасно, давайте оформлять, немедленно! И он уехал оформлять.

Относительно того, кем он видел себя в этой будущей партии, сведений нет; были люди и с большим опытом, и более начитанные, и с настоящим боевым прошлым – как Плеханов, как Струве, как Вера Засулич. Но Плеханов эмигрировал из России пятнадцать лет назад, Струве был на настоящей, с живыми рабочими, фабрике один раз, на экскурсии, а Вера Засулич к тому моменту была скорее литературным критиком, чем террористкой. Однако ж и ВИ до поры до времени не проявлял претензий на лидерство.

Плеханов связал Ленина с Вильгельмом Либкнехтом – «штудирен, пропагандирен, организилен» которого ВИ так кстати цитировал в «Друзьях народа», – и, видимо, как раз эти двое и помогли Ленину раздобыть главный трофей его поездки. То был чемодан с настолько хитроумно сделанными потайными внутренностями, что туда поместился целый мимеограф – недавно изобретенное Эдисоном устройство: металлический цилиндр с ручкой сбоку, кото-

рый, проворачиваясь, копирует вложенную в него бумагу. По тем временам это было примерно то же, что ввезти в Москву 1970-х ксерокс: можно было делать 600–800 копий, в 15 раз больше, чем на гектографе. Таможенники или жандармы, похоже, обнаружили, что с чемоданом что-то не то, но не стали конфисковывать его – в надежде проследить за владельцем и выйти на всю банду. ВИ, однако, был готов к этому – и умудрился подменить заветный чемодан по заранее обговоренной с товарищами схеме на поддельный, который он демонстративно – якобы уходя от погони – зашвырнул в Екатерининский канал, заставив филеров искать его там с водолазами. Прибор проработал в «Союзе» еще несколько лет, пережив повальные обыски декабря 1895-го.

За ту пару лет, что ВИ «работал» в Петербурге, у него образовалось несколько групп в разных районах – на Нарвской заставе, Васильевском острове, Черной речке, и это только достоверно известные. Но поскольку особым вниманием ВИ пользовалась именно Невская застава, нет ничего удивительного в том, что когда конструкторы Ленинлэнда пришли к мысли увековечить героический пренатальный период РСДРП, из тех десятков адресов, где ВИ регулярно встречался с рабочими, преподавал в кружках или посещал собрания, выбран был «шелгуновский».

То, что сейчас называется «Домиком Шелгунова», на самом деле В. А. Шелгунову не принадлежало, и сам он был там сбоку припека – снимал жильцом комнату. Тем более никогда не жил там сам ВИ. И всё же многие местные жители уверены в обратном – и хотя они не правы, здесь обязательно надо побывать всем, кто «охотится» за «молодым Лениным» в Петербурге.

Между грязно-серыми, как из балабановских фильмов, пятиэтажками Новоалександровской улицы разбит скверик; к нему примыкает аллея, радующая глаз набором небольших стел-полуколонн, напоминающих не то о монолитах-радиоизлучателях из «Космической одиссеи», не то о столбиках-гномонах. Древние астрономические инструменты увенчаны бюстами: Крупская, Шелгунов, Шотман, Бабушкин... ну и Ленин, конечно. Сразу за ними, в самом центре оазиса, стоит аккуратный деревянный двухэтажный теремок, будто принесенный ураганом из Канзаса.

Этот коттеджец, принадлежавший хозяевам соседней Карточной фабрики, был рассчитан на четыре семьи рабочих; две верхние комнаты занимала семья Яковлевых – а еще одну они пересдали обуховцу Шелгунову (обычно рабочие старались снять у хозяев побольше, чтобы потом и самим что-то иметь от аренды), и уж тот принялся «водить» сюда Ленина.

Скорее всего, в 1890-е дом был обычным, хотя далеко не самым ужасным бараком, каких было понатыкано по округе десятки и сотни, целый лабиринт: халупа для рабочих с сортиром во дворе. Но сейчас теремок выглядит едва ли не романтично: сельская идиллия посреди спрута-города; совсем не похоже на бараки, как в романе «Мать» или в советских диорамах.

После блокады дом остался один в округе – все остальные деревянные строения сожгли: не хватало топлива для ТЭЦ; и сейчас это музей «Невская застава». Разумно, по нынешним временам, реформатировавшийся из политически ориентированного в краеведческий, он поддерживается в превосходном состоянии – и не только позволяет увидеть подлинную толстовку В. Шелгунова, но заставляет взглянуть другими глазами на весь район: а ведь в самом деле, прекрасно сохранилась и краснокирпичная Невская писчебумажная фабрика Варгуниных, где работали обитательницы дома Шелгунова; функционирует Александровский чугунолитейный, где в 1845-м был собран первый русский паровоз, – теперь это «Пролетарский», выпускает, к примеру, судовое оборудование. Действует и знаменитый Семяниковский – живущий, конечно, не паровозами и миноносцами, но машиностроением. Даже Императорская Карточная фабрика – хотя бы и скрывшаяся под блеклым псевдонимом Комбинат цвет-

ной печати – и то на месте; ее, правда, вот-вот перестроят под бизнес-центр – но цеха, замечательной красоты, остались, – и оказались в окружении современного жилого комплекса³.

Нынешняя Невская застава – это район вокруг проспекта Обуховской Обороны, станций метро «Пролетарская» и «Ломоносовская», Володарского моста, Парка имени Бабушкина – и на другом берегу Невы Сквера текстильщиков и Невской мануфактуры. Даже на метро путь неблизкий – хорошие полчаса из центра; а тогда? От Николаевского, нынешнего Московского, сюда ездила «дымопырка» – паровая конка с «империалом» – местами наверху; наверху было дешевле – три копейки против пяти в салоне. Потом, от Смольного, пустили «паровичок» – поезд из пяти-шести вагонов с паровозиком, вроде тех «игрушечных», что сейчас ездят по ВДНХ или Горкам Ленинским, – но на рельсах, гораздо более неуклюжий и страшно дымящий. Путешествия на «паровичках» 1890-х часто оказывались далекими от идиллических. Бабушкин рассказывает, как рабочие одного из заводов, устроившие бунт, разъярившись, напали на поезд, бросали в него камни, барабанили по стеклам палками (машинист сползал с сиденья, увеличивал скорость и пытался не глядя проскочить сложный участок; пассажирам приходилось валиться на пол); проще всего было положить что-нибудь на рельсы, чтобы устроить крушение – боялись, что паровоз и поезд раздавят самих же рабочих. Стачки, романтизированные в советское время, были жестоким мероприятием; ближайший их современный аналог – майданные события в республиках бывшего СССР, когда неугодных запикивают в мусорные ящики и закатывают в горящие автомобильные покрышки. Посторонним – даже сочувствующим – в толпе такого рода может прийти несладко.

Характер выступлений рабочих Невской заставы был далек от систематического. То собрались в лесу по случаю смерти Энгельса. То сплавали на пароходе «Тулон» – да так, что ради конспирации напоили команду и управляли судном сами. В случае более долгоиграющих бунтов начинали ползти слухи – которые, когда доходили до посторонних марксистов-интеллигентов, часто оказывались устаревшими. Разумеется, информация о том, что «масса сама заговорила о себе громким голосом» – когда мастерицы на табачной фабрике Лаферм, возмущенные снижением зарплаты, перебили в цехах окна и принялись крушить станки, была той музыкой, о которой мечтали уши Ульянова и его коллег по тайному обществу. А уж визит на фабрику градоначальника, который распорядился поливать работниц ледяной водой из пожарных кишок и ответил на доводы стачечниц относительно невозможности прожить на предлагаемые деньги знаменитым: «Можете дорабатывать на улице», – требовал немедленных действий: усугубить, перевести из экономической в политическую плоскость, возглавить. Фабрики, однако ж, были закрытыми корпорациями, куда посторонним особого хода не было; если там и происходило нечто необычное, то объявления на стену не вывешивалось и пресс-секретарь стачечников газеты не обзванивал. Для подтверждения того или иного слуха непременно требовался живой свидетель, с самой фабрики, – но где ж его было взять, да такого, чтобы пошел на контакт? Или, точнее, такую: там же женщины. Неудивительно, что в какой-то момент мы застаем крайне мало пьющего Ульянова в трактире за Невской заставой, за столиком, откуда хорошо слышны не только гудки фабричных труб, но и чужие разговоры; как ни странно, важной частью деятельности марксиста-практика было подслушивание, и не всегда продуктивное: в тот раз, разумеется, посетители заведения смаковали пикантный момент

³ Не менее причудливо сложилась и судьба мнимого хозяина домика. Василий Шелгунов продолжал терять зрение и году к 1910-му ослеп, что, впрочем, не помешало ему продолжить работу по партийной линии; словно Слепой Пью из «Острова сокровищ», он бродил по Петербургу под радарам полиции и казаков и налаживал контакты между партийными первичными организациями. В какой-то момент его все же арестовали – и нарочно посадили к уголовникам, которые жестоко издевались над ним: прятали одежду, убрали со стола тарелку, чтобы он промахивался, подкладывали вместо ложки щетку. Деятельность в РСДРП навела его на мысль организовать слепых и объединить их; так Шелгунов стал одним из патриархов ВОС – и даже организовал специальный журнал для инвалидов – «Жизнь слепых», в котором, по иронии судьбы, 40 лет спустя начал свою литературную карьеру писатель А. А. Проханов.

обливания женщин водой, тогда как о политике или хотя бы о требованиях табачных леди речь не заводили; их собственное мнение сводилось к разумной сентенции: «А потому не скандаль!»

По сути, первые попытки социал-демократов зацепиться своими зубьями за рабочую шестеренку были чем-то вроде социологических экспериментов; идеи «окончательной встряски» возникали самые экзотические. Так, однажды родился – и «встретил всеобщее одобрение» – план объявить на некой квартире большую сходку, стянуть туда как можно больше народу – с оружием, и одновременно отправить жандармам донос на самих себя. Смысл затеи состоял в том, чтобы принять бой – и хоть так, не мытьем так катаньем, «расшевелить» дремлющих обывателей, форсировать превращение стихийных экономических протестов в классово-политические. «Словом, получилось бы буквально одно из тех сектантских самосожжений, которые известны истории русского раскола».

Первая из сохранившихся листовок, сочиненных Ульяновым, обращена к рабочим Торнтон: вон она, мануфактура, торчит, на Октябрьской набережной, никуда не делась. Этот район – как и проспект Обуховской Обороны через Неву – не производит впечатления процветающего: у него неуютный, невзрачный, свидетельствующий о моральной изношенности вид; обычная вроде бы спальная полусоветская, полуноворусская окраина – но словно более усталая – и от бурного революционного прошлого, и от советской бетонной демьяновой ухи. Никакой джентрификации: трансформация краснокирпичных зданий мануфактур в редакции глянцевого журналов и лофты, как в Москве, еще не набрала популярность. Многие памятники, расставленные в советское время, украдены или выглядят гротескно и безобразно; еще одна волна «декоммунизации» – и от Невской заставы останутся только голые бетонные плиты непонятно какой эпохи. Однако если заменить помутневший от разрушенных ультрафиолетом XX века белковых структур хрусталик свежим протезом, серая стертая панорама вдруг наливается – хотя бы местами, фрагментарно – особой, токсичной красотой: граненые, украшенные «капителями» кирпичные трубы-колонны, кружевные багряно-бежевые, словно из шотландского замка водонапорные башенки, островерхие неоготические силуэты фабричных цехов превращают пейзаж в произведение искусства, реди-мейд сувенир из эпохи 1890-х, когда фабрики были территорией страдания, обителями, где гнезилось химически чистое, беспримесное зло.

До революции Торнтон – не лишенное элегантности пятиэтажное здание «индустриального дизайна» – был, пожалуй, одним из двух самых крупных предприятий на Невской заставе, наряду с Семянниковским (к рабочим которого, кстати, ВИ написал первую свою листовку вообще – так что теперь там, на территории, стоит каменный, что ли, факел – разлапистый, как елка, в полторы сажени шириной, – на котором написано, что это в честь той самой – не сохранившейся – листовки). Торнтон выпускал (да и сейчас, теоретически, выпускает; в советское время он назывался Комбинат тонких и технических сукон им. Э. Тельмана, а с 1992-го – АО «Невская мануфактура») шерстяные ткани: драп, фланель, шевит.

Тысяча женщин и около девятисот мужчин, работавших на фабрике, выполняли тяжелую, однообразную работу в плохо пригодных для пребывания условиях, по 13–15 часов в день. У них была низкая производительность труда, и начальство с ними не церемонилось. Владельцами были англичане с гротескными именами Джеймс Данилович и Чарльз Данилович. Хозяева и высший менеджмент, обычно иностранцы, англичане, жили в деревянных виллах, разъезжали на автомобилях, у них была своя пристань – целый спектр возможностей быстро и с комфортом добраться до Невского. Для рабочих было построено пять домов, казарм: либо общие спальни, либо конурки для семейных; одна плита на десятки семей, хочешь, чтоб твой горшок со щами был поближе к огню – доплачивай кухарке по два рубля в месяц или ешь пищу полусырой. На одной кровати спали по несколько человек, мастера устраивали себе гаремы, могли избить своего рабочего кнутом за то, что тот покупает водку не в фабричной лавке (где обвешивают и заведомо завышают цены). Это была какая-то индийская – или африканская,

эфиопская – бедность. У многих рабочих все имущество помещалось в небольшой мешок или сундучок. Маленькие дети без призора; повсюду грязь, блохи, клопы, вши; нет ни света, ни водопровода. Младенцев выхаживают так, что лучше даже не писать о том, как выглядела соска, чем их кормили и как предотвращали крик. У Торнтонов было даже свое кладбище – не такое уж редко посещаемое место, учитывая, что средняя продолжительность жизни в России составляла тридцать два – тридцать три года.

В ноябре 1895-го здесь вспыхнула забастовка – которой и попытался дирижировать «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», подпольная социал-демократическая организация, созданная ВИ на основе марксистского кружка студентов Технологического института. Первую листовку – с изложением требований – сочинил Г. М. Кржижановский. Когда забастовка кончилась, за перо взялся Ульянов; текст сохранился. «Ткачи своим дружным отпором хозяйской прижимке доказали, что в нашей среде в трудную минуту еще находятся люди, умеющие постоять за наши общие рабочие интересы, что еще не удалось нашим добродетельным хозяевам превратить нас окончательно в жалких рабов их бездонного кошелька». После звучащей «по-пелевински» прижимки начинается «сорокинщина»: «В шерсть стали валить, без всяких оговорок ноллеса и кнопа, отчего странно замедлялась выработка товара, проводочки на получение основы, будто ненароком, увеличились, наконец, стали прямо сбавлять рабочие часы, а теперь вводят куски из 5 шмиц вместо 9, чтобы ткач почаще возился с хлопотами по получению и заправке основ, за которые, как известно, он не получает ни гроша». И заканчивалось все шестью требованиями с интонацией Ваньки Жукова – «чтобы в расценках не было обмана, чтобы они не были двойными» и т. п. («Например, бибер мы ткали по 4 р. 32 к., а урал всего за 4 р. 14 к., – а разве по работе это не одно и то же?»)

На самом деле, если знать контекст и понимать, о чем идет речь (бибер и урал – это сорта драпа), листовка не кажется такой уж забавной: ишь как изгаляется, чтоб за своего сойти; по правде сказать, в ней нет и вовсе ничего забавного. Это профессионально выполненная, адекватная, надо полагать, по языку вещь (у Ленина не так уж часто встретишь музыкально звучащую фразу, но ухо у него было довольно чуткое, и когда в графе «профессия» он указывал «литератор», то нисколько не преувеличивал). Да, многие фразы режут слух – но это «нишевая литература», рассчитанная на специфическую аудиторию. Да, по этому тексту пока не чувствуется специфическое ленинское искусство «социального гипнотизма» (термин социал-демократа Б. Горева) – умение «так воздействовать устной и печатной речью на разум и волю масс, что эта воля подчиняется воле вождя». В забастовке поучаствовали не все работники, около пятисот; она не переросла в вооруженное восстание. И все же листовки, по воспоминаниям многих участников событий, производили и на фабричных, и на заводских обитателей одинаковый эффект – сходный с магическим. Обычно их находили в «ретирадах» – отхожих местах. Туда принимались наведываться группами; начиналось кучкование, «праздничное оживление». В какой-то момент через сторожа или иное незаинтересованное лицо листовка отсылалась в дирекцию; там тоже начиналось движение; часто заранее – потому что сочинители листовок отсылали копии всем, вплоть до полиции. Начальство – мастера, управляющие, иногда хозяин – выходило к людям. На вопросы, что конкретно они требуют, толпа обычно кричала – мол, сами читайте, там все написано; более конкретные ответы давали таким образом, чтобы отвечающий был прикрыт толпой – иначе потом выгонят. Но самое любопытное, что листовки оказывали эффект как раз на хозяев: «На глазах у рабочих фабричная инспекция и жандармский полковник производили исследования, пробовали тухлую некипяченую воду в баках, вешали гири, проверяли весы, мерили куски... Настроение у рабочих было самое радостное, особенно когда после всей этой встряски уничтожались уже очень очевидные злоупотребления». В том, что какие-то листки могут вызвать уступки хозяев, которые никогда не реагируют ни на какие жалобы, ощущалось едва ли не колдовство; рабочие – слабая, по самоощущению, сторона – начинали осознавать, что «хулиганы» их побаиваются.

В результате каждую следующую листовку оказывалось распространить проще; репутация «Союза» росла как на дрожжах; марксистов приглашали на заводы – а сделайте нам такое!

Разумеется, листовки не Ульяновым придуманы; самопальные, 1880-х годов, обычно отличались краткостью и емкостью: «Кто завтра продолжит работать, тот получит...» Один мемуарист вспоминает знаменитое «объявление», подписанное: «руку приложил Павел Иванов»; «причем на листе действительно была приложена рука, т. е. отпечаток руки. Этот отпечаток был таких внушительных размеров, что можно было усомниться в существовании такой руки, если б для воспроизведения ее на бумаге можно было допустить какой-либо другой способ, а не действительное “рукоприкладство”» («Из рабочего движения за Невской заставой в 70-х и 80-х годах. Из воспоминаний старого рабочего»). Неудивительно, что последствиями таких листовок обычно становились драки с охраной и ломка машин, мало к чему приводившие.

Искусство написания самодельных листовок постепенно эволюционировало. В 1890-х рабочие могли прочесть, например, такое: «Господа рабочие товарищи! Обратите внимание и ваш взгляд на жизнь свою. Если бы вам пришлось встретить иностранца, по чину равного себе, то вы сразу сознаетесь, что вы против их дикари. Они также были угнетаемы своими хозяевами, но благодаря их острому понятию давно улучшили свое положение. Они по-нашему в часы отдыха не валяются в грязи, в рваной одежде около кабаков и трактиров, не относятся с ругательством и нередко с побоями к своим товарищам, как русский мужик, а собираются вместе и толкуют об улучшении, или же захочет развеселиться, то садится на велосипед и едет кататься и вместе с тем развивает свою мускульную силу». Живо – но по-прежнему мало конкретики; не попросишь же начальство перевести тебя в иностранцы.

Понимая, что малейшая фальшь в интонации убьет весь эффект от текста, ВИ и уделял так много времени анкетированию рабочих: это позволяло ему писать не просто «пролетарии всех стран, соединяйтесь», а предметно, с деталями, да, имитировать явно чужую речь, но не сбиваясь на пародию; как индейцы в романах Фенимора Купера подражали птичьим крикам.

Занятно, что «магия» листовок, работавшая в 1893–1895 годах, затем иссякла – но только потому, что рабочие и сами уже знали, чего могут добиться стачками, и устраивали их с пугающей полицию регулярностью; вырастая, в точности как было предсказано в марксистских сочинениях, они хотели уже литературы посерьезнее – периодики, газет. Всё это в конце концов приведет к ситуации 1905–1906 годов – «идеальному шторму».

Пожалуй, фигура, через посредничество которой о молодом Ленине можно узнать больше, чем как-либо еще, – это погибший в 1906 году тридцатитрехлетним рабочий Иван Бабушкин.

С Лениным его познакомил Шелгунов. Но то, что Бабушкин был уникалом, вычислила Крупская, у которой он учился в Корниловской школе; он был очень наивным, запомнила Крупская, – написал на уроке русского языка на доске: «У нас на заводе скоро будет стачка».

Бабушкин был рабочим-металлургом, заводским; это важно: ткачи и металлурги – «плебс» и «аристократия» пролетариата. Ульянова больше интересовали металлурги как наиболее сознательные рабочие – которые, в свою очередь, могли компетентно просветить и пропагандировать более темных ткачей. В случае с Бабушкиным эта схема сработала идеально – по заданию «Искры» он немало времени провел на фабриках в Иваново-Вознесенске, Шуе, Орехово-Зуеве – самых чудовищных анклавах российского капитализма. В возрасте около двадцати лет он на тринадцать месяцев попал в камеру-одиночку; потом не смог вернуться к прежней профессии – потому что никак не получалось пройти экзамен с напильником: за год мозоли, которые раньше покрывали его руки, сошли – и пытаюсь обработать «контрольную» деталь в обозначенное время, он несколько раз стирал себе руки в кровь. В начале 1900-х Ленин придумал использовать его не только как агента «Искры» – распространителя газеты, но и как журналиста, создателя репортажных очерков о фабричной жизни. Когда Бабушкин

приехал к нему в Лондон, Ленин предложил ему написать для «Искры» автобиографический текст; и даже сейчас, через сто с лишним лет, эта работа Ивана Бабушкина производит ошеломляющее впечатление.

О страшном, «диккенсовском» мире фабричного капитализма мы имеем довольно смутное представление. «Русская фабрика» Туган-Барановского, «Очерки» Тахтарева, «Развитие капитализма» Ленина – это всё же научные работы, но даже и по горьковскому роману «Мать» о нем трудно судить: там описано уже другое десятилетие, когда условия жизни рабочих сильно улучшились. Бабушкин, рожденный этим миром, – ключевая фигура для того, кто хотел бы увидеть ту среду, на трансформацию которой был направлен вектор усилий Ленина; понять, с какой стати Ленин с его талантами, применимыми в любой области, выбрал не просто занятия «академическим марксизмом», как его в каком-то смысле «двойник» Струве, или марксизм как просветительство, род интеллигентского хождения в народ (таких «двойников» – без счета), но активную, рискованную, опасную для жизни и здоровья деятельность.

Возможно, многие рабочие – ученики и товарищи ВИ – чувствовали то же самое, но только Бабушкин успел рассказать об этом. Его стостраничная автобиография – история жизни заведомо обреченного – принадлежностью к сословию, обстоятельствами рождения – чело- века, осознающего, что все его попытки изменить чудовищную среду вокруг себя оборачиваются страшными потерями; трагическое – и одновременно жизнеутверждающее произведение. При всей девальвации школьным советским курсом, добролюбовский образ луча света в темном царстве уместен для фигуры автора как никакой другой – луча, трагически рано угасшего, но оставившего о себе воспоминания и надежду.

Курьез еще и в том, что этот луч света был практиком, прагматиком, одинаково хорошо управлявшимся и с напильником, и с пером, и с браунингом, не терявшимся ни в Орехово-Зуеве, ни в Лондоне, ни в Чите, способным и шататься по фабричным слободкам под видом коробейника с образцами текстильной продукции – и «Искрой» на дне; и открыть слесарную мастерскую на дому; и навести порядок в лондонской коммуне интеллигентов-социал-демократов, погрязших в бытовом свинстве; и открыть кооперативную лавку на паях по торговле бакалеей; и бежать из тюрьмы, перепилив решетку (он носил в сапоге набор пилок для этого); и сочинить брошюру, которая станет классикой и будет годами циркулировать среди рабочих («Что такое социалист и государственный преступник»); и пробраться на конгресс английских тред-юнионов, чтобы – даже не зная языка – изучать культуру пролетариата, умеющего саморганизовываться. У него все спорилось – и одновременно в нем была и «мечтательность», впечатлительность, *Sehnsucht*. Это позволило ему, меланхолику, транслировать ужасы капитализма в России так, как у Ленина – сангвиника и отчасти холерика, которого мы всё время видим сложившимся пополам от беззвучного хохота над глупостью оппонентов, – никогда не получалось.

Возможно, сегодня мы поневоле воспринимаем деятельность марксистов 1890-х с некоторым раздражением: как они настырно «лезут» к рабочим, «развращая» их своими «штудирен-пропагандирен». Бабушкин показывает, как все было на самом деле; особенно это видно, когда он описывает горькое чувство потери, которое ощущали рабочие, видя, что «их» интеллигентов одного за другим арестовывают. Он не только сожалеет, но и досадует: важная работа остается невыполненной, ведь сами рабочие были не в состоянии написать и отредактировать «листки», которые так ждали и они сами, и их товарищи. «Как несчастье после какого-либо обвала, засыпавшего людей, не позволяет долго обдумывать особых приспособлений для отрыва их, а заставляет скорее схватить лопату и рыть, рыть без усталости, без конца, до тех пор, пока не удастся отрыть живых или мертвых тел, так точно и нам некогда было обсуждать наше положение, и нужно было по возможности скорее принимать наследство». Рыть, пока не удастся отрыть живых или мертвых тел, – вот на что была похожа революционная работа, вот почему они – и ВИ тоже – тратили столько времени и сил, вот почему так рисковали и торопились.

К Ленину за 54 года пришвартовывалось много хороших и очень хороших людей, но, возможно, лучшим из них был как раз Бабушкин; ни разу за последнее столетие не попавшая в разряд «модных» – в отличие от Богданова, Потресова, Струве, Троцкого, Дзержинского – фигура: просто рабочий со смешной фамилией, который в какой-то момент зачитался книжками и, вместо того чтобы продолжать вести нормальную жизнь, занялся просвещением и революцией – и расстрелян был, как собака, без следствия, суда и уведомления близких; тот ученик, за которого многое можно простить и учителю.

Согласно распространенному представлению, один из «грехов» Ленина состоит в том, что он, в рамках своего жестокого социального эксперимента, вывел на историческую авансцену «хама» – «шарикова», «чумазого», «манкурта», «гунна», варвара, класс недочеловеков, которых заведомо нельзя было допускать к власти, поскольку они представляют собой продукт дегенерации общества, антиподов самого понятия «культура». По бабушкинскому тексту – не говоря уж о бабушкинской биографии – понятно, что эти представления суть прикрытый ссылкой на булгаковское остроумие социальный расизм. Рабочие были классом, попавшим в трагическое положение, в беду; класс-жертва объективных историко-экономических обстоятельств. И даже сам внешний вид пролетариев – склонность к алкоголю, агрессивность, вульгарность – есть навязанное им состояние, которое доставляло им самим страдание. Отвечая одному из либеральных публицистов «Русского богатства», который проехался по фабрикам Центральной России и сочинил «скептический» очерк о положении рабочих: много пьяных, обстановка свинская; поделом им, сами виноваты, – Бабушкин объясняет, откуда взялась эта обстановка: их рабочий день длится слишком долго для того, чтобы думать о чем-то еще; такой режим, да еще в сочетании с вечным, с младенчества до смерти, недоеданием, действовал на рабочих как седативное лекарство; и читать им было тяжело – над книжкой засыпали, и пьянели они со второй рюмки – не потому, что были морлоками-деградантами; просто с ними обращались, как со скотом. Рабочий цикл мог длиться, например, 60 часов – с перерывами только для приема пищи, и сам Бабушкин, участвовавший в таких марафонах, не мог читать книги не из отвращения к высокой культуре, а потому, что по дороге домой дремал на ходу «и просыпался от удара о фонарный столб»; и затем ему приходилось буквально обкрадывать самого себя – недоедать и недосыпать, чтобы чего-то прочесть в книгах и что-то узнать в Корниловской школе. В школе, где в коридорах, из-за общественных туалетов, стоял такой запах, что с ног валило: свинство? Свинство, да, но «свинство» также не является имманентным свойством пролетариата, и даже когда вы видите, что по улице рабочей слободки идет шатающийся, как пьяный, человек – он, вполне может быть не пьян, а голоден; особенно если это голодный год. Для России 1880—1890-х, как для Англии 1840-х, характерна была, в точности по Марксу, унтерменшизация человека, превращение его в придаток машины. Труд был не просто плохо оплачиваем, но мучителен, неизбежно приводил к разрушению организма и физическим увечьям; самими рабочими эта жизнь воспринималась как рабство (и неудивительно, что любимой книгой грамотных рабочих того времени становился «Спартак» Джованьоли – больно хорошо рифмовались обстоятельства и атмосфера). Именно здесь, на ткацких фабриках, случались совершенно «голливудские» происшествия, и женщины, чистившие ткацкий станок, подхваченные за волосы рваным ходовым ремнем, подброшенные под потолок и заживо оскальпированные, не были выдумкой. Как и полагается в антиутопиях, эти заведения кишели двенадцати-тринадцатилетними полурабами-детьми, заживо гнившими среди пыли, тьмы и ядовитых испарений от красителей для тканей. Условия жизни вели к физиологической и моральной деградации. Ужасы, которые Бабушкин – столичный все-таки рабочий, белая кость пролетариата – увидел на провинциальных ткацких фабриках, кажутся нынешнему читателю даже не просто неправдоподобными – «лавкрафтовскими», слишком страшными, чтобы воспроизводить их.

Сам Бабушкин был человеком, которого Ленин, не поспоришь, «улучшил»; вот уж действительно Эдмон Дантес, сформированный аббатом Фариа-Ульяновым. И да, слова, сказанные Лениным о Бабушкине (к сожалению, в некрологе): «благодаря таким рабочим пролетариат завоюет в России себе будущее» – кажутся не столько пророчеством, сколько обещанием.

Бабушкин – так скажем – есть воплощенная «совесть Ленина»; Ленина, которого всегда обвиняли, что у него «нет ничего святого»; и оценивая все дальнейшие действия ВИ – в том числе с позиции Горького, который, небезосновательно, называл Ленина «хладнокровным фокусником, не жалеющим ни чести, ни жизни пролетариата», – следует помнить, что какие бы фокусы Ленин ни выкидывал, у него была «совесть»; и пусть она не выставлена в Мавзолее, но достаточно набрать в поисковике «Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина» – и вы ее увидите.

Не то что бабушкинские тексты оправдывают «фокусы» Ленина – нет; но они объясняют, почему у Ленина было право на эксперимент и в каком состоянии изначально находились те, кто потом стали «жертвами» ленинского эксперимента (а сам Бабушкин демонстрирует, каким может быть результат эксперимента – пусть даже его не удалось запустить в «массовое производство»). И если уж на то пошло, Ленин никогда не скрывал от рабочих, что «экспериментирует». Им говорили – в открытую, – что они сформированы капитализмом, а теперь им предстоит построить новый мир, и поэтому – у А. Платонова есть хорошая формулировка – «мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!...».

Это гротескное, не без ерничества, но, в сущности, правильное изложение ленинского плана, касающегося приучения рабочих к культуре труда и классовой борьбы; сам И. В. Бабушкин наверняка понял бы, о чем идет речь.

* * *

Невская застава раскачивалась года аж до 1894-го – а затем медленно, но верно начала выходить из берегов: то ли пропагандисты в самом деле раскачали рабочих, то ли локомотив капитализма достиг крейсерской скорости, однако тапер играл уже совсем другие мелодии. Если до 1893-го марксисты гонялись за любыми, какими ни есть рабочими, а в условном 1894-м – за интеллигентными, которым можно втолковать хотя бы первую главу «Капитала», то уже к 1895 году сами рабочие стали искать агитаторов, способных спровоцировать их на массовое выступление и перевести экономические требования в политические.

Первый из летевших в коммунизм рабочих кружков «Николая Петровича» перехватили в ноябре 1894-го; лектор уцелел – но зубной врач Михайлов продолжал сверлить дыры; горячий воздух из оболочки воздушного шара стравливался, и уже через год все, кто находился в той корзине, экипаж которой собирался выпустить первый номер газеты «Рабочее дело», шваркнулись об землю.

Десять тысяч часов в одиночной камере изменяют психику кого угодно, и, выбравшись на три дня на волю перед ссылкой, ВИ, столько лет тянувший резину и дождавшийся того, что «невеста» сама угодила за решетку, пишет ей – «химией», разумеется – письмо, в котором – 14 февраля, как трогательно – признается в любви.

Шушенское 1897–1900

1 января 1918 года ленинский автомобиль, возвращавшийся в Смольный после выступления ВИ в Михайловском манеже, обстреляли. Нападение в стиле гангстерских боевиков произошло у нынешнего моста Белинского на Фонтанке; пара пуль попала в кузов, еще одна разбила ветровое стекло – и тут сидевший рядом с ВИ Фриц Платтен умудрился нагнуть товарищу голову и прикрыть своим корпусом: четвертой пулей самого швейцарца ранило в руку. По-настоящему спас Ленина, однако, другой человек – тот, кто должен был бросить в автомобиль бомбу. Его звали Герман Ушаков, он был демобилизованный в условиях перемирия подпоручик и решение не добивать Ленина принял после того, как увидел свою будущую мишень на митинге; живьем «немецкий шпион» произвел на него глубокое впечатление. Ленин расплатился за этот «заячий тулупчик» – после того как Ушаков и двое его товарищей, молодые георгиевские кавалеры, угодили-таки в ЧК, Ленин, ознакомившись с результатами расследования, впечатлениями, которые вынес из бесед с террористами Бонч-Бруевич, и написанным после его февральского воззвания «Социалистическое отечество в опасности» прошением отправить их на Псковский фронт, под немецкое наступление, – не дал их расстрелять и приказал отпустить. Ушаков участвовал в Гражданской войне на стороне красных, командовал бронепоездом; в январе 1924-го он вновь дернул за рукав Бонч-Бруевича – и попросил постоять немного у гроба человека, которого сначала ненавидел, а потом полюбил; Бонч запомнил его голос – «глухой, с надрывом» – и слезы в глазах. В 1927-м жизнь занесла Ушакова в Шушенское – где он увлекся идеей написать документальный очерк о пребывании там Ленина; он разыскал пятерых живых свидетелей – квартирного хозяина, прислугу, партнера по рыбалке и шахматам, партнера по охоте и соседа, долго беседовал с ними, чтобы реконструировать не только детали быта, но и атмосферу, в которую ВИ погружен был в течение трех без малого лет; с его эрнст-юнгеровской ясной серьезностью, журналистской дотошностью и тем чувством слова, которое было свойственно некоторым людям 20-х годов, Ушаков оказался одним из самых проницательных биографов ВИ; его 60 «шушенских» страничек многое объясняют и в «шушенском периоде», и в феномене Ленина в целом; сам факт «преображения», случившегося с автором под воздействием героя, и взаимное помилование, которое они предоставили друг другу, заставляет текст излучать особый внутренний свет и тепло⁴.

Мартов пишет, что все члены «Союза борьбы» готовы были к тому, что получают восемь – десять лет ссылки; три зимы были подарком судьбы – пусть даже в Восточной Сибири, в лучшем для мужчины возрасте. В результате годы эти словно выпали у ВИ из памяти; возможно, потому, что были спокойнее и счастливее многих других. Косвенным образом «лакунный» характер этого периода подтверждается данными из «Анкеты для перерегистрации членов московской организации РКП(б)» 1920 года, где на вопрос номер 13 – «Какие местности России хорошо знаете» – Ленин отвечает: «Жил только на Волге и в столицах». Возможно, впрочем, это связано с тем, что Сибирь тогда не воспринималась как вполне Россия; и даже письма, которые приходили из Москвы или Петербурга, квалифицировались адресатами как «почта из России».

Путь туда занял почти месяц; другим участникам протестных движений – декабристам, петрашевцам, народникам, мятежным полякам – тем, кого ссылали в Шушенское раньше, место это казалось еще более отдаленным: до 1895-го железнодорожного сообщения с Крас-

⁴ В советское время труд Ушакова не был известен, его не пропустила цензура НК – и он лежал в архиве Бонч-Бруевича. Автора, конечно, репрессировали – но текст сохранился и был опубликован уже в XXI веке.

ноярском не существовало. Но и в 1897 году мост через Енисей еще не достроили – и в Красноярске ВИ пришлось перегружаться на пароход; «Святитель Николай» умудрился сесть на мель, не дойдя до Минусинска, и ВИ даже довелось поучаствовать в спасательной операции; он вскарабкался чуть ли не на отвесную гору, чтобы попасть в деревню, где можно было раздобыть хлеб для оголодавших пассажиров.

Чтобы оказаться в Шушенском сейчас, можно долететь либо до Абакана, либо до того же Красноярска – и затем от трех до десяти часов трястись на автобусе. Далековато; сильно восточнее Новосибирска; еще самую малость – Тува, Бурятия, Якутия, Приморье – и Тихий океан. Уже благодаря одному только расстоянию в воздухе будто сгущается магия; сами географические названия звучат почти сказочно: Енисейская губерния, Абаканская степь, Минусинская котловина, Хакасская равнина, Саянский хребет. «Шу-шу-шу – село недурное», – с ласковой иронией писал Владимир Ильич своей матери, – расположилось словно в центре всей этой экзотики.

К 1897-му Шушенское было не то чтобы землей обетованной – однако при том, что в целом переселения из Центральной России в Сибирь всячески поощрялись, именно в Шушенское абы кого брать перестали – за возможность присоединиться к общине, своего рода патент, требовалось заплатить под 100 рублей: заработок батрака чуть ли не за полгода. Ленину пришлось хлопотать о себе, чтобы попасть именно сюда; и если бы не липовая, наверное, справка о слабом здоровье, его закатали бы на север губернии, в Туруханский край; туда попал Мартов, чье еврейство сыграло как отягчающее обстоятельство.

Когда въезжаешь сюда – хоть со стороны Минусинска, хоть Саяногорска, – и не догадываешься, что скрывает нарядный, с проспектами и парками, городок, где пятиэтажки и частный сектор не воюют друг с другом, а – в кои-то веки – гармонируют. В советское время здесь были речной вокзал, аэропорт, автовокзал; в 70-е семейные пары, где муж работал на строительстве ГЭС, а жена – в музее Ленина, вызывали белую зависть. Шушенские пятиэтажки не кажутся архитектурными анахронизмами, скульптуры чебурашек из автомобильных покрышек в детских садах выглядят остроумными инсталляциями, а гигантская, напоминающая силуэт МиГа, парковая металлическая балалайка с подписью «беспилотник русского подсознания» – приятно озадачивает. Шушенское производит впечатление городка, который удачно воспользовался возможностями XX века – и не затеряется в XXI, обещающем рост туристической индустрии.

Пограничная зона между прошлым, настоящим и будущим – площадь, которая могла бы украсить столицу какой-нибудь восточноевропейской страны с богатым коммунистическим прошлым. За административными зданиями и церковью открывается вход в историко-архитектурный заповедник – «Ссылка В. И. Ленина».

«Ссылка» устроена по тому же принципу, что стокгольмский «Скансен»: этнографический музей из характерных для национальной архитектуры построек под открытым небом. В некоторых – для фона и «атмосферы» – открыты «мастерские», укомплектованные экспертами по резьбе деревянных ложек, домоткачеству, гончарному ремеслу, плотницкому труду и прочему «народному творчеству». По правде сказать, три десятка домов за зеленым забором – с дворами, огородами и прилегающими улицами – не особо справляются с задачей транслировать зрителям образ седой старины; такой XIX век и сейчас встречается в немусеифицированных деревнях.

Шушенское появилось на картах со второй половины XVIII века, но долго пользовалось репутацией далекого от цивилизации места, куда можно выпихивать всех тех, за кем числятся уголовные или политические провинности. Особенности климата стали притягивать сюда рабочих с золотых приисков, добровольных переселенцев и искателей приключений из Центральной России и бывших каторжников, имевших обыкновение после освобождения практиковать освоенные в тюрьмах навыки общения. Село, изобиловавшее пассионарными

личностями, так и не унифицировалось в социальном плане – и в революцию, замечает Ушаков, это проявилось особенно.

Можно предположить, что, когда ВИ въезжал сюда в 1897-м, Шушенское, располагавшееся, по сути, на восточном фронтире России, выглядело скорее как декорация спагетти-вестерна: зловеще поскрипывающие дома с зашторенными окнами, огнестрельное оружие в изобилии, всегда загруженный заказами гробовщик и группа подпирающих ограду распивочного заведения мужчин, коротающих время в ожидании не то работенки, не то свежего развлечения. Ни о чем подобном сейчас даже и говорить не приходится: в лучшем случае здесь можно было бы экранизировать «Шурик у бабушки» или «Любовь и голуби».

Те дома, где за три года успел поквартировать Ленин, открыты для организованных посетителей. Акцент на первое слово: что радикально отличает Шушенское от заповедников вроде «Скансена» – так это запрет гулять без экскурсовода; еще одно доказательство того, что принудительные способы гуртования населения не столько имеют отношение к марксизму, сколько свойственны российскому типу администрирования.

Маршрут начинают с крайней – в заповеднике – хаты крестьянина-середняка Зырянова. «В этом доме... вождь мирового пролетариата...» – беломраморное уведомление возвещает о пребывании Ленина с такой колокольной торжественностью, будто тот провел пятнадцать месяцев в собственных апартаментах в «Бурж-Калифа»; на самом деле это избушка – словно бы с иллюстрации к «Трем медведям»: почерневшие листовенничные бревнышки в обло, четыре окошка в стену, гераньки, резные ставенки. Это, впрочем, лишь верхняя часть айсберга – к дому прилеплены хозяйственные пристройки, в которых, похоже, и была главная сила владельца. Ушаков, познакомившийся с Аполлоном Долмантьевичем Зыряновым, характеризует его как энергичного, предприимчивого человека из тех, что должны были нравиться ВИ. Уже в 1890-е он был достаточно зажиточным, держал много скота (в 1920-е его даже придется поражать в гражданских правах как кулака – хотя он не был «кабальщиком»), пользовался у своих земляков уважением, избирался доверенным по питейному заведению; впрочем, беспрепятственный доступ к алкоголю попутает кого угодно – и прожившая с ним на протяжении нескольких недель под одной крышей НК уверенно свидетельствует, что их амфитрион со своими гостями «часто напивались пьяными».

Музеефикация деревни началась еще в 1920-м, сразу после того, как шушенцы осознали, что в Кремле обосновался тот самый, их Ульянов; уже в марте 1923-го они принялись чудить – и избрали его «почетным членом сельсовета». В 1924-м администрация реквизировала у хозяев имеющих отношение к Ленину домов мебель (кровать, конторку) и даже умудрилась выловить из потока времени несколько якобы подлинных «предметов»: барометр, полушубок, валенки. Валенки (точнее, сибирские пимы) и сейчас демонстрируются в одной из витрин; как раз в такие конспираторы и закладывали рукописи ленинских статей и письма, написанные шифром, – для отправки кому следует в Центральную Россию или Европу.

Иллюзия, будто вы окажетесь единственным «европейцем», добравшимся в постгорбачевскую эпоху до этих валенок, есть лишь неизбывный московский снобизм: народу здесь – труба нетолченная, в том числе из коренной России; может быть, не все они приехали сюда исключительно ради Ленина – однако никто здесь не требует показывать ему «только старину, а про Ленина ничего не надо». Летом стайки экскурсантов запускают внутрь чуть ли не с частотой поездов в метро – и хотя далеко не все посетители прочли «Развитие капитализма в России» и разобрались в нюансах различий между социал-демократами и революционными народниками, все они знают, что здесь несколько лет прочаился великий человек – и та оснастка, которая удерживала его, бытовые и метафизические якоря продолжают интриговать их.

О том, что первый год в ссылке дался ВИ сложнее остальных, свидетельствуют рассказы Зырянова Ушакову. Постоялец, едва освоившись на новом месте, заскучал: «лежит, ничего не делает» – и даже якобы признался, что «скушает по невесте, которую не пускают к нему».

В одном из писем ВИ сообщает, что пытался сочинить – кажется, единственный случай в его биографии – стихотворение, к которому быстро придумал хореическую первую строку: «В Шуше, у подножия Саяна...», а затем заглох; в другом просит прислать ему маленькие ножницы – потому что своих нет и приходится брать у хозяев, а у тех только овечьи. «Достоинство их – то, что всегда возбуждают смех и веселье»; судя по тому, что сказано это с поджатыми губами, представления Зырянова о юморе время от времени расходились с ульяновскими.

Однако едва ли Шушенское произвело на ВИ шокирующее впечатление; ничего радикально нового по сравнению с Кокушкиным или Алакаевкой: «большое, в несколько улиц, довольно грязных, пыльных – все как быть следует. Стоит в степи – садов и вообще растительности нет. Окружено село ... (многооточие предназначено для женского уха – это письмо младшей сестре. – Л. Д.) навозом, который здесь на поля не вывозят, а бросают прямо за селом, так что для того, чтобы выйти из села, надо всегда почти пройти через некоторое количество навоза. У самого села речонка Шушь, теперь совсем обмелевшая». Эта Шушь впадает в Енисей, который, однако, не выглядит здесь особенно величественным и едва ли наполняет грудные клетки жителей ощущением простора, как Нева или Волга; в ста километрах от гор, «вырвавшись» (здешние географы склонны драматизировать природные феномены) «на просторы Минусинско-Хакасской равнины», он, летом во всяком случае, сильно у́же Москвы-реки; ВИ замечает, что по сути это «масса островов и протоков, так что к главному руслу Енисея подхода нет». Река и сейчас осталась на задворках – доступ застроен дачками, огородами; тот, кто соберется исследовать ее берега, обнаружит там сразу два нехарактерных для Шушенского злачных заведений – «Станица» и «Хуторок», в 50 метрах друг от друга, несомненно конкурирующие; и там и там звучит громкая музыка, слышен стук бильярдных шаров и звон кружек, наполненных «Абаканским» и «Минусинским живым».

Можно только предполагать, какую досаду вызывали у 27-летнего ВИ, с его гиперактивностью, потеря времени и вытеснение на политическую периферию: год он просидел в камере, теперь на три оказался закупорен в глухой деревне, куда газеты приходили через месяц – и почуять суть момента было почти невозможно. ВИ всегда был зависимым форвардом, которого очень стимулировали информационные пасы. Здесь оказывалось, что он дистанционно участвовал в матчах, которые для всех давно закончились: так, он пару раз писал в Шушенском статьи в журналы, даже не зная, что те уже закрылись.

Летаргическая атмосфера Шушенского – в особенности неотменяемая продолжительность срока – не могла не влиять на ВИ. В тюрьме по крайней мере сама обстановка действовала закаляюще, там из графита под давлением рождался алмаз. Здесь присутствие государственной машины заключалось лишь в том, что утром и вечером к вам приходил надзиратель и вы расписывались в его книге: тут, никуда не делся; махровая, «чеховская» скука, от которой кто угодно мог бы «повзрослеть», отказаться от революционных фанаберий, начать заглядывать в чарочку, жениться на местной жительнице – как оба сосланных сюда декабриста, опроститься, уйти в чтение. НК рассказывает, что, кроме русской классики, марксистской литературы и книг по статистике, у ее мужа в Шушенском были «Фауст» и томик стихов Гейне на немецком, а еще он время от времени рассматривал альбом с фотопортретами политкаторжан, Герцена, Писарева. Между двумя фотографиями Чернышевского была вклеена карточка Золя, который как раз в те годы был звездой, выступив защитником в процессе Дрейфуса; да и «Жерминаль», идеальное беллетристическое сопровождение к «Капиталу», ВИ тоже очень любил.

К счастью, у ВИ не было аллергии на «идиотизм деревенской жизни», и он умел занимать себя не только письмом и чтением, но и спортом, гуляньями и общением, которое, надо полагать, воспринимал как возможность для полевого социолога изучить «уклад». Он относительно легко сходился с местными жителями и охотно участвовал в их обычных практиках.

Он отказался учить сына местного врача (очень витиевато: «Милостивый государь Семен Михеевич! Спешу уведомить Вас, согласно данному обещанию, о результатах переговоров

моих с тем лицом, которому Вы хотели дать одно поручение. Как я и ожидал, это лицо отказалось точно так же от него, и придется, следовательно, обратиться к кому-либо другому. Готовый к услугам Владимир Ульянов»), зато для развлечения или с научными целями принялся работать в Шушенском кем-то вроде подпольного (официально ему запрещено было заниматься такого рода деятельностью) адвоката, помогая крестьянам, рабочим с приисков и товарищам-ссыльным. Сюжеты приходилось разбирать еще более экзотические, чем в Самаре: корова потравила чей-то чужой луг, зять не позвал на свадьбу. Одного крестьянина ложно обвинили в поджоге казенного леса; ВИ составил ему бумагу и предупредил, что если лесничий не примет ее, то надо будет отправить документ по почте; подзащитный, однако, вместо этого свернул из прошения кулек, чтобы насыпать в него фунт купленного на базаре сахара. Зырянов рассказывает, что ВИ был в страшном гневе, услышав эту историю, и заперся у себя в комнате, не пожелав выслушивать дальнейших оправданий крестьянина. У этой филантропической – денег ВИ не брал – деятельности были и другие неприятные аспекты; с одним из них НК пришлось столкнуться сразу же по прибытии в Шушенское. Пока они с матерью ждали возвращения ВИ с охоты, в дом Зырянова явились крестьяне – благодарить за успешно оказанную в каком-то деле помощь против мельника, а затем и сам мельник – разбираться сшибко грамотным юристом; его удалось выставить только матери НК.

Регулярная юридическая практика, безусловно, давала ВИ живейшее представление об устройстве деревенской общины – и крестьянских умов, задуренных отсутствием всякого образования.

Зырянов рассказывал Ушакову, что еще в мае 1897-го, едва разобрав чемоданы, ВИ согласился на его предложение на неделю съездить на пашню: там он, конечно, не ходил за сохой – но жил в стане из дернины, вместе с полевыми работниками, которые боронили и сеяли. Утром ВИ лазил по болотам с ружьем – за дичью, птицей, во второй половине дня наблюдал за работниками; или «уйдет, бывало, вон на те курганы и сидит там день-деньской. Сидит да на степь глядит. И чего, себе думаю, сидит он там?». Курганов здесь тьма; в Минусинском музее показывают могильные плиты, каменные бабы и разного рода железные предметы – наконечники стрел и копий, стремена.

В мемуарах НК – воспринявшая переезд в Сибирь с некоторой флегматичностью, без особого энтузиазма («Шушенка деревня как деревня», жует она губами; «если бы мне предложили сейчас выбрать, где лето провести – под Москвой или в Шуше, я бы, конечно, выбрала первое»), но и без излишнего драматизма – сочла нужным подробно описать экономику пребывания своего будущего мужа в доме у Зырянова; это едва ли не самый охотно цитируемый фрагмент ее мемуаров. Мы узнаем, что на восьмирублевое пособие ссыльного (НК, правда, не упоминает, что возможность получения пособия была привязана к обязательству не состоять ни в какой официальной должности) ВИ мог получить в Шушенском с тамошней «поразительной дешевизной»: «чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья – и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват – одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест – покупали на неделю мяса, работница во дворе в корыте, где корм скоту заготавливали, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, тоже на целую неделю. Но молока и шанег было вдоволь и для Владимира Ильича, и для его собаки». Сама численность поголовья этой отары – 50, получается, баранов в год – оказывает на вульгаризаторов биографии Ленина тонизирующее воздействие. Обычно отмечается, что на всех картинах, посвященных Шушенскому и экспонируемых там (вспомнить хотя бы знаменитую жанровую сценку: «Наденька, мы теперь самые богатые!» – изможденная работой молодая пара Ульяновых разбирает присланную доброжелателями новую порцию книг), ВИ изображен чахоточным джентльменом с бородкой – нечто среднее между Феликсом Дзержинским и князем Мышкиным. Это, пожалуй, художественное преувеличение – как, впрочем, и у самого Ленина, который, подчеркивая достоинства холо-

стяжкой кухни, иронично рассказывает, что его вот-вот перестанут узнавать знакомые. «Эк вас разнесло!» – всплеснула, однако ж, руками при первой встрече после разлуки без пяти минут теща.

Появление НК, несомненно, осчастливило ВИ – и позволило ему преодолеть меланхолию из-за неизбежности здешнего уклада, в котором много грубости нравов, варварства и азиатчины, и перенести оставшиеся полтора года с легкой душой; он смог делегировать все, что касается устройства быта, жене и теще, и не искать себе товарищей для развлечения, как в первый год, когда маялся без невесты.

Переписки между ВИ и НК, в которой они обсуждают условия своего будущего брака, не сохранилось; возможно, идею можно уловить по письму, которое написал перед отправкой в Сибирь революционер Ванеев (угодивший в соседнее с Шушенским Ермаковское за то, что копировал тексты Ленина на гектографе) своей невесте Ж. В. Труховской: «Если ты нашла в себе достаточно энергии, чтобы разбить семейные цепи, гнет которых тяготел на тебе с детства, то борьба с рабством общественным не может уже устроить тебя. А это единственное требование, какое я ставлю подруге моей жизни». (Ванеев, к огорчению своих товарищей, угас в 1899-м от туберкулеза; Ленин оплакивал его.)

В соседнем доме проживал финн Оскар Энгберг – рабочий-путиловец, отправленный в Сибирь за «зуботычину» полицейскому на демонстрации. У них были ровные, приятельские отношения. Узнав, что финн учился ювелирному делу и мается в Шушенском без ремесла, ВИ попросил НК, чтобы она что-нибудь придумала – и та привезла корзину в два пуда весом, где оказались и маленькая наковальня, и набор инструментов, и ригель. Потрясенный такой любезностью, Энгберг выплавил Ульяновым – не то из медных пятак, не то из наконечников бронзовых стрел, которые находили в полях крестьяне, – обручальные кольца. Официальными свидетелями на свадьбе записаны местные крестьяне. Добрые отношения между Ульяновыми и Энгбергом сохранились на десятилетия. В 1930-е Оскар Александрович даже приедет к НК в Москву повидаться, и они будут вспоминать, как та задавала ему задачки и приучала к систематическому чтению, а он, на память, сделал своей учительнице трогательную брошку в виде медной книжки – естественно, «Капитала».

Шушенскую Петропавловскую церковь, где венчались Ульяновы, на скорую руку разрушили в 1938 году; утрата этого сакрального, с какой стороны ни посмотри, монумента несколько озадачила тогдашнее начальство; по легенде, заминкой воспользовались минусинские священнослужители, которые написали куда следует бумагу, будто Ленин венчался именно у них, – и их церковь оставили-таки в покое.

Возможно, кому-то Шушенское может показаться не самым очевидным местом для проведения медового месяца, однако ж брак Ульяновых продержался столько, сколько нужно, и хотя потрескивал в 1910-е годы, сохранился до самого конца.

Сыграв тихую свадьбу, молодые люди переехали в «дом Петровой» на другом конце деревни, рядом с Шушью, – с двумя чудно выглядящими перед фасадом крестьянской избы колоннами: роковой намек на Горки. Теперь здесь стоит подлинная ленинская конторка, светится по вечерам зеленая лампа – та самая, подарок «невесты». Рядом с двумя кроватями буквой «Г» (гид охотно объясняет, почему две: «они ж дворяне – а тогда многие вообще спали в разных комнатах»; и ссылается на Надежду Константиновну, которая в 30-х годах «так нарисовала схему») висят ленинское (ну или почти ленинское – из той же серии, разница всего в 83 номера) ружье и коньки. Каток ВИ выгораживал и расчищал себе сам; затем инвентарь использовался не по прямому назначению: «метел, лопат навалит на лед и давай через них перескакивать». НК – которой «кресло было излажено, с креслом она и каталась» – рассказывает, что ее муж был чем-то вроде деревенской достопримечательности: на его сеансы фигурного катания собирались деревенские, кто-то пытался соревноваться с ним в беге по льду.

НК никогда не пыталась выдать себя за идеальную хранительницу домашнего очага, охотно иронизировала над тем, как она «воевала с русской печкой», и подтрунивать над ней не возбранялось даже в советское время: «Да-да, если б не твоя мамаша, мы бы давно варили суп из “Русской мысли” и закусывали бы статистическими сборниками Нижегородской губернии», – добродушно шутит над молодой женой Ленин в фильме «В начале века». Она, однако, была хорошим организатором – и нашла другую квартиру, устроила переезд, выгородила для ВИ с его книгами и конторскими счетами нечто вроде кабинета, заказала мебель, наняла девушку в прислугу – 16-летнюю Прасковью Мезину. Ушаков разыскал ее – и выяснил, что годы, проведенные в обществе Ульяновых, оказались самыми счастливыми в ее жизни. Ей платили 4 рубля в месяц, не позволили спать на полу и выделили отдельный закуток с кроватью; «прежде чем дать какую-нибудь работу, меня обыкновенно спрашивали, могу ли я это сделать, а если я говорила “нет”, меня учили, как это делать». НК выучила ее грамоте, ВИ смешил своими шутками. Когда Ульяновы уезжали куда-нибудь, ей оставляли револьвер – еще одно свидетельство того, что идиллический характер шушенского «отшельничества» не стоит переоценивать.

Сердечные – НК запомнит эту семью навечно – отношения установились с соседями по флигелю, курляндскими немцами, говорившими по-русски с комическим акцентом: «фы туда ходийт». У них всё было «ётшенн плёхо», и, замученные бедностью и непосильным трудом, они не могли уделять много внимания своему четырехлетнему сыну, который целые дни проводил у Ульяновых. Однажды, вернувшись из Минусинска, ВИ объявил Мише, который играл со своей лошадкой – деревянной палочкой, что его конь убежал из конюшни, и предложил пойти поискать его, а когда мальчик возвратился ни с чем – сказал, что конь вернулся сам: вон он – сено ест. В «конюшне» стояла красивая деревянная лошадка – «настоящая».

Через год после отъезда своих благодетелей мальчик, всеобщий любимец и тоже ученик НК, умер от менингита; НК очень горевала по нему.

Вторым соседом был поляк Ян Проминский – обремененный шестью детьми шляпник, чьи произведения – НК уже тогда обладала замечательным чувством смешного – «иногда смахивали на валенки». Он много времени проводил в огороде, где выращивал махорку, которую ездил продавать на рынок.

Последнее, в чем можно было обвинить НК, – в лени: целыми днями она занималась перепиской и переводами, а еще ухаживала за участком, разбила цветник и присматривала за кухней. ВИ был не из тех мужей, которые готовы тратить время на что-либо, кроме варки яйца всмятку, и поэтому на кухне верховодила теща – славная женщина, выпускница Института благородных девиц, которая отважно поехала в Сибирь за дочерью – и, кажется, была очень довольна своим зятем и как главой семьи, и как партнером по играм в карты.

«Жизнь Владимира Ильича в Шушенском во вторую половину его ссылки, – пишет Герман Ушаков, – это жизнь обстоятельного деревенского семьянина, жизнь большой, дружной, согласной семьи со всеми обычными для деревенского интеллигента тех дней утехами: с охотой, прогулками, с катанием на лодке. Для Владимира Ильича это была пора напряженного труда, но труда регулярного, отлично организованного в рамке устроенной деревенской жизни, при сотрудничестве и помощи любимого человека».

В пожилом возрасте НК сделалась очень разборчива по части жизнеописаний ВИ, и ее, среди прочего, раздражали биографы, которые, описывая шушенские годы, напирали на то, что Ульяновы-де целыми днями сидели за столом, отрываясь от чернильницы только на общение с почтальоном. Однажды ей даже пришлось напомнить: «Ведь мы молодые тогда были, только что поженились, крепко любили друг друга, первое время для нас ничего не существовало. А он – “все только Веббов переводили”»; «Мы ведь молодожены были... То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти». Меж тем «пресная» компонента, несомненно, занимала в их жизни значи-

тельное место – судя по тому титаническому переводческому труду, который они проделали. «Теория и практика английского тред-юнионизма» Сиднея и Беатрис Вебб – видимо, окончательно уверивших ВИ в том, что рабочие сами не в состоянии выработать политическое сознание, только экономическое (повысьте мне зарплату, и я закрою глаза на то, что вы грабите колонии) – сложная, насыщенная специальной терминологией книга по социологии и экономике, очень толстая; чтобы перевести ее, нужно иметь перед собой множество словарей и терминологических справочников. Ульяновы умудрились в Шушенском перевести первый том целиком сами и отредактировать перевод второго; мало охотников найдется читать сейчас этот труд целиком, но если по крайней мере просмотреть его, то перевод кажется весьма приличным. Как они это сделали – имея об английском языке достаточно смутное представление? НК даже не знала правила произношения английских слов, полагая, что они подчиняются тем же, что французские; ВИ пришлось разочаровать ее. Однако и он, похоже, не был в те времена знатоком предмета. «Владимир Ильич слышал, как учительница английского языка учила его сестру Ольгу читать вслух по-английски. Впрочем, Ильич по части произношения тоже был не очень тверд», – разводила руками НК. «Вот нам с Володей с языками беда, оба плоховато их знаем, возмемся с ними, возмемся, а все знаем плохо. Опять принялись за английский. Который это уже раз!» Видимо, им в значительной степени помог перевод на немецкий – который оба знали гораздо лучше и с которым сверяли свой перевод с оригинала. Веббы, узнав после революции, кто был их переводчиками, очень гордились этим обстоятельством; в 1930-е через посла Майского они передали НК еще один свой двухтомный труд – «Soviet Communism».

В Шушенском на протяжении почти трех лет у ВИ была собака: сеттер Дженни или, по НК, «Женька». Охотничьи амбиции Ленина никогда не простирались дальше мелких животных: никаких медведей, только тетерева, куропатки и зайцы, которых «били» по осени на островах Енисея – иногда прямо прикладом, не тратя пуль; там «их масса, так что нам они быстро надоели»; тушки обрабатывала Прасковья и отдавала их затем Проминскому, а тот тачал из них шапки.

Сангвинический темперамент ВИ ободряюще действовал на его клиенту: не только жена, но и Прасковья, и ссыльный финн запомнили его как человека очень жизнерадостного и смешливого. Ушаков записал историю о том, как ВИ, добыв на охоте тетерева, закрепил его на березе, чтобы к нему слетелись другие. Неожиданно из-за кустов показался Оскар Александрович – который тоже прогуливался с ружьем; заметив птицу, он выстрелил. Тетерев остался на месте – не вызвав подозрений: известно, что эти птицы могут не реагировать на промах. Энгберг выстрелил еще раз, и еще, и еще: «Раза четыре, говорили, стрелял – пока перья из косача не посыпались. Что такое, думает, что за притча такая. Подходит к косачу, а тут Владимир Ильич под кустом лежит, за живот от смеху держится. С охоты пришли – гром идет по комнатам от смеху. И сколь они потом этого косача поминали. – Ну-ка, – говорит, – Оскар Александрович, расскажи, как на тетеревов охотился...»

Оскар Александрович квартировал в доме относительно зажиточного (у него было четыре лошади и три пашни) крестьянина по имени Иван Осипатович Ермолаев, который плотно укоренился в околolenинском фольклоре как «Сосипатыч» – «щуплый, проворный, в треухе, худеньком зипунишке, с ружьем через плечо», заставлявший жену печь особые «политические» калачи: «Говорю, бывало, жене-то своей: – Ты напеки-ка “политических” калачей, мы с ВИ на охоту пойдем».

ВИ много охотился в его обществе, и, похоже, они были симпатичны друг другу. Ушаков говорит, что он стал для Ленина кем-то вроде Арины Родионовны для Пушкина – типичным представителем русского середняцкого крестьянства; и эта взаимная симпатия свидетельствует о том, что между Лениным и крестьянством не было того антагонизма, который легко выводится из его действий в 1918–1920 годах, когда Ленин пытался устроить в деревне гражданскую войну и лишал крестьянина еды и семян уже необязательной в 1920 году продразверст-

кой. Ушаков настаивает, что именно Шушенское дало Ленину хорошее знание крестьянства – и что «крупницы чего-то ермолаевского, конечно, увез с собой из Шушенского будущий организатор Октября».

Иван Осипатович говорил Ушакову, что ВИ был «легкий на ногу».

Шушенское – плоское, как Амстердам, и если соберетесь туда, берите с собой велосипед. Пешеходам, оказавшимся за пределами поселка, чтобы понять, где тут что, приходится действовать методом проб и ошибок: инфраструктуры для прогулок – круговых маршрутов, системы указателей, обозначенных тропинок – нет; вы просто перемещаетесь из левитановского пейзажа в саврасовский, потом в шишкинский; не обязательно именно в этой последовательности. Вдоль берегов Енисея и его притоков простираются джунгли не джунгли – но густые (заблудишься и не заметишь) сосновые боры. ВИ, перечисляя шушенские достопримечательности, объявляет расположенный в полутора верстах от деревни «бор» «преплюхоньким, сильно повырубленным лесишком, в котором нет даже настоящей тени (зато много клубники!) и который не имеет ничего общего с Сибирской тайгой, о которой я пока только слышал, но не бывал в ней (она отсюда не менее 30–40 верст). Горы... на счет этих гор я выразился очень неточно, ибо горы отсюда лежат верстах в 50, так что на них можно только глядеть, когда облака не закрывают их... точь в точь как из Женевы можно глядеть на Монблан... Поэтому на твой вопрос: “На какие я горы взбирался” – могу ответить лишь: на песчаные холмики, которые есть в так называемом “бору” – вообще здесь песку достаточно». Недурной ориентир для прогулки представляет расположенный в нескольких километрах от зыряновской избы, у озера Перово, ленинский шалаш: центральный объект в огороженной зоне, напоминающей языческое капище. Шалаш не такой, как в Разливе, и похож на землянку-блиндаж – с настилом из бревен. «Здесь, – гласит надпись, – во время охоты любил отдыхать В. И. Ленин». «Здесь» вместо «в нем» – потому, что, разумеется, не оригинал: «восстановлен по описаниям крестьян». Отсюда можно уйти к самым отдаленным участкам «Саянского кольца» – гигантского региона, в котором обнаруживаются следы жизнедеятельности представителей всех общественных формаций: хакасская Долина царей, Салбыкский курган с менгирами и петроглифами, заповедник «Казановка» с наскальными рисунками; а если направиться на юг, то там недалеко и Тува, Кызыл – географический центр Азии, место, где сливаются Большой и Малый Енисей, гора Хайракан...

У краеведов есть сведения, будто бы в 1897-м Ленин ходил с Мартяновым – минусинским просветителем, организатором музея, энтузиастом науки и любителем бродить по местным глухomanиям – на Саяны, и они поднимались на одну из пяти вершин хребта Борус. Якобы об этом походе написано в отчете Мартянова; Ленин там прямо не упоминается, просто некий «экскурсант». Со склонностью ВИ при любой возможности участвовать в горных походах, вероятность того, что «экскурсант» – именно он, можно оценить как очень высокую. «На этих днях, – писал Ленин, – здесь была сильнейшая “погода”, как говорят сибиряки, называя “погодой” ветер, дующий из-за Енисея, с запада, холодный и сильный, как вихрь. Весной всегда бывают здесь вихри, ломающие заборы, крыши и пр. Я был на охоте и ходил в эти дни по бору, – так при мне вихрь ломал громаднейшие березы и сосны». Тот, кто окажется около Саяно-Шушенской ГЭС, может перейти через Енисей по автомобильному мостику чуть ниже плотины – чтобы оказаться в Горном лесничестве Саяно-Шушенского заповедника и самолично убедиться в том, что хотя Саяны невысоки, однако гора, заросшая тайгой, – довольно существенное препятствие для путешественника. Десятикилометровая тропа «Экоборус» сдержанно квалифицируется в путеводителях как маршрут «средней категории сложности». Средней, да: вверх, вверх, вверх – час, другой, третий, по узкой, заросшей корнями стежке; двухкилометровые перепады рельефа здесь совсем не редкость. Некоторое однообразие пейзажей – 500-летние кедры, 400-летние кедры – компенсируется вкопанными там и сям уведомительными табличками: «Место обитания медведя. Уважаемые посетители! Во

избежание встречи с медведем не оставляйте остатки пищи. Не рискуйте своей жизнью!» Идея оставлять кому-либо нечто съестное кажется в этой пустыне смехотворной. Обычная цель здешних походов – Венеция, небольшое озеро ледникового происхождения; оно расположено как бы в центре-воронке каменного цирка, между Малым Борусом и пиком Кошурникова. Довольно высоко – поэтому растительности вокруг уже нет, даже и средний пояс темнохвойной тайги здесь заканчивается – остаются одни камни-валуны. На них хорошо думается – и если вы размышляете, что делать с партией, которая только что устроила первый свой съезд, но не смогла ни принять общую программу, ни воспрепятствовать аресту всех его участников – то, возможно, вам в голову придут свежие идеи.

Непохоже, что ВИ переживал из-за того, что оказался в Шушенском один, без своей питерской социал-демократической компании. «Нет, уже лучше не желай мне товарищей в Шушу из интеллигентов!» – ворчит он; про опасность чрезмерно близких отношений с людьми, которые оказались товарищами по изоляции и бездействию, ему было известно. В этой среде нередко разражались настоящие психические эпидемии – когда люди, попавшие в ссылку по общему обвинению, начинали подозревать друг друга, искали провокаторов, травили жертв по самым нелепым поводам, обвиняли в нарушениях «ссылочной этики», устраивали «товарищеские суды» – на одном таком, где бывшие народовольцы в чем-то обвинили Кржижановского и Старкова, ВИ даже исполнил роль адвоката – и, судя по отзывам, хорошо справился, не дав товарищей в обиду ссылочной «аристократии». Зырянов рассказывает, что однажды его постоялец помогал в устройстве чьего-то побега из Минусинска.

С чьим-то другим делом – какого-то человека, который обменивался с ВИ письмами и неаккуратно держал в доме запрещенные издания, – связан хрестоматийный эпизод с обыском: его обожали пересказывать экскурсоводы и рисовать в виде жанровой сценки художники. ВИ, великий психолог, не растерявшись, любезно подставил царским тонтон-макутам табуретку – чтобы те закопались в складированных на верхних полках книжного шкафа скучных статистических ведомостях, а до низа – где хранились едва ли не секреты производства атомного оружия – не доехали: умаялись. Есть, впрочем, и другая версия, изложенная в книге «В борьбе за социализм»: согласно ей, запрещенная литература хранилось не просто на этажерке с книгами, а «в горшке из-под молока, заткнутом тряпкой», – который, да, стоял среди книг; сметливая теща, Елизавета Васильевна, вошла в комнату, на голубом глазу забрала горшок и, «разведя огонь на кухне» – под аплодисменты изумленных свидетелей: жандармского подполковника Николаева – помощника начальника Енисейского губернского жандармского управления по Минусинскому и Ачинскому округу и товарища прокурора Никитина – «немедленно сожгла все содержимое горшка». Как бы то ни было – хорошо, что ничего у Ульяновых не нашли, потому что если бы встреча закончилась в пользу жандармов, то ссылку бы продлили лет на пять – и перевели бы молодую семью из Шушенского в Туруханск; можно не сомневаться, что ВИ попытался бы сбежать через Дальний Восток в Америку – терять особо нечего; тогда многие так делали.

Несколько проще, конечно, ему было со «своими». Он никогда не прерывал общение с Кржижановскими, Старковым, Ленгником, Лепешинскими, Ваневым. Время от времени они собирались компаниями – то в Минусинском, то в Ермакове, то в Тесинском, последний Новый год – в Шушенском, отмечали праздники. Приятели устраивали пикники, пели, болтали о философии, «гигантили» на коньках, играли в шахматы, боролись (деликатный Кржижановский припоминает, что «по утрам Владимир Ильич обыкновенно чувствовал необычайный прилив жизненных сил и энергии, весьма не прочь был побороться и повозиться, по какой причине и мне приходилось неоднократно вступать с ним в некоторое единоборство, пока он не уймется, при самом активном сопротивлении с моей стороны»; по этому отрывку и не скажешь, что его написал тот же человек, что так энергично перевел на русский «Вихри враждебные веют над нами» – «Варшавянку»), а в промежутках писали друг другу письма молоком и

охотились за новостями из большого мира; они знали, конечно, про катастрофу с I съездом РСДРП.

Статус ссыльного, среди прочего, подразумевал почти полный запрет на несанкционированные перемещения. Однажды Ленин с Кржижановским добились от исправника разрешения посетить село Тесинское под предлогом исследований «интересной в геологическом отношении горы» – НК уверяет, что ВИ – «в шутку» – попросил отпустить для участия в научных изысканиях не только его, «но в помощь ему и жену». Апофеозом совместной политической деятельности стало подписание протестного письма – после того, как в руки ВИ попал некий документ, в котором излагались идеи «экономистов» – социал-демократов, возмнивших, что теперь, после разгрома радикального крыла «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», они могут монополизировать марксизм в столицах и их единственная задача – «просто» помогать рабочим бороться за их повседневные требования – тогда как более глубокая «революционизация» произойдет «сама по себе». Коллективное письмо в риторике *contra* было хорошим способом напомнить о себе – и ВИ из всех сил принялся вопить: «Волки! Волки!»; оппортунисты были прокляты в самых решительных выражениях, и стратегия сработала: письмо минусинской общины дошло даже до Европы и самого Плеханова.

Главным продуктом шушенского трехлетия, благодаря которому Ленин занял непоколебимую позицию в самом первом ряду русских марксистов, стала его книга про капитализм.

Третий том собрания сочинений Ленина очень увесистый; в нем 800 страниц – и 600 из них занимает один текст: «Развитие капитализма в России». Это настоящий айнтопф – очень плотно набитый цифрами, цитатами, чеканными формулировками и высказываниями резкого характера. Видно, что каждая страница обошлась автору в неделю работы. Из Сибири Ленин заставлял сестер охотиться на те или иные издания, которые представлялись ему абсолютно необходимыми: брошюры, журналы, монографии заказывались на складах, скупались у букинистов, иногда даже брались в столичных библиотеках – чтобы бандеролью переслать в Шушенское и затем вернуть обратно. Купили – не купили, послали – не послали, дошло – не дошло и когда все-таки дойдет; что там с «Русским богатством», почему не едет «Agrarfrage» Каутского; в переписке ВИ безжалостно эксплуатирует своих родственников. В это трудно сейчас поверить, но, похоже, автор прочел *всю* литературу по экономике, которая на тот момент была доступна в России; собственно, «последний человек, который прочел всё» – вообще всё – был Кольридж, пусть не современник, но сосед Ленина по XIX веку.

Относительно «Развития капитализма в России» бытует мнение, будто это чемпион-супертяж, соперничающий по части скучности лишь с «Материализмом и эмпириокритицизмом»; само-де существование этой книги является курьезом, если о чем и свидетельствующим, то о высокой культуре книгоиздания в стране, которая может позволить себе выпускать такого рода произведения массовым тиражом. Действительно, наружные признаки «Развития капитализма» провоцируют на поверхностное – по диагонали – чтение: много таблиц, сплошные цифры, выписки из статистических сборников; структура отхожих промыслов в Калужской губернии за 1896 год, функционирование кустарной промышленности в Костромской за 1895-й. Идея и метод понятны еще до того, как начинаешь зевать, – таблица позволяет выделить данные о быстром росте безлошадных хозяйств, отсюда делается вывод о растущей эксплуатации крестьянства. Данные по заводам, которые гонят из картофеля самогон, инициируют запуск серии размышлений о механизме процесса трансформации кустарей в фабрикантов и перемещения капитала из торговли в промышленность. Стремление Ленина продемонстрировать изменения, происходящие по всей линии фронта, – где капитализм теснит феодальный уклад, превращает его книгу в удивительный фестиваль существительных, обозначающих представителей тех или иных профессий: среди персонажей «Развития» фигурируют башмачники, валяльщики, зеркальщики, рамочники, щеточники, скорняки, кожевники, сусальщики, шляпники, рогожники, шпильники, сновальщики, ложкари, сундучники,

ковали, лезевщики, черенщики, закальщики, личельщики, отделяльщики, направляльщики, клейменщики, загибальщики, рубачи, пенюгальщики... Со всеми – Ленин не устает щелкать костяшками на счетах: зарплата такая-то, продолжительность рабочего дня столько-то – происходят необратимые мутации.

Да, всё прочел, всё выписал – и всё ради того, чтобы встать на табуретку и громогласно объявить: Маркс был прав, и в Россию тоже пришел капитализм, аллилуйя? Еще одна – заведомо проигрывающая конкурентную борьбу с другими экономическими шлягерами тех лет: «Русской фабрикой» Туган-Барановского, «Критическими заметками к вопросу об экономическом развитии России» Струве и «Капитализмом и земледелием» С. Булгакова – весьма специальная, непролазная, быстро устаревшая книга?

Попробуем, однако, прочесть «Развитие капитализма» не как книжку по статистике и даже не как труд, в котором ВИ «перевел Маркса на язык русских фактов», а как очерк – где описывается Россия, по которой тяжело, медленно, грузно едет машина, сдирающая не просто эпидермис, но вторгающаяся лезвиями глубоко в мясо, перемалывающая в фарш целые пласты общества, населенные пункты, семьи, поколения.

Это крайне неприглядное зрелище – парад социальных уродств: вот работающие по 18 часов в день дети; вот женщины-кулаки; вот целый класс «мелких пиявок», наживающихся на посредничестве между производителями и торговцами: прасолы, шибай, щетинники, маяки, иваши, булны... Пиявки или благодетели – оценочные характеристики тут малосущественны: машина едет в любом случае, нравится это кому-то или нет. И раз так, показывает Ленин, следует иметь мужество признать, что от вторжения этой машины в Россию есть и кое-какая польза: лучше так, чем медленное гниение в полусне, как раньше; интенсификация эксплуатации и резкое ухудшение условий существования, помимо всего прочего, способствует пробуждению сознательности масс и сплочению их в коллективы нового типа. Из аморфной, привыкшей существовать в порочном симбиозе с помещиками массы эксплуатируемых выделяется перспективное, готовое к борьбе за свои права, ядро – пролетариат: чтобы обнаружить его, вовсе не надо ползать по карте страны с лупой.

Капитализм – это не только одетые как статисты в экранизации «Матери» рабочие на больших фабриках; капитализм – это еще и деревенские работники, какие-нибудь кружевницы или стригущие пух стрижевщицы, которые в глаза не видели никакой фабрики и всю жизнь сидят дома, в селе Кленове Подольского уезда. Но при этом они никакие не крестьяне, а тоже пролетариат – потому что тоже продают свой труд заказчикам, кустарям-шляпникам, и работают на них как проклятые.

Да, пока отечественный пролетариат еще не совершил ничего выдающегося – осознанно завоеванием и оформлением своих прав и свобод занимается либеральная буржуазия. Однако штука в том, что «этим завоеванием она, по выражению Бисмарка, выдавала вексель на будущее своему антиподу – рабочему классу».

Главная подоплека пришествия капитализма – и в «отсталой» России тоже, показывает Ленин, – технологическая революция, изменившая не просто тип потребления, но само общественное устройство. Мир вдруг сделался осязаемо маленьким: люди перестают землю пахать где-то под Воронежем (и устраиваются на работу куда-то еще) – потому что им нет смысла конкурировать с американскими фермерами. Изменения – не в книгах, а в жизни, здесь и сейчас: вы можете теперь продавать свой продукт и свой труд в несравненно большем количестве мест – более того, вам просто приходится это делать, потому что все вокруг уже это делают; а если вы не станете, то окажетесь на обочине, на грани выживания; капитализм не любит шутить – это раз, а еще капитализму требуется, чтобы существовала постоянная армия безработных – резерв, позволяющий держать низкой заработную плату трудоустроенных и производить товары с максимальной эффективностью; ресурс, которым всегда можно заменить недовольных. Этот удивительно рациональный аддамсмитовский спрут – функционирующий

как часы и отлично пользующийся всеми своими невидимыми руками, то есть щупальцами, – вызывает у Ленина едва ли не восхищение.

Ленин азартно заглядывает под все камни, до которых может дотянуться, – и описывает устройство самых удивительных закоулков капитализма: сундучный промысел, ложкарное производство, арбузный бизнес. Ну что тут, казалось бы, может быть интересного? Однако ж выясняется, что до определенного момента арбузы в России – правильно, под Астраханью – выращивали скорее для личного потребления; промышленное производство началось лишь с конца 60-х годов – и не то чтоб расцветало: выращивали и продавали здесь же, в Поволжье. Однако в 1880-х производство вдруг скакнуло вверх в десять раз – с чего бы вдруг? А железную дорогу в столицы провели. Пошли сверхприбыли (150–200 рублей на десятину). Сначала крупные производители пытались сохранять монополию – да только куда там: производство расплзлось. Арбузы стали сажать все кто ни попадя – например, под Царицыном сажали в 1884-м 20 десятин, а в 1896-м – уже 1500; полезли вверх и цены на землю. Чем кончилась арбузная лихорадка? Чем и должна была, по Марксу: кризисом перепроизводства в 1896-м. Как выходили из кризиса? Было объявлено о проекте превратить продукт «из предмета роскоши в предмет потребления для населения» – и пошли завоевывать новые рынки с помощью все тех же железных дорог. Поразительно, все как по нотам, все сходится: Россия на наших глазах разыгрывает стандарты, описанные в «Капитале». И это значит...

Перед нами записки охотника за сокровищами, замаскированные под бухгалтерский отчет; в сущности Ленин в конце 1890-х был кем-то вроде Малькольма Гладуэлла – журналистом, обнаружившим в повседневной, всем известной жизни удивительные парадоксы – и нашедший способ относительно увлекательно рассказать о них – с цифрами в руках, на курьезных примерах (краткая история ювелирного бизнеса в Костромской губернии, колонизация Башкирии, особенности процесса производства деревянных ложек), с акцентом на странные, неочевидные – «фрикономические» – связи между вещами и явлениями.

Этим и объясняется удивительный факт, что «Развитие капитализма» стало бестселлером – в считанные месяцы было продано 2500 экземпляров – очень много для книги, наполовину состоящей из цифр и формул. Этот успех – еще одно свидетельство того, что мы неправильно – не так, как современники, – воспринимаем жанр этой книги. Не скучное пособие по статистике, совсем нет: отстраненный взгляд на привычные, общеизвестные явления; экономика здесь понимается как наука, демонстрирующая, как устроен мир на самом деле, способ разобраться, почему в повседневной жизни люди поступают так, а не иначе, каковы их мотивы – и что означает изменение их поведения для общества в целом, какой сигнал они подают.

Самое зрелищное в момент публикации и самое неинтересное сейчас – полемический пафос: книга написана в пику недалеким и нечистоплотным экономистам, которые скрывали масштаб эпидемии капитализма. Метод Ленина-экономиста состоит в том, чтобы подвергать сомнению экспертные оценки тех «специалистов по народу», которые исходят в своих представлениях о мире из морали – то есть представлений об идеальном мире.

По сути, в «Развитии капитализма» ВИ продолжает, как когда-то в симбирском доме, швыряться калошами – в тех знакомых своего отца, которые приходили покалякать о том, что, да, кое-где в России укореняется «портящий» крестьян капитализм, однако есть оазис, куда спрут точно не просочится, – крестьянская община. Ленин же – марксистская Кали, размахивающая ожерельями из своих страшных статистических выкладок, – демонстрировал: какое там «не пройдет» – уже и нет никакой общины старого образца, уже расслоилась деревня. Психологические фотороботы «мужичков», которые демонстрируют народники, более не соответствуют действительности; капитализм переделывает и образ жизни их, и головы. «Крестьянство с громадной быстротой раскалывается на незначительную по численности, но сильную по своему экономическому положению сельскую буржуазию и на сельский пролетариат». Попытки не замечать капитализм только потому, что его просто не может быть в русской

деревне, – не что иное, как научный саботаж: «Крупные хозяйства, где одновременно собирается по 500—1000 рабочих, могут смело быть приравнены к промышленным заведениям».

Кстати, изначально заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина» создавался, по-видимому, еще и как музей «Развития капитализма в России»: наглядная иллюстрация к идеям, изложенным в этой книге. Вот изба зажиточного крестьянина, вот острог, вот сельская лавка, вот – с бочонком и полуштофами – кабак, а вот изба бедняка: над люлькой подвешена жутковатая самопальная погремушка из скотского мочевого пузыря, куда засыпан сухой горох.

Капитализм уже пришел в каждую избу, расслоение состоялось – и то, что кулак и сельский пролетарий по старинке состоят в одной общине, – формальность. (Собственно, в 1917–1918 годах все расчеты Ленина подтверждаются: в Шушенском будет своя микрогражданская война.)

И действительно, судя по экспонируемым в музее Шушенского интерьерам в домах зажиточных крестьян, середняков и бедняков – разница очень существенная. Избы представителей сельской буржуазии напоминают копии помещичьих усадеб – парадные скатерти, «дизайнерские» столы-угловики, нарядные занавески; жилища же деревенских мизераблей – лубочные картинки, иллюстрирующие понятия «мрак» и «беспросветность». В нынешнем музее, конечно, это уже почти не считается – посетителям демонстрируют этнографическое шоу в жанре «как жили наши предки». Новым поколениям посетителей верования крестьян интересны более, чем «Средо» оппортунистки Кусковой, и раз так, вам не обязательно описывать приступ негодования, охвативший шушенских социал-демократов, когда они ознакомились с манифестом «экономистов», – зато вам непременно скажут, что крестьяне носили пояса как оберег, потому что верили, что параллельно нашему существует еще один мир – мир духов, и пояс как раз отграничивает и защищает явь от нави (если только оттуда не выходит кто-то посерьезнее домового или лешего – например призрак коммунизма).

Начальный этап этой будущей трансформации деревни в город как раз и описан в «Развитии капитализма в России». Общинный тип хозяйствования – на уникальности которого так настаивали народники: «соединение земледелия с промыслами» – на самом деле «обыкновенный мелкобуржуазный уклад». Динамика изменений здесь та же, что в других слоях общества: «Превращение крестьянства в сельский пролетариат создает рынок главным образом на предметы потребления, а превращение его в сельскую буржуазию создает рынок главным образом на средства производства. Иначе говоря, в низших группах “крестьянства” мы наблюдаем превращение рабочей силы в товар, в высших – превращение средств производства в капитал. Оба эти превращения и дают именно тот процесс создания внутреннего рынка, который установлен теорией по отношению к капиталистическим странам вообще».

Собственно, это и был один из главных «гладуэлловских» парадоксов, отмеченных Лениным, – то, что «вопреки теориям, господствовавшим у нас в последние полвека, русское общинное крестьянство – не антагонист капитализма, а, напротив, самая глубокая и самая прочная основа его. Самая глубокая, – потому что именно здесь, вдали от каких бы то ни было “искусственных” воздействий и несмотря на учреждения, стесняющие развитие капитализма, мы видим постоянное образование элементов капитализма внутри самой “общины”».

Капитализм, показывал Ленин, пытался убить (сельских) пролетариев – однако когда не убивал, то делал их сильнее; он был еще и очень жестокой, но все же школой жизни. Раньше «земледелие было в России господским делом, барской затеей для одних, обязанностью, тяглом, для других» – а теперь «капитализм впервые порвал с сословностью земледелия, превратил землю в товар... К пореформенной России вполне приложимо то, что было сказано полвека тому назад о Западной Европе, именно, что земледельческий капитализм “был той движущей силой, которая втянула идиллию в историческое движение”».

Обратной стороной медали было то, что пролетариат в процессе этого «втягивания» оказался в далеко не идиллическом – чудовищном – положении; если при старом укладе систе-

матическое измывательство над эксплуатируемыми было скорее исключением (случай психопатки Салтычихи), то теперь психопатична система, которая устроена таким образом, чтобы выжимать из человека все соки – именно система: ничего личного. В арсенале Ленина-публициста находятся на этот счет не только иронические замечания («У капитала есть все новейшие усовершенствования и способы не только для отделения сливок от молока, но и... отделения молока от детей крестьянской бедноты»), но и яркие примеры. «Мне встретился, – цитирует Ленин коллегу, – один из таких рабочих, работающий 6 лет у одних и те же тисков и простоявший своей голой левой ногой углубление больше, чем в полтолщины половой доски; он с горькой иронией говорил, что хозяин хочет прогнать его, когда он простоит доску насквозь». Тут Ленин нашел идеальный образ капитализма, иллюстрирующий, до какой степени тот рационален – все основано на эффективности и на добровольном договоре между хозяином и пролетарием, и до какой степени ужасен для последнего. Подобранные Лениным образы и цифры позволяют нынешнему читателю отчетливо представить картину положения пролетариата в России 1890-х: откуда он взялся, что собой представляет – и в каком чудовищном положении находится.

И вот, собственно, именно ради этого – а не ради того, чтобы увидеть, как Ленин наматывает на гусеницы народников, – и следует читать сейчас «Развитие капитализма»: чтобы уяснить, с какой стати и ради кого он, Ульянов, вообще стал всем этим заниматься, почему решил потратить свою жизнь на погоню за фантомом – при том, что происхождение и талант открывали перед ним двери, очевидно, более перспективные.

Почему? А потому что обнаружил кое-что такое, чего никто до него не замечал. Россия наполнилась фабриками, где вчерашние крестьяне работают в диких условиях – голые, при тридцатиградусной жаре, «в воздухе носится тонкая и нетонкая пыль, шерсть и всякая дрянь из нее». Потому что отношения между классами изменились, и все «человеческое» теперь выведено за рамки рабочих отношений в принципе: «опытные наниматели хорошо знают», что рабочее «поддаются» только тогда, когда съедят весь свой хлеб. «Один хозяин рассказывал, что, приехавши на базар нанимать рабочих... он стал ходить между их рядами и палкой ощупывать их котомки: у которого хлеб есть, то с теми рабочими и не разговаривает, а уходит с базара» и ждет, пока «не окажутся на базаре пустые котомки». Потому что капитализм сгоняет беднейших крестьян с земли – и они пешком, не имея средств на покупку железнодорожных билетов, «бредут за сотни и тысячи верст вдоль полотна железных дорог и берегов судоходных рек, любуясь красивыми картинами быстро летящих поездов и плавно плывущих пароходов... Путешествие продолжается дней 10–12, и ноги пешеходов от таких громадных переходов (иногда босиком по холодной весенней грязи) пухнут, покрываются мозолями и ссадинами. Около $\frac{1}{10}$ рабочих едет на дубах (большие, сколоченные из досок лодки, вмещающие 50–80 человек и набиваемые обыкновенно вплотную)... Не проходит и года без того, чтобы один, два, а то и больше переполненных дуба не пошли ко дну с их пассажирами». Из XXI века все это кажется беллетристикой, однако надо сказать, картины такого рода, увиденные вживую, производят очень сильное впечатление: автор этих строк наблюдал в йеменской пустыне группы полуголых голодных нищих из Сомали, которые нелегально, с риском для жизни, переплывают через Баб-эль-Мандебский пролив и по сорокаградусной жаре, умирая от голода, бредут в богатую Саудовскую Аравию в надежде получить там работу; кто они, как не миражные двойники тех русских крестьян? Все продолжается, капитализм никуда не делся; сейчас в химически чистом виде его редко можно встретить в России, но в 1890-х он попадался на каждом шагу; именно эту картинку проанализировал с помощью марксистского инструментария Ленин – и осознал, что обнаружил клондайк.

И поскольку в его распоряжении были не только результаты наблюдений, но и система эффективной интерпретации данных в динамике – марксистская диалектика, он не просто сочувствовал протоптавшему голой ногой пол кустарю (народники тоже искренне сочувство-

вали), но и понял, куда именно тот в конце концов провалится. *Обязательно* провалится. Книжки по статистике привели его к мысли, что финальный этап гонки в России уже начался, и позволили засечь лошадь, которая *точно* выиграет – лошадь по имени Пролетариат. Можно ли было поставить на нее свою жизнь?

Крайне неочевидная, на самом деле, ставка – ну так потому история Ульянова до сих пор и вызывает у нас восхищение: история «ботаника», который, вместо того чтобы пытаться разбогатеть, как все, совмещая приятное с полезным, – тратил все свои деньги на сборники с таблицами (столько-то коров, столько-то баранов), развил в себе способности предсказывать будущее и, воспользовавшись подмеченной слабостью своего врага (капитализм с его одержимостью эффективностью позволяет идеям распространяться с очень большой быстротой), завоевал мир.

В оригинале – пока не вмешались издатели – ленинская монография называлась менее броско: «Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности». Нынешнее Шушенское, пожалуй, тоже подошло бы Ленину-экономисту в качестве иллюстрации именно этого процесса – если он согласился бы считать туризм крупной индустрией. Рынков здесь два, и они выглядят слишком живописно, чтобы пропустить их, даже если вы не испытываете потребности в приобретении чего-либо. Здесь торгуют исключительно пенсионеры – цветами, орехами тувинских кедров и, больше всего, помидорами. Ленин знал, что ему повезло с местом ссылки – и наверняка слышал, что Минусинский уезд называют – за континентальный климат с очень теплым летом и приемлемыми зимними температурами – «сибирской Италией». «Сибирь» и «помидоры» в одном предложении кажутся насмешкой над здравым смыслом – но только не в Шушенском и окрестностях Минусинска. Когда читаешь в мемуарах Крупской перечисление того, что за годы ссылки им с матерью удалось вырастить на огорожке, кажется, что наткнулся на полный список действующих лиц «Чиполлино». Главный месяц для каждого обитателя этих мест – август, когда разворачивается выставка гигантских помидоров, и обыватели принимают участие в «томатном дефиле», а самый удачливый селекционер получает в качестве приза автомобиль. Того, кто пытается укрыться от гримас современности в храмах вечности, ожидает жестокое разочарование: в краеведческом музее Минусинска помидоры занимают гораздо больше места, чем Ленин, и даже плакаты эпохи Гражданской войны – «Красный страж не хочет крови, но стоит он наготове» – тоже воспринимаются как шарады на ту же плодоовощную тематику. Желание вырастить в Сибири помидоры – настойчивое, доходящее до obsessions, назло расхожим представлениям о климате – по-видимому, вписывается в общий местный тренд состязания с природой, постоянным спарринг-партнером. Помидоры, кстати, здесь произрастают особого сорта – совершенно не тяготеющие к форме шара, а напоминающие надувную карту России. Глядя на этот трехмерный муляж, поневоле задаешься вопросом – если эта земля в состоянии рожать колоссальные (и невероятно вкусные) плоды, почему бы ей было не напитать голову Ленина нетривиальными идеями?

«Мы склонны думать, – замечает Герман Ушаков, – что шушенские дни Ленина, ничем не замечательные извне, были днями крайне значительными для всего последующего политического творчества Ленина». Это правда; судя по той бешеной скорости, которую Ленин развивает сразу по возвращении из Шушенского, ему удалось скопить там колоссальные запасы энергии и придумать способ, как вырабатывать ее в промышленных масштабах – так, чтобы можно было пользоваться ею на протяжении многих лет.

Созерцание гротескно «коммунистического», полуторакилограммового кумачового томата укрепляет в потребности покинуть Шушенское и доехать до еще одного места, связанного с Лениным, – пусть не буквально, но символически.

«Енисей» рифмуется с «Колизей»; представьте себе широкую горную реку, посреди которой, между двумя утесами, воткнули плотиной участок римского амфитеатра: выше, мощнее, плотнее оригинального. Это и есть Саяно-Шушенская ГЭС, одно из самых грандиозных стро-

ений советского человека, стимулированного, по-видимому, азартным желанием поквитаться по историческим долгам – царь запер Ленина в Шушенском, а СССР, выстроенный одержимым идеей электрификации Лениным, запер в Саянском коридоре Енисей. Плотина врезана в скальные берега на пятнадцатиметровую глубину – и представляет собой очень высокое – в полтора раза выше пирамиды Хеопса – полукруглое сооружение. Архитектурно коллизеоподобная, стилистически Саяно-Шушенская рукотворная стена-скала отсылает все же не к Риму, а к Египту: нечто среднее между луксорским дворцом Хатшепсут в Долине Царей и нубийским Абу-Симбелом. Водоводы, по которым устремляется к турбинам вода, очертаниями напоминают не то рамзесоподобные изваяния, не то фермы космических ракет, не то контрфорсы минаретов, с которых транслируется застывший в камне азан индустриализации. Ни к Шушенскому, ни к реке Шушь плотина отношения не имеет, однако сказать, что название ГЭС привязало сооружение к Ленину искусственно, язык не поворачивается – «тот же самый дух, который строит железные дороги руками рабочих, строит философские системы в мозгу философов». И хотя не каждый вспомнит здесь эту марксовскую суру, каждому, кто приезжает сюда после зыряновского и петровского домов, непременно является в голову нехитрая метафора, что ГЭС и есть Ленин: бетонная стена, перегородившая поток истории, чтобы извлекать из этого потока столько энергии, что хватило бы на весь земной шар.

Мюнхен 1900–1902

«Искра. Эпизод 1» – классический сюжет в стиле «нуар»: герой-одиночка освобождается из тюрьмы, где досконально просчитывает головокружительную месть, – и, оказавшись в чужом городе, ведет жизнь маргинала, целиком отдаваясь своей одержимости; выбора у него нет: единственный способ обрести потерянную идентификацию – создать что-то, что потрясет мир.

* * *

«Искра» была изобретена и просчитана в идеологическом и финансовом отношении в Шушенском. Чтобы перевести потенциальную энергию марксистских литературных кружков и небольших комитетов сознательных рабочих на предприятиях в кинетическую, нужно было предложить им нечто большее, чем проект политического просвещения рабочих: «дело», инициацию, опасное и сложное испытание, которое позволит эволюционировать от клуба к политической нелегальной организации. Название газеты появилось сильно позже – и уже траченное, подзаезженное: да, строчка «Из искры возгорится пламя» принадлежит декабристу А. Одоевскому, хороший провенанс; но в 1860-е в России уже выходила «Искра» – сатирический либеральный журнал с карикатурами и пародиями, популярнее некуда; этот шлейф никогда не акцентировался, но присутствовал.

Издавать газету теоретически можно было и в России, используя накопленный опыт нелегальных СМИ, – но то была заведомо суицидальная, мотылечная деятельность: полиция рано или поздно, причем скорее рано, доберется до редакции. Двойная защита – подполье + эмиграция – казалась Ульянову более перспективной: бизнес ведется в России, деньги поступают оттуда, а за граница – что-то вроде офшора, безопасного места, откуда, пользуясь системой фальшивых документов и подставных лиц, можно не платить политический налог государству. Безопасность, разумеется, можно было гарантировать только редакции. Штука была в том, чтобы не повторить ошибку Плеханова: легализовавшись в рамках европейского социалистического движения, не «оторваться» от России; надо было не просто источать сияние – но и мутить там воду: нет партийной программы – вот вам готовая; арестовали членов парткомитета – подберем новых, не знаете, как написать листовку для недовольных рабочих, – пришлем материалы.

Чтобы понять, чем была куплена эта возможность находиться в относительно безопасной точке, имеет смысл напомнить, как Ленин провел пять месяцев 1900 года – до того, как уехал за границу. Примерно за 150 дней Ленин молниеносными марш-бросками осваивает пространство от Восточной Сибири до Западной Европы: Шушенское – Красноярск – Москва – Подольск – Нижний Новгород – Петербург – Псков – Изборск – Рига – Петербург – Подольск – Нижний Новгород – Уфа – Самара – Сызрань – Подольск – Смоленск – Уфа – Подольск – Женева. Мы обнаруживаем его – дважды – на Урале, в Прибалтике, Поволжье, Петербурге, Москве, и так – до Жeneвы. Ленинская филеасфогговская энергичность – поразительная даже по нынешним временам – вошла в резонанс с индустриальным подъемом в России: за один только 1901 год в эксплуатацию были введены 3218 километров новых железнодорожных путей, и, похоже, Ленин протестировал многие отрезки в качестве первого пассажира. Нужно было не только организовать сеть поддержки газеты, но и обеспечить ее финансирование. Козырным тузом отцов-основателей «Искры» – позволявшим им просить знакомых и незнакомых людей вложить (скорее, впрочем, пожертвовать) деньги в «окончательную рабо-

чую газету» – было «сотрудничество нескольких выдающихся представителей международной социал-демократии» – Г. В. Плеханова, П. Б. Аксельрода, В. И. Засулич.

Летом 1900-го в Пскове состоялось совещание венчурных предпринимателей – в интересной конфигурации: Ульянов, Потресов, Мартов, Струве, Стопани, Туган-Барановский. В состоянии, которое П. Лепешинскому удалось описать с помощью удачного образа «стоим, словно керосином облитые», любой объект окружающей действительности производит впечатление соблазнительно пожароопасного. У всех членов «литературной группы» было ощущение, что они и в самом деле наткнулись на клондайк: миллионная клиентура (помимо собственно рабочих, в России в 1900 году, согласно подсчетам, пусть даже и недостоверным, было около трех с половиной тысяч социал-демократов), куча потенциальных инвесторов и помощников; авторитет заработан книгами и статьями, репутация выстрадана в ссылке. У их затей был и азартный аспект: кому быстрее удастся сделать газету для рабочих – им, «Рабочему делу», «Бунду» – или легальным профсоюзам под покровительством полицейского начальника Зубатова? А может быть, вообще другой партии – эс-эр, которая тоже совершенно не собиралась терять пролетарскую аудиторию?

Предмесья Везена, Бельрив и Корсье находятся на южном берегу Женевского озера – тогда это были самостоятельные деревни, теперь, пожалуй, уже и часть Женевы; Плеханов предложил вести переговоры там из соображений безопасности: у Ленина и Потресова был слишком заговорщический вид, притягивающий внимание царских шпионов. Конспираторы добирались в предмесья из Женевы на катерке; сейчас туда проще доехать на велосипеде – наблюдая, как обычные дома уступают место паркам и ресторанам клубного типа, «с плэнэром». Свернуть с набережной не так-то просто; жители не культивируют контакты с внешним миром. Если вы найдете способ нырнуть в дыру в стене, то окажетесь в поселковой агломерации в непосредственной близости от центра Женевы: скромные коттеджи с бассейнами, частные футбольные поля, крохотные остерии... Даже переулок, называющийся *La Californie*, не выглядит здесь пародией на Америку.

Как раз в американском стиле – ноги в сапогах на стол – Плеханов и вел переговоры с молодой порослью. Прекрасно осознававший, что им требовались от него не столько руководящие указания, сколько формальное подтверждение участия и связи с иностранными аксаками социализма, он принялся выбивать для себя особые условия, давая понять, что никто не смеет смотреть ему в глаза и все обязаны исполнять любые его политические прихоти: захочет его левая нога – газета заключит союз со Струве, захочет правая – станет протаскивать в нее «экономическую ересь» (Плеханов продолжал поддерживать отношения с «русскими супругами Вебб» – Кусковой и Прокоповичем; несмотря на демонизацию этих последних ленинской группой, он как ни в чем не бывало демонстрировал им новую пару лайковых перчаток и поил их чаем у себя дома).

В тот момент, когда Плеханов услышал про идею печатать газету в Германии, из ушей и ноздрей у него повалил дым: что?!

Сейчас в Мюнхене находится редакция «Зюддойче цайтунг», оттуда можно запустить скандал с «The Panama Papers» – но в 1900-м этот город выглядел странным выбором для редакции главной подпольной российской газеты рабочей партии. Ленин угодил туда из-за Августа Бебеля – именно тот посоветовал русским этот город, не имевший – в отличие от Парижа, Женевы, Лондона или Брюсселя – репутации ни либеральной гавани, ни эмигрантского рассадника, и вообще экзотическое, в сущности, для тогдашнего русского человека место. Немцы знали, что такое подпольная газета – до 1890 года в Германии действовал закон против социалистов, и те выучились разным трюкам по части издания и распространения своей прессы. По сути, у немцев была целая индустрия – от досье на каждого работника «красной почты» до сетей мастерских, изготавливающих чемоданы с двойными стенками. Их контрразведка очень успешно боролась с провокаторами, выявляя их как среди партийцев, так

и среди подписчиков и просто читателей; Либкнехт даже заявил однажды депутатам рейхстага: «Будьте уверены, мы имеем лучшую полицию, чем вы!» Эта методичность – вкупе с данными о легальных теперь тиражах с.-д. прессы, под 400 тысяч экземпляров – еще в 1895 году вызывала у Ленина неподдельный интерес.

Идея Ленина состояла в том, что «там никто искать не станет».

Столица католической Баварии не вписывалась в известный Ленину по Петербургу или Берлину стандарт крупного индустриального города; здесь было больше студентов, чем чиновников, и больше художников, чем рабочих, – да и те на майскую демонстрацию выходили с архаическими редьками в карманах; никаких заводских труб, скорее город-сад и город-кампус, изобилующий биргартенами с каштанами. В Мюнхене было сосредоточено 27 процентов всех немецких пивоварен – так что у Ленина была масса возможностей выяснить, какое количество промилле позволяло ему вести безопасную политическую деятельность. После бешеной пятимесячной гонки по России; после страшного попадания в полицию в Петербурге – в пяти минутах от возвращения в Восточную Сибирь, на годы; после душераздирающих переговоров с Плехановым Мюнхен, пожалуй, был местом, где можно было перевести дух – держа, впрочем, ухо остро; недаром на употребителя пива, забывшего в ресторане закрыть свою кружку картонкой, здесь набрасывались гуртом – и ставили одну кружку над другой, башней, сколько успевали; провинившийся должен был оплатить их наполнение за свой счет. Урок? Ни на секунду не оставлять свою кружку открытой.

Тот же Бебель, обещая помощь – через издательницу Калмыкову и Плеханова, – потребовал, чтобы конспирация соблюдалась неукоснительно: все должны думать, что редакция и типография находятся в каком-то другом городе, а то и стране. (Через двадцать лет роли поменяются, и уже Ленин будет указывать Цеткин и Мерингу, что им следует выступить в печати против, например, Каутского.) Тогда же он воспринял этот наказ, пожалуй, даже чересчур буквально – за что в апреле 1901-го получил нагоняй от собственной жены, которая, отбыв положенный срок в ссылке, явилась в Прагу и с грицацувеской энергичностью принялась искать своего уехавшего в прошлом году супруга – не понимая, что про Прагу и чехов он писал ей, оказывается, для конспирации, а сам в это время жил в другой стране; инцидент, который при тогдашней скудости средств коммуникации мог привести и к более серьезным для брака Ульяновых последствиям.

Заседание в пригороде Женевы выглядело как типичная редколлегия журнала, в редакции которого собралось слишком много эгоцентриков, а один из них не просто отстаивал свои вкусы, амбиции и деньги на транспорт, но еще и готов был угробить затею просто из вредности. «А если я не собираюсь переезжать в Мюнхен, если не хочу?!» – срывается на крик карикатурно-буржуазный Плеханов в советском фильме «В начале века».

Когда крах переговоров стал очевидностью, потребовалось объявить об этом Аксельроду и Засулич; за последнюю Ленин с Потресовым переживали больше, чем за себя. «Я боюсь даже, – кусал себе губы Потресов, – совершенно серьезно боюсь, что она покончит с собой». С момента выстрела в петербургского градоначальника Трепова к тому времени прошло уже 22 года – но Засулич, «невысокая седенькая старушка» (Вересаев), шокировавшая знакомых неприхотливостью своего быта, носившая платья-блузки самостроек в стиле «Абу-Грейб» (мешок с вырезами для рук и головы) и выглядевшая иногда сущей бабой-ягой, не собиралась тем не менее оставаться в будущей редакции «Искры» исключительно предметом мебели; она, например, только что вернулась из многомесячной, авантюрной в ее обстоятельствах поездки инкогнито по России – и едва ли планировала лезть в петлю.

Текст «Как чуть не потухла “Искра”» был набросан Лениным в «Венском кафе» рядом с Центральным вокзалом Цюриха; Макдоналдс и Старбакс, которые заняли сейчас это место, могли бы скинуться на мраморную доску в честь того, что здесь создан самый поразительный письменный фрагмент, принадлежащий Ленину: где еще вы найдете у него фразу «До такой

степени тяжело было, что ей-богу временами мне казалось, что я расплачусь...»? По сути это нечто вроде дневниковой записи, не предназначенной для публикации: только для себя и для жены. «Когда идешь за покойником, – расплакаться всего легче именно в том случае, если начинают говорить слова сожаления, отчаяния...»

Даже и первая фраза в этом ленинском рассказе рефреном и интонацией напоминает нечто тургеневское или бунинское: «Приехал я сначала в Цюрих, приехал один и не видевшись раньше с Арсеньевым (Потресовым)». Тем драматичнее контрастируют с этой задушевностью повествователя двуличность и мелочность антагониста.

Плеханов был гуру Ульянова – и персонажем его юношеских грез; младший брат рассказывает о том, как однажды, году еще в 1895-м, они сидели на Страстном бульваре, ели простоквашу – и вдруг ВИ сказал: «Видишь того человека? У него нижняя часть лица удивительно Плеханова напоминает». Эта политическая «влюбленность», с простоквашей на усах, не останется тайной для самого Плеханова – в 1903-м, на съезде, он даже позволит себе двусмысленную шутку: «У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами; иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Тов. Акимов в этом отношении похож на Наполеона – он во что бы то ни стало хочет развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы; я не стану разводиться с Лениным и надеюсь, что и он не намерен разводиться со мной».

Развод и в самом деле мог обойтись Ленину недешево; у Плеханова была интересной не только нижняя часть лица, но и его статус; кроме того, не стоило преуменьшать те преимущества – и символические, и вполне осязаемые: деньги, связи, лояльность, – которые могли быть получены от «Освобождения труда» в процессе становления и функционирования газеты.

Для русских социал-демократов Плеханов был живым буддой, монопольным держателем марксистской истины в России, моральным авторитетом, присутствие, благословение и санкция на бренд которого гарантировали затее поддержку не желторотых студентиков с идеями, но серьезных интеллигентов, имевших представление о капитале не только по одноименному сочинению.

С другой стороны, именно в 1900 году влияние Плеханова и К^о пошло на убыль – бернштейнианство и «экономизм» выглядели для молодежи более привлекательно, чем старомодный радикальный ортодоксализм «Освобождения труда». Поэтому – и поэтому тоже – предполагалось, что на деле редактировать газету будут Ульянов, Потресов и Мартов, тогда как Плеханов, Аксельрод и Засулич получат возможность пользоваться привилегиями членов редколлегии, однако, сообразно названию своей группы, будут освобождены от труда собственно редактировать ее.

Молодость и мобильность давали Ленину преимущества: он понимал, что политическая индустрия в связи с процессами, описанными в «Развитии капитализма», трансформируется с огромной скоростью, так что следовало рискнуть – и самим стать частью этой трансформации. Плеханова, по сути, больше интересовала не партия, а собственный печатный орган: скорее толстый альманах, чем газета, – где можно печатать длинные теоретические статьи; именно поэтому, кроме «Искры», та же группа будет издавать журнал «Заря»; то было формой дани «молодых» «старикам».

Плеханову – в список достоинств которого никогда не входила толерантность к чужим мнениям – вздумалось, однако, поторговаться, причем в крайне оскорбительной для своих контрагентов форме; даже Засулич, обычно размахивавшая на этих заседаниях оливковой ветвью, осознавала, что в моменты, когда «Жорж» раздувал свой красный зоб и принимался дефлировать перед собеседниками на своих марксистских лабутенах: «Я, милостивый государь, переписывался с автором “Капитала” еще до того, как ваши папенька и маменька успели познакомиться», он выглядел слишком чудовищно, чтобы можно было договориться с ним не то что о совместном издании газеты – но даже и о том, чтобы поужинать за одним столиком. Что

касается Ленина, то он готов был признать доминирующий статус Плеханова и состоять в его группе хотя бы даже и бета-самцом; бета – но не омегой.

Второй участник переговоров, Потресов, в дальнейшем описывал переговоры с Плехановым как «нравственную баню». Вырвавшись в какой-то момент из парной на свежий воздух, отхлестанные приятели «ходили до позднего вечера из конца в конец нашей деревеньки, ночь была довольно темная, кругом ходили грозы и блистали молнии». Именно здесь, в Везена, – очень драматический момент, ничего смешного – Ленин осознает, что до идолов и в самом деле не стоит дотрагиваться – позолота остается на пальцах: «Мою “влюбленность” в Плеханова тоже как рукой сняло, и мне было обидно и горько до невероятной степени. Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, veneration, ни перед кем я не держал себя с таким “смирением” – и никогда не испытывал такого грубого “пинка”. А на деле вышло именно так, что мы получили пинок: нас припугнули, как детей, припугнули тем, что взрослые нас покинут и оставят одних, и, когда мы струсили (какой позор!), нас с невероятной бесцеремонностью отодвинули».

Потухла все же «Искра» или не потухла? Ленин с Потресовым недооценили объем плехановских легких – когда всё, казалось, было кончено, Плеханов дунул на окончательно черпный уголек – и тот вновь затлел. Участники затеи сошлись на том, что редколлегия состоит из шести человек, но у Плеханова («склизкого и ершистого»: «так просто голыми руками не возьмешь») – два голоса, то есть в случае раскола пополам он оказывается арбитром. Печататься, однако, договорились в Германии – и таким образом тотальный контроль Плеханова за текстами в газете утвержден не был. Этот базарный торг, несомненно, не только доставил Ленину нравственные страдания – но научил его, как вести переговоры, которые – даже самые провальные на вид – при известной гибкости доминирующего участника всегда могут оказаться началом будущего соглашения. О том, хорошим ли переговорщиком стал Ленин в последние годы жизни, красноречиво свидетельствует карта СССР.

«Мюнхену» предстояло стать операционной системой для одновременного выполнения нескольких задач: написать книгу-манифест; сколотить партию и организовать съезд – таким образом, чтобы место в зале заняли правильные делегаты, а неправильные остались дома или застряли в лифте.

Ульянов бросает якорь в Мюнхене 6 сентября 1900 года. Пожалуй, из всей эмиграции следующие семь месяцев – период, наиболее глубоко погруженный в туман неизвестности: «глухие витки», как это называют ракетчики. Никогда больше – разве что в квартире Фофановой – он не будет до такой степени озабочен минимизацией контактов с внешним миром: только по почте, через сеть подставных лиц, иностранцев.

Постоянная угроза – обнаружат, выдадут – вынуждает его вести «жизнь с поднятым воротником»: доктор Верховцев из «Тайны Третьей планеты». Он отращивает себе «иностраные» усы, разговаривает загадками, делает вид, что он это вовсе не он, и круг знакомств у него тоже соответствующий: мужчины, скрывающиеся под подозрительно немужскими именами (Жозефина, Матрена, Нация), женщины – под еще более подозрительными (Эмбрион, Дяденька, Зверь, Абсолют, Велосипед); все они морочат голову полиции, родственникам, соседям – и выдают себя за тех, кем не являются: болгар, глухих, психопатов.

Такого Ленина – пронизанного тайными тревогами, очень зависимого от не контролируемой им ситуации, травмированного, расколотого, почти гротескного, немного романтического авантюриста – мы обнаруживаем на протяжении его карьеры нечасто – потому что «обычно» он был скорее прагматичным, склонным к макиавеллическим практикам склочником, которому сложно симпатизировать; иногда, однако, он вдруг ставил все на одну карту – и, хочешь не хочешь, начинаешь болеть за него; так было осенью 17-го, когда он практически в одиночку уговорил партию взять власть, не дожидаясь Учредительного собрания, – и так было в 1900-м, с «Искрой».

Официально и неофициально «Искра» издавалась не то в Цюрихе, не то в Штутгарте, не то в Праге – то есть непонятно где, поэтому никакого потока посетителей – и мемуаристов, соответственно – там быть не могло. Засулич и Плеханов не оставили мемуаров, Потресов и Аксельрод время от времени цедили сквозь зубы кое-какие детали – но не любили вспоминать этот свой «роман» с Лениным. Полиция в первый год не смогла запеленговать деятельность Ленина в Мюнхене; впоследствии ей не хватило времени инфильтровать его окружение своими агентами. «Официальные» мемуары Крупской – которая пропустила первое действие и понятия не имела, где находится ее муж на протяжении более чем полугода, – едва ли не единственный источник. Деловая переписка в промышленных масштабах возникает, опять же, уже по приезде Крупской (которая умудрилась сохранить архив «Искры» – и это одни из самых увлекательных документов во всей истории русской революции). Остаются не слишком содержательные, с упором на метеорологические наблюдения, письма самого Ленина, в которых он плетет матери и сестрам всякую галиматью про Париж, пражские катки и поездки по Рейну – сам при этом находясь в совершенно другом месте и подразумевая, что письма перлюстрируются.

Немцы любезно снабдили Мейера – так теперь звали Ульянова – адресом человека, члена партии, у которого можно было снять комнату без лишних вопросов. Фамилия жильца, для пущей путаницы, почти дублировала фамилию хозяина: Риттмейер. Этот Риттмейер – «толстенный немец», если верить Крупской, – был социалистическим трактирщиком и держал на первом этаже своего дома пивную «У золотого дядюшки» – каким бы странным ни казалось это название для заведения, принадлежащего марксисту, который рекламирует его в газетах как зал для профсоюзных и партийных собраний. Время от времени поплавок дядюшки уходил под воду – и на его прикорм сплывались социал-демократы обсуждать свои вселенские проблемы – например, что в Мюнхене бедняков хоронят в братских могилах, а у богатей – свои склепы. Впрочем, среди немецких товарищей случались и более напряженные столкновения – так, «Мюнхенер пост» описывает состоявшиеся в начале октября дебаты на Любекском съезде следующим образом: «Эдуард Бернштейн был первым, кого потащили под душ и кому надлежащим образом намылили шею. Неожиданно для многих именно Бебель был тем человеком, который стал во главе притесняемых, вытащил из кармана туго сплетенную массажную щетку, которой он, поддержанный многими другими, до тех пор растирал “Эда” с ног до головы, пока партийный съезд почти единогласно не высказал свое одобрение по этому поводу».

Дом 46 по Кайзерштрассе – в районе которого на протяжении осени, зимы и половины весны зоркий наблюдатель мог заметить торчащую на поверхности трубочку ульяновского перископа – выглядит вызывающе буржуазно: псевдосредневековая башенка на углу вопиет о сытости и благополучии. Внизу, на ступеньках, – у «того самого» подъезда (между 1968 и 1970 годами над ним даже висела мемориальная доска, но с пяти попыток вандалам все же удалось разнести ее – взрывом бомбы) – выставлены, забирай даром, книги – в том числе, история истории, «Воспоминания» Хрущева на немецком; не наследство ли Риттмейера?

Гораздо любопытнее личности этого мюнхенского Бонасье был сам район, в котором было рекомендовано поселиться Ленину. Швабинг, где располагались эта и две другие квартиры Ленина, был недавно влившимся в состав Мюнхена и стремительно джентрифицирующимся предместьем, облюбованным богемой и буржуазией с меценатскими наклонностями одновременно; нечто среднее между нью-йоркским Гринвич-Виллиджем и барселонской Грасией. «Ленинская» Кайзерштрассе производит впечатление улицы, которая никогда уже не будет меняться, – настолько там всё на своем месте, причем видно, что в 1900 году большинство домов уже заняли свои позиции. Такие районы сейчас называют «хипстерскими»: в нижних этажах югендштильных домов размещаются салоны кундалини-йоги, эзотеки, «био-пиццерии» и «авторские» ювелирные студии; и даже это еще не сам потребительский рай, а лишь

чистилище: параллельно идет настоящая швабингская улица бутиков – Гогенцоллернштрассе; но на ней обитал не Ленин, а Аксельрод.

Описывая мюнхенское житье-бытье, Крупская забыла рассказать о центральной архитектурной примечательности их района – только что построенной базилике Святой Урсулы: в духе флорентийского ренессанса с огромным куполом, арочным портиком, двумя украшенными золотыми мозаиками приделами и венецианской башней-кампанилой, как на Сан-Марко. Колокол функционирует – и каждые четверть часа замерзающие на паперти иммигранты в одеялах нервно вздрагивают.

В 1900 году в Швабинге свили гнездо Генрих и Томас Манны, Рильке – а еще плеяда русских художников, привлеченных блеском мюнхенской версии «Сецессиона»: мэтр Кандинский, Явленский, Марианна Верёвкина, Игорь Грабарь, Петров-Водкин. Последний, кстати, умудрился приехать в Мюнхен из Москвы на велосипеде – к немалой, надо полагать, зависти Ленина. Крупская вспоминает, что они часто совершали долгие променады; судя по беседам Ленина с одним баварским коммунистом в 1919 году, он очень хорошо знал не только Мюнхен, но и окрестности.

У нас нет практически никаких сведений о «горизонтальных» связях Ленина этого периода – но можно предположить, что они существовали: ведь здесь, на относительно небольшом пятачке, постепенно расселился вся колония «искровцев»: Засулич, Инна Смидович, наборщик Блюменфельд, Аксельрод, Мартов, Дан с женой В. Кожевниковой. Все они в случае неотложной нужды могли сбегать за солью к своим соседям-аборигенам: Карлу Леману (писателю и врачу, который только что издал репортажную книгу о своем путешествии по «Голодающей России», а теперь ходил на почту принимать набитые нелегалышкой подушки и по четвергам устраивал для русских чаепития), Израилу Гельфанду, Юлиану Мархлевскому (который летом 1901 года предпринял эпическое путешествие по Галиции вдоль австро-прусской границы на велосипеде с целью найти лазейки для чемоданов, а в 1920-м, в ходе наступления советских войск на Польшу, чуть не стал диктатором этой страны) и Адольфу Брауну – социал-демократам, ставшим «сталкерами» русских в Мюнхене.

Споры в кафе о том, аморальна ли собственность, часто перетекали в романы; как и обитателям других эталонных, описанных Джейн Джейкобс в ее знаменитой книге «живых» районов, швабингцам нравилось жить тесной общиной, вступать в непрерывные коммуникации с соседями, наслаждаться преимуществами хаотического планирования и извлекать максимальные выгоды как из несколько обособленного расположения своего «города-для-жизни», так и от обилия спортивных учреждений и рекреационных зон. Неудивительно, что летом 1901-го Ленин и Крупская, вопреки своим обыкновениям, даже не стали уезжать из города: в шаговой доступности находилось сразу несколько зеленых оазисов – от малознакомого туристам замечательного Леопольд-парка до величественного Энглишер Гартен, Английского сада, кишевшего художниками и натурщицами (сейчас вместо тех и других – мало чем примечательные нудисты). Сам Ленин, уведомила Крупская, «никак и никогда ничего не рисовал» – однако, судя по тому, что все его три мюнхенские квартиры находились именно в Швабинге, испытывал некоторое удовлетворение от существования внутри этой насыщенной искусством атмосферы, хотя и не использовал в полной мере возможности Мюнхена как «Новых Афин».

Швабингского богемного буржуа в самом начале XX века можно было представить редактором скорее какого-нибудь художественного журнала, чем радикальной политической подпольной газеты; однако помимо артистической в этом месте происходила и политическая ферментация – и Швабинг потихоньку превращался не только в поселок художников, но и в любимый район нацистов. Эта эволюция заняла около сорока лет – и к 1930-м достигла своего апогея: Швабинг трансформировался в обитель зла, излюбленную досуговую площадку Гитлера и его окружения: здание «Völkischer Beobachter», кафе «Osteria», кофейня «Altschwabing», дом 50 по Шеллингштрассе, в котором Гитлер познакомился со своей буду-

щей женой Евой Браун, ассистенткой в фотоателье, и где затем функционировал штаб национал-социалистической партии... До сих пор над воротами висит небольшой орел, символ Третьего рейха; конспирологи со злорадством тыкают пальцем в эту птичку – вот под чьим крылом уже тогда собирався пригреться ваш Ленин!

Сейчас Швабинг явно снова набрал иммунитет – и это просто богатый район, кишачий памятниками архитектурного модерна с захватывающей ресторанной сценой. Непохоже, что кто-то тут ведет подпольную жизнь – разве что папарацци иногда подлавливали в здешних кабачках тайные переговоры Пепа Гвардиолы и Басти Швайнштайгера. Кстати, самая главная достопримечательность нынешнего Швабинга – это, конечно, «Бавария»; и чествуют ее чемпионства тоже здесь, на главном проспекте, у Триумфальной арки, на которой высечено: «Посвященная победе, разрушенная войной, взывающая к миру». «Бавария», подозрительное совпадение, была создана студентами Мюнхенского университета ровно в момент приезда Ленина, да и образовалась очень «по-ленински», в результате раскола гимнастического союза. Штаб-квартира клуба располагалась чуть ли не у Ленина в квартире; собственно, «Бавария» и сейчас в Швабинге – идите от дома Ленина в сторону дома Парвуса, продолжайте следовать вдоль Английского сада – и окажетесь у всемирно знаменитого стадиона «Альянц-Арена». Об отношении Ленина к футболу можно судить разве что по тому, что однажды, году в 1919-м, он распорядился заменить тряпичный мячик, который гоняли кремлевские дети, на кожаный.

Играл ли он, в самом деле, в футбол с университетскими студентами? Познакомился ли с кем-нибудь – в парке, или в пивной, или в опере, или на карнавале, или в поезде по дороге в Лейпциг, или на мессе в соборе Святой Урсулы? Как он встретил Рождество, Новый год? Как переносил пресловутое «одиночество в большом городе»? Жизнь Ленина в Мюнхене – это жизнь подпольного паука, который забился в щель – и ткет, ткет, ткет свою паутину. Известно, что он едва не лишился рассудка «и ужаснулся, когда открыл большой ящик», – от возмущения, когда ему по ошибке прислали ящики не с его, родными, из Шушенского, книгами – а медицинские издания какой-то Анны Федуловой; а еще, едва поселившись в Мюнхене, он поступает на языковые курсы – не немецкого, а английского языка; что, по-видимому, свидетельствует о том, что с самого начала у него был «план Б» – Лондон.

Сам Ленин не разбил ради «Искры» своей копилки – в отличие, например, от Потресова, инвестировавшего в предприятие кровную тысячу; впрочем, Мартов писал, что «у Ульянова имелся на Волге знакомый фабрикант, обещавший снабдить его тысячей или двумя рублей». По две тысячи дали издательница Калмыкова, а также Дмитрий – «Золотой клоп» (*Goldene Wanze*, злая шутка про фамилию) – Жуковский, одноклассник Потресова, и Петр – «Золотой Теленок» – Струве. Разрыв со Струве – который, по-видимому, раздражал Ленина не только как либерал, маскирующийся под марксиста, но и как умный соперник в необъявленном конкурсе на вакансию «будущего наследника Плеханова» – произойдет в декабре 1900-го, в ходе визита Струве в Мюнхен. Разрыв этот означал не только объявление войны «легальным марксистам», но и финансовый голод: имя и репутация Струве, который еще совсем недавно создал ни много ни мало программу РСДРП, также нет-нет да и конвертировались в кое-какие пожертвования. И все же Ленин идет на это – и подвергает недавнего союзника ковровым бомбардировкам: если раньше о ренегатстве Струве позволялось говорить только в узком кругу, то теперь информацию о том, что он предал пролетариат либеральной буржуазии, следовало донести до всего мира – чем и занялась «Искра». Подобная резкая перемена тона многим показалась, мягко говоря, неоправданной; Тахтарев, встретившись с Лениным, прямо спросил, осознает ли тот, что такого рода обвинения могут привести к «нежелательным последствиям». «“Какого рода?” – спросил меня Владимир Ильич. – “А что вы скажете, – ответил я ему, – если кто-нибудь из рабочих, фанатически преданных делу, увидев в Струве действительно изменника революционному делу, вдруг решится его убить?” – “Его и надо убить”, – ответил мне Владимир Ильич в раздражении». В ответ на замечание Тахтарева относительно недопусти-

мости некоторых полемических приемов против не заслуживавшего их Струве Ленин взъелся еще больше: «А что же, – ответил он мне, – по-вашему, я должен для расправы со Струве надевать замшевые рукавицы?»

В начале 1900-го Ленин, однако же, не считал замшевые перчатки ненужным аксессуаром: пусть и буржуазные, Струве и К^о оставались марксистами; власть была совсем еще азиатской, а цайтгайт – уже «европейским»; люди верили в марксизм как науку, которая формально оправдывала капитализм, признавала его объективно лучшим на сегодняшний момент строем. Эта драматическая разница привлекала лучшие силы нации, и Ленин понимал, что этот огромный ресурс человеческого материала надо быстро использовать. «Искра» как раз и была их проектом.

Впоследствии «Искра» поддерживалась из самых разных источников – от доходов одного из редакторов Павла Аксельрода, чье кефирное заведение в Цюрихе позволяло ему не только сводить концы с концами, но и отчислять кое-что на дело революции, – до Саввы Морозова, который за свои регулярные измеряемые в числах с четырьмя нулями пожертвования умолял только об одном – чтобы его обругали «как можно ядовитее и сильнее», «для отвода глаз». Связующим звеном между «Искрой» и капиталистом Морозовым был Горький, чья жена, революционно настроенная артистка МХТ М. Андреева, снабжала своих товарищей всем, чем могла (не исключено также, что ее связывали некие особые отношения и с Морозовым).

Горький, представлявший собой, по выражению Лепешинского, «счастливую комбинацию, когда в одном и том же индивидууме окажется и такой плюс, как недурно набитый бумажник, и, с другой стороны – уважительное отношение к такому архиреволюционному органу, как “Искра”», сначала претендовал на то, чтобы указывать на своих визитках титул «генеральный спонсор “Искры”». Однако перечислять каждый месяц по три тысячи рублей оказалось неподъемным даже и для него, поэтому он пообещал давать по пять – но в год. На всякий случай, чтобы оправдать снятие со счетов таких значительных сумм, Горький сочинял своим корреспондентам фантастические отчеты о кутежах в Москве – якобы стоивших ему баснословных сумм.

Нерегулярные платежи поступали из самых неожиданных источников. Например, шурин Мартова Сергей-«Подушечка»-Кранихфельд, убежденный марксист, отдал «Искре» всё полученное им наследство – десять тысяч рублей. Предприимчивые Кржижановские вышли на саратовского графа А. Д. Нессельроде – который объявил себя марксистом и, в духе английских чудаков, согласился платить по 200 рублей за доставку ему каждого номера «Искры». Кое-какие пожертвования шли и от обычных читателей: об этом можно судить по рубрике «Почтовый ящик», наполненной многозначительными сообщениями вроде: «От скифов из Волыни пять».

Тем не менее «Искра» никогда не смогла стать полностью краудфандинговым проектом.

Помимо собственно накладных расходов редакции – закупки бумаги, приобретения шрифта, набора и печати, складского хранения – нужно было обеспечивать прожиточный минимум и оплачивать расходы пресловутых «профессиональных революционеров».

Мы не знаем, как осуществлялись проводки денег и как выглядела бухгалтерия предприятия – но по разным источникам можем предположить, что деньги перевозились в Германию наличными или поступали в виде почтовых переводов на подставных лиц.

«Искра» была мифологизирована как шедевр молодого, романтически верящего в будущее единой марксистской партии Ленина, однако современный читатель, в руках которого окажутся номера ленинской газеты, едва ли сможет увлечься содержанием этого раритета слишком надолго; вопреки названию, гораздо больше, чем на пламенную листовку, «Искра» была похожа на воскресную газету – пусть даже и претендующую на задиристость. Удручающее впечатление производит уже сама верстка – три столбца, под завязку забитых слепым – без электронного микроскопа лучше не подступаться – шрифтом; не продохнуть; наследие (или копия)

немецкой «Vorwärts», у которой был позаимствован не только опыт конспирации, но и дизайн газеты.

Структура издания – в целом «искровцы» ориентировались на немецкую классику: «Новую Рейнскую газету» и «Социал-Демократа» – выглядит примерно так: передовица, рассчитанная как на сознательных партийцев, так и на массовую публику. Протестные хроники и фельетоны объясняли рабочим суть «зубатовщины»; отчеты о партийной жизни – что происходит в комитетах; заграничные хроники социалистического движения должны были дать русским марксистам образцы поведения. Время от времени, для разнообразия, «Искра» печатала и иллюстрированные приложения – с политическими карикатурами на царя и камарилью; они пользовались большей популярностью, чем тексты. Уже по набору форматов ясно, что целевая аудитория «Искры» – не столько рабочие, сколько партийцы-агитаторы, которые, пусть даже теряя драгоценное зрение, в духовном смысле растут с газетой, особенно чутко прислушиваясь к шумам из-за границы; газета помогает им растолковать менее сознательным товарищам, почему, к примеру, растет безработица – но, одновременно, диалектически, растет и сила пролетариата. Да потому что в Европе – финансовый кризис, Англия и Германия точат зубы друг на друга, отсюда дороговизна займов, нет кредитов, а значит, сокращается производство – и вот, пожалуйста, в России безработица; кризисная для рабочих ситуация – в которой, однако ж, как раз и способно оформиться и вырасти пролетарское сознание.

Роль Ленина, да и Мартова с Потресовым в газете не афишировалась.

В извещении о выходе первого номера «Искры» о ее инициаторах не упоминалось вообще – лишь то, что некие доброжелатели (то есть некие неназванные издатели газеты) собираются проводить линию подлинного марксизма – в надежде возобновить прерванную после I съезда деятельность партии.

Многое свидетельствует в пользу того, что Ленин был и главным редактором, и оформителем, и корректором, и основным автором первого номера; да и в дальнейшем именно он подбирал и заказывал материалы, причисывал стиль, взвешивал факты на весах правдоподобия, передавал рукописи в типографию, следил за набором и печатью. В один номер «Искры» влезало 80 страниц текста – 150 тысяч, плюс-минус, типографских знаков: не так уж много, однако более чем достаточно – если вы редактируете всё это в одиночку, если у вас нет настольной издательской системы – и если одновременно вы бегаєте от полиции, подсчитываете убытки и барыши и пописываете в свободное время книги, брошюры и статьи. Есть очень большие основания полагать, что так, как в первый год «Искры», Ленину приходилось пахать только после октября 1917-го. И весьма вероятно, что, скрежеща зубами, он иногда подбадривал себя – к примеру, в феврале 1918-го: справился с «Искрой», справлюсь и с этим.

Если обойти – на это хватит часа-полутора – все три мюнхенских «ленинских» дома – у кого угодно возникнет вопрос: с какой, собственно, стати он с появлением жены моментально съезжает из прекрасного – *Wie ist das Leben doch so schön, Wie schmeckt das Bier so schön!* – дома на Кайзерштрассе – чтобы сначала промариноваться месяц-полтора в неказистой квартире на Шляйхсхаймерштрассе, а затем вернуться на соседнюю с Кайзерштрассе Зигфридштрассе, которая, однако ж, Кайзерштрассе явно в подметки не годится? Немецкий биограф Ленина Хитцер связывает это с тем, что Ульянову нужно было «перестать» быть Мейером и «переродиться» в болгарина Иорданова. Весной 1901 года болгарские партнеры достали Ульянову паспорт на имя доктора юридических наук Иордана Иорданова – большая удача, ведь теперь можно было передвигаться по Германии и не юркать в первую же подворотню при встрече с полицейскими; лысоватому человеку «калмыцкой наружности» пришлось отпустить предположительно «болгарские» усы – и, как бы странно он при этом ни выглядел, по-видимому, они шли ему; во всяком случае, у него получалось долгое время выдавать себя за человека 1878 года рождения, то есть на восемь лет младше.

Эта метаморфоза, предполагает Хитцер, и заставила его исчезнуть из района на некоторое время; но правда ли, что за полтора месяца можно подзабыть кого-то? Есть, впрочем, и вторая версия: «Мейер», в духе сюжетов лимериков, поссорился с Риттмейером – у которого в этот момент возникли проблемы с бизнесом и личной жизнью: в июне 1901-го он развелся с женой: не самый обычный поступок для того времени. У Риттмейера, кстати, был сын, Фриц, который позже вспоминал, что однажды схлопотал от отца подзатыльник, когда в присутствии посторонних спросил у него о «дяде Мейере». Домашнее насилие? Темна вода во облацех.

«Света, побольше света!» – писал Ленин в «Искре». «Нам нужен громадный концерт; нам нужно выработать себе опыт, чтобы правильно распределить в нем роли, чтобы одному дать сентиментальную скрипку, другому свирепый контрабас, третьему вручить дирижерскую палочку». Как и всем «обычным» редакторам, Ленину приходилось придумывать темы, находить информповоды, собирать новости, сочинять подводки, редактировать большие тексты, организовывать сдачу в печать... Только вот целевая аудитория этих текстов физически находилась в другой стране – куда нужно было доставлять не раз-два, а регулярно тысячи экземпляров газеты – тяжелых и вызывавших пристальный интерес у органов внутренних дел. Доставка каждого экземпляра к адресатам была сопряжена почти со смертельной опасностью – поэтому 200 рублей, которые саратовский граф-чудак платил за доставку каждого номера, были, в сущности, справедливой ценой.

Разумеется, приступая к руководству нелегальной коммерческой структурой, Ленин мало что знал о том, как арендовать в приграничных российских городах складские помещения, договариваться с контрабандистами о переправке грузов. Налаживание логистических связей людьми, не имеющими навыков в международной торговле, и в стране с не самым лучшим на свете транспортом в эпоху, когда не существовало ни самолетов, ни автомобильных фур, было объективно каторжным трудом. Ему нужны были партнеры, причем много, и за пределами редакции: те, кто могли доставлять газету в Россию в больших количествах, быстро и регулярно (и не только газету, но и прочую «литературу»: обычно в партии было пять – семь тюков – около пяти тысяч экземпляров «нелегалыщины»: номера «Искры», журнал «Заря», брошюра Ленина или книжка Крупской «Женщина-работница»); нужны были не чемоданы, а целые транспортные каналы. Позже «Искра», можно сказать, запатентовала такой способ нелегальной переправки газеты, как пересылка матриц – с которых потом перепечатывалась в подпольной типографии – Бакинской или Кишиневской.

Как ни странно, проще всего оказалось рекрутировать людей, готовых рисковать свободой и даже жизнью, не говоря уже о затратах времени, денег и сил – ради того, чтобы помочь рабочим самоорганизоваться. Костяк «искровцев» составили, во-первых, сибирские ссыльные, знакомые по петербургскому «Союзу борьбы» и Шушенскому, во-вторых, товарищи Потресова по ссылке в Вятку – куда попали Дан, Бауман, Инна Смидович, Вера Кожевникова, Воронский, Конкордия Захарова и др. К 1900 году все эти люди либо сбежали оттуда – как Бауман или Смидович, либо постепенно начинали легально возвращаться в центральные губернии; и все они били копытом в ожидании Настоящей Большой Работы; сочинительство листовок для рабочих казалось им уже не таким интересным – да и рабочие к тому времени требовали чего-то посерьезнее: настоящей прессы, газеты.

Ленину оставалось только воспользоваться энергией этих людей – и взамен создавать для них среду инновационного «первичного бульона», в котором интеллигенты чувствовали себя полезными, а представители сознательного пролетариата «доваривались» бы до интеллигентного состояния; удачным примером такого рода гастрономической эволюции оказался И. Бабушкин. Крупская, обычно деловитая и разве что позволяющая себе криптоироническое ворчание, проговаривается, что Мюнхен был лучшим периодом за всю эмиграцию – еще и потому, что – пока не переругались.

Первый, за декабрь 1900-го, номер «Искры» вышел в Лейпциге; для него была сочинена Лениным передовая – «Насущные задачи нашего движения»: «Надо готовить людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь, надо готовить организацию». Столь строгий распорядок дня – не сказать режим – связан с тем, что «перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного». Замечательно; только вот Ленин не предполагал, когда писал этот текст и мотался затем в Лейпциг, чтобы проследить за его печатью, что первый номер его газеты почти целиком застрянет на границе неприятельской крепости.

Газета «Искра» не была бесплатной; представление о расценках можно получить из письма Крупской Красикову в июне 1901-го: «Нам необходимо, чтобы окупалась перевозка, которая стоит очень дорого, поэтому даром давать литературу мы не можем, берите по 25–40 коп. за экз. “Искры” и от полутора до пяти рублей за экз. “Зари”». От агентов требовались отчеты – например, «распространили литературы на 1900 рублей». Бесплатными были только листовки. Местные российские социал-демократические организации выкупали часть тиража (правда, не всегда оплачивали свои приобретения).

Из переписки редакции «Искры» можно понять, что даже после того, как Крупская взяла дела в свои руки, неразбериха с деньгами, инвесторами и распространителями продолжалась. Нелегальные агенты то и дело попадали в самые фантастические переделки, возможно, потому, что за ними гонялась вся полиция Российской империи. Сеть работала в теории гораздо лучше, чем на практике. Ульянов щелкал на своих деревянных счетах круглые сутки – но даже он в точности не мог сказать, сколько экземпляров доходит до России, сколько удастся собрать выручки, каковы на самом деле накладные расходы агентов. Расход только на содержание редакции и типографии, включая бумагу, составлял около 1500 марок в месяц. Летом 1901 года ежемесячный тираж «Искры» колебался между 6 и 8 тысячами экземпляров, «Зари» – которая выходила три-четыре раза в год – 3 тысячи.

Вообще, 1901 год – а это 13 номеров, четверть из тех, что были сделаны самим Лениным, пока Плеханов с Мартовым не «отжали» у него газету, – был с точки зрения распространения провальным. Эффективность партийной работы измерялась в чемоданах; в докладе «Искры» II съезду РСДРП указано, что с декабря 1900-го по февраль 1902 года редакция отправила в Россию около 60 штук; да, у каждого была своя, в питер-гринуэевском духе, история, но статистика все же не ахти – 60 почти за полтора года. Агенты хитрили, импровизировали, пытались не просто проскочить через границу с чемоданом-другим – но запустить ленту конвейера, как в аэропорту; тщетно. О характере проблем – и уровне координированности – можно судить по письмам Николая-«Грача» Баумана в редакцию: натываясь то на избыток литературы, доставленной кем-то еще, то на тотальный дефицит, он бесится: «Почему вы не сообщаете мне, куда, сколько и когда направяете товар, по крайней мере в моем районе?» (за каждым агентом был закреплен свой район: Гальперин – Баку, Бабушкин – Иваново, Крохмаль – Киев, К. Захарова – Одесса и т. д.). Крупская, по-видимому, не склонна была преувеличивать значения этих сочащихся обидой посланий: «через Грача, – напоминает она одному из своих адресатов, – никаких денег не передавать».

Обычно Ленин предпочитал играть в карты, плотно прижимая их к груди, но в случае с «Искрой» он счел целесообразным почти сразу – в 4-м номере – объявить, чего добивается: «Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. В этом последнем отношении ее можно сравнить с лесами, которые строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки, облегчают сношения между

отдельными строителями, помогают им распределять работу и обобщать общие результаты, достигнутые организованным трудом.

Как комитеты должны были влиться в будущую общероссийскую партию с ЦК, совпадающим с линией «Искры», так и разъездные распространители, закалившиеся в гнусных привокзальных буфетах и нетопленных лобби кишевших насекомыми гостиниц до состояния твердокаменных революционеров, превратятся, предполагалось, в ядро партии – то самое, которое само будет в состоянии принимать единственно верные решения в момент политических кризисов, как в 1905-м и 1917-м. «Искра» выращивала не просто буянов, бунтарей, готовых по первому свисту броситься жечь заводское начальство или даже идти к Зимнему, – но сознательных агитаторов, пропагандистов, причем стремящихся организовать и готовых подчиняться приказам, исходящим от партии. Собственно, именно опыт управления «Искрой» привел Ленина к пресловутому «1-му параграфу» устава РСДРП – в котором прописано долженствование члена партии, моральная ОБЯЗАННОСТЬ. Членами партии должны быть такие люди, как агенты «Искры» – которые не просто сочувствовали и помогали, когда у них было настроение, а работали 7/24, без выходных.

В искровской организации работало – в зависимости от периода – 150–250 человек, но элитой, «суперагентами», были агенты «разъездные». Летучий агент «Искры» – не просто сочувствующий или время от времени набивающий свой саквояж газетами, но профессиональный революционер, не занимающийся ничем другим, живущий на нелегальном положении и выполняющий все задания редакции (и имеющий право рассчитывать на партийную зарплату – от 25 до 50 рублей, женщинам обычно меньше: в среднем около 30, плюс накладные расходы и разъездные: билеты, почта, взятки, гостиницы, паспорта). Это была каторжная, физически и морально изматывающая, рискованная, опасная работа. Особенно сложным шататься по незнакомым городам с тяжелой тарой было для женщин – которые чаще всего таскали что-то сугубо нелегальное под платьем – и в момент разгрузки и выгрузки товара вынуждены были оказываться в неловком положении. Вместо мечей и железных доспехов у этих членов Лиги Справедливости были чемоданы с двойным дном, зеркальца с тайными щелями для ценных бумаг и ящики для перевозки животных. Впрочем, классический атрибут агента «Искры» – шляпная коробка: такая легкомысленно-буржуазная на вид, такая вместительная – если вы носите в ней газеты⁵.

Подлинная цель «Искры» не сводилась к подстрекательству рабочих и крестьян к бунту; для этого продуктивнее было использовать другие средства агитации.

План Ленина вполне заслуживает того, чтобы назвать его дьявольски хитрым. «Искра» – вовсе не только газета; газеты – наживка, заглотив которую разбросанные по всей стране марксистские кружки, ячейки и комитеты вовлекаются в совместную деятельность. «Искра» – как Иван Калита – должна была собрать русские земли. Пишите нам, пусть это будет и ваша газета;

⁵ В советское время сделана была попытка преобразовать миф об «Искре» в оригинальную кинематографическую Вселенную. Попытка крайне робкая и неуклюжая, однако по некоторым фильмам всё же можно по крайней мере судить если не о подлинном величии агентов «Искры», то о их повседневной жизни. Выделяется картина 1967 года «Первый курьер» – где показан процесс доставки «Искры» из Варны в Одессу. Главную роль – девушки по имени Конкордия – играет Жанна Болотова, очень похожая на молодую Крупскую и даже заявленная в начале как «Иорданова» – хотя, разумеется, сама НК участвовала в нелегальной переправке газеты через Болгарию только опосредованно. Речь идет скорее о гибриде Крупской и Конкордии Захаровой. Партнер агентши – невероятно элегантный и прекрасно одетый болгарский винодел, больше времени посвящающий контрабанде нелегальной литературы, чем алкоголю. В фильме хорошо передана физическая опасность, которой подвергались агенты. Особенно выразительна сцена, где болгарин бежит по Одессе со шляпной коробкой, набитой «Искрой», не зная, куда ее пристроить. Кульминация фильма – история про безвыходную ситуацию – протагонисту надо ехать с партией газеты, но полиция предупреждена и, заведомо известно, возьмет курьера с поличным; и тогда болгарин придумывает план – взять в чемодан десяток экземпляров для отвода глаз, но настоящий большой груз везти – внимание! – в поддонах клеток с гусями. Из любопытного: предателем оказывается жених Конкордии – студент-словесник: интеллигент, конечно, не рабочий. В фильме есть сцена, где герой раздает «Искру» рабочим на каком-то заводе – раздает, будто листовку; ни о каких деньгах нет и речи – как и о реакции этих читателей на длинные аналитические статьи о разногласиях Бернштейна и Каутского. Кончается фильм намеком на то, кто стоит за всем этим: стучит на шпалах поезд Мюнхен – Варна.

распространяя газету, мы беремся рассказать о вашей деятельности другим комитетам, а затем, когда вы проникнетесь ощущением полезности и эффективности, – коготок увяз – мы предложим вам признать «Искру» своим печатным органом, а ее редакцию – чем-то вроде ЦК, органом, представляющим партию, и не просто представляющим, а имеющим право командовать. Вы должны присягнуть нам. Зачем? Чтобы соблюсти формальности, аппараты: делегировать сторонников «Искры» на Всероссийский съезд партии, который мы организуем – и на котором примут программу и устав партии, а также составят Центральный комитет; важнее всего, что делегаты для этого съезда должны иметь нужную политическую окраску – «искровскую».

Именно поэтому провалы по части распространения не были катастрофами: не менее важным, чем выполнение «технической задачи», было обеспечить работой исполнителей; в конце концов, даже и дошедшие до адресатов экземпляры «Искры» не провоцировали никаких особенных «волнений». Главной миссией «секты» было не снабдить рабочих свежей прессой, новостями и аналитикой, но обкатать в полевых условиях структуру, способную перехватывать власть во время кризиса.

Масштабы и ритм деятельности «Искры» впечатляют даже и по нынешним временам. Схемы доставочных маршрутов газеты – от Финляндии до Ирана – напоминают поле для настольной игры вроде «Ticket To Ride», построенной на маршрутизации, минимизации рисков и прогнозировании удачного стечения обстоятельств. Были развернуты несколько региональных «хабов» – в Пскове (Северо-Запад, Петербург), Самаре (Поволжье), Киеве, Кишиневе, Харькове, Саратове, Иванове; с Москвой всё никак не получалось – там рабочим движением дирижировала сама полиция. Сначала это должны были быть просто пункты приема товара, сейфы с деньгами (довольно значительными – четырехзначные числа не были для бухгалтеров «Искры» особенной редкостью), склады, переговорные комнаты для встреч агентов друг с другом и с профессиональными контрабандистами. Но со временем предполагалось развернуть на местах типографии, куда попадали бы из Европы готовые матрицы; такие удалось запустить в Кишиневе и Баку. Кроме того, связи были налажены с Нижней Волгой, Малороссией, Уралом, Прибалтикой, Кавказом, Смоленском и Вяткой.

В транспортировке в качестве добровольных помощников часто принимали участие религиозные сектанты и представители национальных окраин – финны, прибалты, кавказцы, поляки, евреи; то была – даже для обычных контрабандистов, которым платили по 100 рублей за пару чемоданов, 10 – за переправку человека, – одна из форм протестной деятельности против национальной политики русского правительства. Уже к 1903 году «Искра» была настоящей подпольной многонациональной империей – спрутом, *la piovra*; и когда Мартов десять лет спустя упрекал большевиков в том, что они превратились в каморру, он прекрасно знал, о чем говорил: «Искра» ведь тоже была историей о деятельности небольшой, высокопроизводительной, работающей в условиях вечного цейтнота команды, похожей на семью. Среди прочего, это означает, что изготовление газеты было не только надрывно-депрессивной, на разрыв аорты деятельностью – но и веселой, артельной работой, приключенческой – с шифрами и конспирацией. В том, чтобы создавать секретную организацию, определенно было нечто романтическое. Учитывая то, что на работу такого рода часто нанимались очень талантливые (и «пассионарные») люди – рано или поздно смесь неизбежно должна была «воспламениться».

Информация, печатавшаяся в «Искре», давно потеряла актуальность; синего пламени в этой газете максимум процентов 10, а остальные 90 – тоска зеленая. Однако 1900–1904 годы – эпоха, когда едва ли не каждый день с искровцами случалось бесконечное количество занимательных историй, в которых Ленин не участвовал самолично, но за которые косвенно был ответствен: от эпичных, в голливудском стиле, массовых побегов из тюрьмы до секс-скандалов. Все это требовало хоть какого-то, но участия; он, безусловно, представлял все те трудности, с которыми сталкивались его агенты. И даже при том, что вся последующая история искровцев будет наполнена склоками, расколами, предательствами, – можно ли за 17 лет разойтись

дальше друг от друга, чем Ленин и Дан? – всё равно их будет объединять наличие общего героического прошлого, когда, набивая чемоданы и шляпные коробки нелегалыщиной, они вместе сражались против более сильного врага – сражались с азартом и отчаянием людей, которые знают, что такое высшая красота. «Искра», выражаясь по-пелевински, была ленинской «золотой удачей» – моментом, когда «особый взлет свободной мысли дает возможность увидеть красоту жизни».

В РСДРП, ВКП(б) и КПСС состояло множество незаурядных личностей, участвовавших в самых разных исторических событиях, буквально делавших историю; были палачи с кровавыми руками и были мученики с нимбами; но никто и никогда не был окружен таким романтическим ореолом, как «агенты “Искры”». В большевистском героическом нарративе они превратились в аналогов рыцарей Круглого стола или супергероев из Вселенной *Marvel*: костюмированные секретные личности, обладающие сверхспособностями. Получив работу от Ленина, Бауман, Радченко, Сильвин, Бабушкин, Землячка, Конкордия Захарова, Ногин, Басовский, Литвинов, Дан и другие словно бы облучились некой энергией, которая впоследствии обеспечила им потенциально неисчерпаемый ресурс развития и мифологизации. У этой команды, состоящей исключительно из красивых, сильных, мужественных, нестигаемых персонажей, было множество замечательных офицеров, в том числе собственный гениальный технический директор, аналог бондовского Кью, – Л. Красин, однако именно автор «Что делать?» – если и не Король Артур, то кто-то вроде Гудвина, которого мало кто видел, но в чем авторитете никто не сомневается – придавал их романтическому артельному труду смысл.

Ключом к объяснению феномена существования множества людей, готовых рисковать своей жизнью, молодостью, карьерой, могла быть только атмосфера эпохи, пресловутый «цайтгайт»: эпидемия «болезни чести» (рабочие не хуже всех прочих классов, и они в состоянии доказать это; vs. «болезнь совести» у народников). Обычно агентами «Искры» становились недавно примкнувшие к социал-демократам студенты, избавившиеся от «общедемократических иллюзий» – и поверившие в то, что марксовская наука позволит им изменить общество быстрее, чем револьвер и бомба.

На сегодняшний день они практически позабыты; лучшее – и горячо рекомендуемое – исследование об «Искре» и шифровальной культуре большевиков – «Шифры и революционеры России» А. В. Синельникова – остается неизданным (только в Интернете). Советской пропаганде удалось создать миф об «Искре» – но не превратить его в национальный эпос, как это произошло с героями Гражданской войны. «Искра» была колоссальная машина, построенная по немецким чертежам и технологиям, красиво и шумно работавшая – и крайне дорогая в обслуживании; но никто не рассказывает анекдоты о Баумане и Бабушкине.

По сути, агенты «Искры» оказались отрядом обреченных – просто потому, что полиция знала и умела гораздо больше, чем предполагалось. «Царская полиция, пройдя через кровавую борьбу с народовольчеством, имела к началу XX века огромный опыт по преследованию революционеров, – констатирует А. Синельников. – Против вчерашних студентов боролись матерые жандармы, талантливые сыщики и дешифровщики». Степень успешности проекта «Искра» была, по-видимому, сильно преувеличена впоследствии – просто потому, что иначе ленинские инвективы против «кустарничества» вошли бы в странное противоречие с данными о средней продолжительности политического существования разъездного агента «Искры» – два-три месяца, если верить одному из самых успешных, С. Радченко. Единственное, что позволяло функционировать искровской машине более-менее бесперебойно, – постоянный приток свежей крови. Провалились Ногин и Андропов – пришли Сильвин, Дан, Красиков, И. Радченко; карусель продолжала вращаться.

Помимо озадачивавшей новичков обязанности совмещать деятельность шерпы, контрабандиста, бухгалтера и ектлесиаста, агенты «Искры» должны были уметь сами извлекать из походной чернильницы готовые тексты. Почти все искровцы, от Плеханова до Бабушкина,

были как минимум небесталанными литераторами – и эта способность быстро переквалифицироваться и выполнять разные задачи тоже была залогом успеха предприятия: в небольших стартапах важно, когда все, в случае аврала, готовы тушить пожар, невзирая на затраты времени и сил: наборщик Блюменфельд в свободное от основной работы время возил тираж «Искры» в Россию, Ленин подсчитывал количество знаков в строчках, Бауман посещал студенческие демонстрации и транслировал свои впечатления в публицистических отчетах. Обязанность снабжать редакцию материалами с мест лежала на агентах потому, что «обыкновенные рабочие» не так уж часто усаживались, на манер репинских запорожцев, сочинять письма в «Искру» с отчетами о ситуации на своей фабрике. Кроме того, любые «инициативные» отклики с мест имели мало шансов просочиться через султанскую канцелярию: самотек формально поощрялся, но вступал в противоречие с требованиями конспирации. Даже если вы знали – что маловероятно, – как связаться с Лениным по «делу», вы не могли написать ему обычное письмо: вас заведомо приняли бы за провокатора или идиота и отвечать бы не стали.

Письмо – разумеется, не на Зигфридштрассе, 14, а, например, на адресок в окрестностях Штутгарта, где в уютном коттедже обитала со своим скандально юным мужем еще не познакомившаяся с Лениным Клара Цеткин, – следовало зашифровать. Масштабы этой одержимости искровцев криптографией поразительны – учитывая трудоемкость такого способа переписки. В идеале, чтобы сообщить кое-что важное по почте, вы должны были сфабриковать два текста: «скелет» – нечто бытовое на иностранном языке: это «внешнее письмо»; и уже в нем содержалось письмо основное – как правило, между строк, написанное «химией» (сложносоставным, требовавшим особых умений обращаться с ним раствором, который следовало проявить особым, тайным же способом) и зашифрованное. Шифровали через некий код – о котором договаривались заранее; собственно, гонка Ленина по России 1900 года связана была в том числе как раз с переговорами относительно содержания этих кодов.

Криптограммы искровцев выглядели как строки, исписанные дробями. В этих дробях числителем был номер строки, знаменателем – номер буквы в ней; ключами – некие известные только отправителю и адресату лично тексты. Например, для переписки с И. Радченко ключом было стихотворение Лермонтова «Дума» – «Печально я гляжу на наше поколение»: и тогда вы можете записать «а» как $\frac{1}{4}$, а «о» – как $\frac{2}{3}$ («Его грядущее иль пусто, иль темно»), непременно избегая записывать одни и те же буквы одним шифром – сразу расколют при помощи логического анализа частоты букв. Ключами могла быть и проза – например, какой-нибудь рассказик Горького или «Развитие капитализма» самого Ленина: номер страницы тогда можно было понять по первой дроби – в которой сумма или производное числителя и знаменателя указывали на номер страницы, по которой дальше нужно расшифровывать. Были и ключи «по случаю», сочинение, равно как и разгадывание которых были сродни решению шахматных этюдов. О степени конспирации, принятой в переписке – причем это почтовое отправление шло из Мюнхена даже не в Россию, а в Лондон, – можно судить по письму Ленина Ногину в январе 1901 года: «Мне сообщили фамилию того петербуржца, который делал (в провинции и довольно глухой) предложение издать перевод Каутского. Боюсь доверить фамилию почте – впрочем, передам Вам ее таким образом. Напишите имя, отчество (на русский лад) и фамилию Алексея и обозначьте все 23 буквы цифрами по их порядку. Тогда фамилия этого петербуржца составит из букв: 6-й, 22-й, 11-й, 22-й (вместо нее читайте следующую по азбуке букву), 5-й, 10-й и 13-й». Ключ придуман самим Лениным. «Алексей» – это Мартов, то есть Юлий Осипович Цедербаум. Попробуйте решить эту ленинскую загадку: должно получиться (если не забудете про твердые знаки после «Осиповича» и «Цедербаума») «Сминовъ» («перед цифрой 22 В. И. Ленин опустил цифру 18, которая означает “р”», любезно сообщают комментаторы 5-го тома ПСС), то есть – дело в шляпе: Смирнов, фамилия петербуржца, который намеревался заняться переводами Каутского.

Неудивительно, что после такого рода экзерсисов у Ленина нет-нет да и возникала идея проветрить голову. А вот что удивительно – так это то, что в Мюнхене существует и функционирует, не поменяв профиль, живое «ленинское место». Оно находится на Шеллингштрассе – в Швабинге, конечно, – и это кафе-ресторан «Шеллинг-салон»: вайцен по 3.60 кружка, столы для снукера, официантки подсаживают за чужие столики – толпа. Штука в том, что «Салон» находится во владении той же семьи, которая держала его и в 1872-м, и в 1900-м – и выписывала счета не только Ленину, но еще и Брехту, Гитлеру, Стефану Георге, Кандинскому, Рильке и Ибсену; когда разговариваешь с хозяйкой, испытываешь к представительнице этой рабочей династии уважение; она любезно не делает вид, что не знает, кто такой Ленин. При кафе, трудно поверить, есть даже свой музей, и если вы зайдете днем в воскресенье, то вам покажут там пару околolenинских стендов – да-да, в Мюнхене; хотя разумеется, этот музей посещают не так часто, как Пинакотеку и Фрауэн-Кирхе. Место атмосферное во всех смыслах; однако особенно насыщенным «историей» кажется, прости господи, туалет – путешествие туда начинается на обклеенной мемориальными газетными вырезками лесенке; на площадке между пролетами установлен явно работавший еще при Ленине и напоминающий дизайном машину времени из «Госты из будущего» столбик-аппарат для взвешивания, с табличкой «сколько должен весить нормальный человек» – например, 164 см – 63,4 кг. В туалете, известно, остались *те самые*, много чего повидавшие даже не писсуары, а настоящие саркофаги: каменные – какой там фаянс, некоторые с многозначительными трещинами. Хорошо, по крайней мере, что с этих монументальных артефактов не надо сдувать пыль истории; слова «немцы» и «гигиена» всегда были такими же абсолютными синонимами, как «бегемот» и «гиппопотам».

Внушающий благоговение «Шеллинг-салон» – хорошая отправная точка для небольшой экскурсии по широко понимаемому «ленинскому Мюнхену». На улице Кардинал-Фаульхабер можно увидеть место, где в 1919-м убили Курса Эйслера, премьер-министра независимой Баварии в 1918 году: мемориальная табличка и обведенный силуэт на асфальте выглядят очень красноречиво. На Крайтмайрштрассе, 7, тоже в десяти минутах ходьбы от Шеллинг-салона, – место, где в 1959-м агент КГБ Богдан Сташинский при помощи пистолета-шприца с цианистым калием убил Степана Бандеру. В начале самой Шеллингштрассе, рядом с корпусом Мюнхенского университета и Национальной Баварской библиотекой, где целыми днями похлопывал себя по лысине – не спать! – Ленин, видна стена, испещренная следами от пуль – не 1945-го, а 1919 года, от Баварской социалистической республики. В 1900-м Мюнхен готовился к множеству роковых и счастливых событий – но для Ленина он был небольшим и уютным: от «Шеллинг-салона» рукой подать и до Кайзерштрассе, 46, и до Шляйхсхаймерштрассе, 106, где Ульяновы провели пару месяцев весной 1901-го, да и до Зигфридштрассе, 14, какие-то двадцать минут.

Мюнхен был платоновской пещерой, в которой можно было судить о положении подпольщиков в России по теням теней, пляшущим на стенах. Сведения доходили не сразу и искаженными; и руководящим центром он мог считаться только условно – никто не избирал Ленина-редактора «Искры» ни на какую руководящую должность. Поэтому если кто-то из агентов начинал устраивать самодеятельность – например, вдруг затевал издание местной, посвященной локальным проблемам с.-д. газеты, – Ленину оставалось только кататься по полу с пеной, исходящей из рта, – а что еще? Все искровцы рано или поздно ощущали себя персонажами авантюрных романов – такое поднимает настроение; проблема в том, что если вы хотите, чтобы персонажи не расползлись как тараканы и участвовали именно в вашем сюжете, нужно постоянно контролировать их – то есть часто снабжать их по почте руководящими указаниями. Эта переписка отнимала кучу сил – даже на то, чтобы просто прочесть письмо, которое сначала следовало «проявить», а потом расшифровать. Твиттеробразный слог в те годы еще не успел войти в моду – и даже подпольщики сочиняли длинные, обстоятельные письма, в которых обсуждались политические события, финансовые дела, оргвопросы. Таких писем в редакцию

«Искры» поступало по несколько сотен в месяц – и Ульянову очень повезло, что в его распоряжении была настоящая «Энигма» – гениальная шифровальная машина: Надежда Константиновна.

Вместо городов ставили имена, начинающиеся на ту же букву: Тверь – Терентий, Одесса – Осип. Популярная газета обозначалась словосочетанием «бумазейная кофта», «Искра» – «мех», нелегальная литература – «меховое платье»: «Коля пишет, что Старуха затевает шитье бумазейных кофт, недовольна мехом за непопулярность». Старуха – это Московский комитет, Николай Петрович – Петербургский, Фекла, она же Нестор, она же Иван – редакция Искры. «Носим мех, но с наступлением зимы понадобится его гораздо больше, не только на одну отделку, а на целую шубу. Немного укутали и Соню». Соня? Бюро! Даже и так, сообщения вроде: «Я в Соню был влюблен, и мне обидно за нее – одного она проворонила, продремлет и еще один» – представляются весьма и весьма загадочными.

Сейчас все эти предложения «содействовать работе Юрия, основанной на платоническом признании меховой кофточки в руководящей роли с поправкой “она недостаточно популярна”» (которые, из-за огромных гэпов во времени и пространстве, неизбежно вели к возникновению путаницы – и абсурдно-комичным переспрашиваниям, в духе реплик героинь Раневской: «Кто такой Цыпленок? Приехала ли Лэди?») кажутся анекдотическими – так разговаривают разве что персонажи в гайдаевских комедиях или романах В. Г. Сорокина.

Шифры применялись в переписке, а при личных встречах – пароли: ты ему: «Самовар» – он тебе: «Огурец». «Что прислала Frau Strasse вместо себя?» – «Зонтик!» – «Где вы последний раз видели Марию Захаровну?» – «У Ашунгер, и подари ей три розы».

В 1901 году перепутать самовар с огурцом означало провалить длинную цепочку. Часто человек, произносивший пароль, должен был соответствовать еще ряду параметров – например, не приходить в студенческой форме, иметь на голове цилиндр, а не котелок, – или быть только мужчиной. Дело в том, что визит на явку подразумевал возможность провала не только для совершившего ошибку, но и для его партнеров; и к перспективе провести ближайшие несколько лет в Восточной Сибири агенты относились со всей серьезностью; шутки в сторону. Единственное место, где шутки были уместны, – это «Искра» и «Заря», которым следовало поддерживать бодрость духа в своей пастве. Отсюда карикатуры на царя в иллюстрированных приложениях и сочиненный Мартовым под псевдонимом Нарцисс Тупорылов «Гимн новейшего русского социалиста», где на сатирический лад излагались взгляды либералов-«экономистов»; в мировой литературе найдется мало текстов, которые бы так забавляли Ленина – он цитировал его чуть ли не в каждой статье, явно получая от этого всё большее удовольствие:

Грозные тучи нависли над нами,
Темные силы в загромок нас бьют,
Рабские спины покрыты рубцами,
Хлещет неистово варварский кнут.
Но, потираючи грешное тело,
Мысля конкретно, посмотрим на дело.
Кнут ведь истреплется, скажем народу;
Лет через сто ты получишь свободу.
Медленным шагом, робким зигзагом
Тише вперед, рабочий народ!

Помимо умения не путать самовары с огурцами и знания лирики Нарцисса Тупорылова, всякий разъездной агент «Искры» – которых было не так уж много, десять – двадцать человек одновременно – должен был обладать чувством стиля (быстро перекрасить волосы в нужный цвет, подобрать к платью в меру элегантный зонтик) и владеть шпионскими техниками, которые

специально «воспитывались», так же как наблюдательность, умение владеть собой и физическая сила. Чтобы иметь возможность как ни в чем не бывало перемещаться пешком с тяжелым портфелем, агенты тренировались в переноске. Новичков заставляли, быстро отвернувшись, перечислить все предметы в комнате, объясняли, как держаться на допросах, и т. п. Адреса, явки, пароли зазубривались наизусть целыми записными книжками, десятками, сотнями. «Никогда не забуду, – пишет Зеликсон-Бобровская, – как мы с видом гимназисток, шагая из угла в угол, самым серьезным образом зазубривали: Кострома, Нижняя Дебря, дом Филатова, Марье Ивановне Степановой. Пароль: “Мы ласточки грядущей весны”». Или: Москва, Живодерка, Владимиро-Долгоруковская аптека, провизор Лейтман. Пароль: «Меня послали к вам птицы певчие». Ответ: «Добро пожаловать». Нужно было уметь законопатить экземпляры «Искры» внутрь книги, в переплет – причем так, чтобы после отделения склеенных листов друг от друга газета не испортилась и свободно читалась. Надо было уметь разослать газету по обычной почте – так, чтобы отправления не привлекали к себе внимания: Литвинов, например, не брезговал раскладывать газеты по конвертам разных цветов, а затем садился на велосипед и колесил по сельским почтам Швейцарии – чтобы конверты шли с разных адресов. Его коллеги в это время запикивали свою газету в невысохшие глиняные статуэтки, подушки, переплеты художественных альбомов... – количество экзотических способов околпачивания полиции не поддается учету. Между прочим, от агентов требовались не только «размах, смелость и предусмотрительность» (Литвинов), но и иногда цинизм: искровцы не скрывали, что им приходилось пользоваться «оказаниями»: передавать за границей невинному человеку посылочку – баульчик, шляпную коробку, чемоданчик; о том, что внутри находится «Искра», благодетелю не сообщалось. Моральный аспект этого метода доставки остается под большим вопросом – потому что в полиции одинаково плохо приходилось и подлинному агенту «Искры», и подставному фраеру.

Особой статьей нелегальной деятельности были «носовые платки», они же «сапоги», они же «шкуры» – то есть паспорта: статья, сильно занимавшая в Мюнхене нелегала Ленина, который счастлив был в какой-то момент легализоваться хотя бы условно, «наполовину», по поддельному болгарскому паспорту. Революционерам, бывало, приходилось по полгода маринуться где-нибудь в Женеве, чтобы получить пригодный для проживания в России паспорт, за ними очереди стояли; а ведь для разъездных агентов «Искры» паспорта требовалось менять чаще, чем платки настоящие. Они пользовались подлинными чужими паспортами, фальшивыми чужими (вписывали в чистый бланк чужие паспортные данные), паспортами умерших (вариант – эмигрировавших в Америку; тут главное не размахивать ими в городе, где квартировал покойник) и, наконец, паспортами фальшивыми насквозь, где липовыми были и бланк, и данные; это был самый рискованный вариант. В исключительных случаях в распоряжении революционеров могли оказываться даже и экзотические паспорта – поступавшие через посредничество Плеханова и князя Хилкова, помещика, раздавшего свою землю крестьянам, затем принявшегося пропагандировать среди них толстовство, а потом эмигранта-эсера, который по агентурным данным снабжал «отъезжающих в Россию преимущественно великобританскими паспортами, мотивируя это тем, что русские власти всего деликатнее относятся к англичанам, из опасения столкновений с великобританскими консулами». Британский паспорт был у Ленина в 1905 году.

Была еще и комбинация с настоящим бланком – но таким, с которого специально обученные революционеры-«прачки» смывали ненужный текст и затем заполняли новым. «Железным паспортом» считался полученный посредством подкупа посредников от только что скончавшегося покойника – чья смерть еще не была зарегистрирована. Родственникам отсутствие паспорта объясняли потерей – по-видимому, не всегда убедительно, потому что со временем большевикам пришлось организовать в Женеве целое «паспортное бюро», обладавшее значительным запасом реактивов, печатей, штампов и бланков.

Первые года полтора были для «Искры» крайне скудными, и дефицит бюджета не закрывался никогда. Ленин и Крупская всячески подстегивали корреспондентов – особенно оседлых, присматривавших за искровскими «хабами», – чтобы те искали спонсоров и использовали малейшую возможность заработать на газету. Студентам предлагалось устраивать благотворительные аукционы, лотереи, концерты в помощь неимущим сокурсникам – при этом союзные им работники типографий печатали больше билетов, чем было указано; мало того, на такого рода мероприятиях устраивались «буфеты», где под видом чая наливали коньяк, а вместо кипятка – водку; как и во всех подпольных барах, алкоголь оценивался здесь недешево. В январе 1903-го Красин, живший тогда в Баку и занимавшийся делами легендарной подпольной типографии «Нина» (которая обладала мощностями, достаточными, чтобы завалить «Искрой» всю Россию), умудрился устроить концерт В. Комиссаржевской в доме начальника полиции, который едва ли предполагал, что на его деньги будет финансироваться газета Ленина. Постоянная нужда в деньгах приводила к появлению разного рода светлых идей, связанных с возможностью легкого обогащения. В какой-то момент Ленин и Крупская всерьез ломали голову над предложением коллег самим открыть бизнес по торговле рыбой – чтобы одновременно в бочках возить и газету. Посмотрев друг другу в глаза, они вынуждены были признать бизнес-план остроумным; он не осуществился только потому, что у «Феклы» не оказалось полмиллиона на закупку собственно селедки.

Попытки превратить распространительскую деятельность в партстроительство часто оказывались еще более удручающими: многие социал-демократические организации, на которые нацеливалась «Искра», существовали только на бумаге, декларативно; комитеты оказывались не в состоянии конкурировать с зубатовскими, легальными, контролируемыми полицией организациями, вроде Московского союза механических рабочих. Осознание тотальной «прошпигованности» и невысокого КПД своей деятельности заставляло агентов то и дело впадать в депрессию – они чувствовали себя ненужными, брошенными, выполняющими заведомо провальную миссию. И Ленину с Крупской стоило немалого труда постоянно стимулировать этих сизифов письмами в мажорной тональности.

Возможно, силы для этого они продолжали черпать в насыщенной электричеством атмосфере Швабинга.

Что касается дома на Зигфридштрассе, 14, куда Ульяновы переехали в конце весны 1901-го, где прожили почти год, где Ленин написал «Что делать?» и где состоялась серия совещаний с редакцией «Искры», в том числе со специально явившимся в Мюнхен Плехановым, то он в своей нынешней версии производит впечатление весьма скромного: никаких намеков на сецессионский модерн: дом как дом, ни рыба ни мясо. Впрочем, внизу там сейчас как раз именно что мясо, мясная лавка, *Metzgerei* и – как и в 1900-м, входящий в сеть пивных Пшорра – кабачок «Weinbauer's Metzgerei», с рибай-стейками по 37 евро. До того, кстати, там обреталось заведение «Das zimmer esszimmer», где на втором этаже в зале, у стены, между двух огромных крупноформатных картин, изображающих женщин в пестрых костюмах, стоял скромный бюстик Ленина: уж не из-за него ли и разорился ресторан?

Эта диспозиция – между двух женщин – хорошо отражает положение, установившееся за сто лет до того в соседней квартире, где Ленин в окружении жены и тещи лихорадочно сочинял «Что делать?» – свою самую «неудобную», целиком состоящую из мелких косточек, которыми так легко подавиться, – книжку.

Тем не менее целое поколение молодежи было рекрутировано в революцию благодаря ей. Революционеры на протяжении десятилетия разговаривали цитатами оттуда и пользовались ими в качестве паролей, по которым узнавали «своих». С этой «библией революционера» в руках марксисты-экспроприаторы в 1906–1907 годах будут грабить инкассаторские кареты и почтовые поезда; «библией» – потому что, подразумевается, Ленин обнародовал в ней «план построения боевой общерусской организации». Ее – как материальное воплощение эмбриона

идей КПСС, авангарда рабочего класса, – прихватил с собой в космический полет Ю. А. Гагарин: изящное подведение черты под ленинским «заданием», которое, судя по названию, содержалось в книге. Недавно этим текстом по неизвестным причинам заинтересовался Джордж Буш-младший – который сообщил, что Ленин в нем «представил свой план организации коммунистической революции в России».

В том-то и дело, что нет! Репутация этой книги не вполне соответствует ее содержанию; «Что делать?» – не то, за что себя выдает.

Как почти все «монументальные» ленинские книги, «Что делать?» была прежде всего полемической бомбой – брошенной на этот раз в редакцию конкурирующего в тот момент с «Искрой» издания – «Рабочего дела», которое претендовало на то, чтобы быть голосом местных комитетов, соблюдать демократические процедуры, и имело не меньшие права и возможности собрать съезд партии, принять программу и организовать ЦК. Что делать? А вот что: не допустить ничего подобного. Собственно, уже эпиграф, из письма Лассалья Марксу, настраивает на то, что ответом на вопрос «Что делать?» будет: «Раскалываться»: «Партия укрепляется тем, что очищает себя»; это неслыханно – «очищает», при том, что партия, по сути, еще и не создана, без программы.

Если выкинуть из текста полемику, то окажется, что Ленин представил исторический очерк марксистского движения, проспект будущего (дайте нам заговорщическую организацию революционеров, вооруженную чемоданами, набитыми «Искрой», – и мы перевернем Россию). Идея, таким образом, состоит в том, что наваливаться на самодержавие надо не на раз-два-взяли, всем-миром, эх-ухнем, а – сначала сформировать профессиональное ядро, которое уже затем составит для массы алгоритм эффективных действий. В качестве копирайтера обновленной партии, Ленин «запустил» несколько сложных метафорических рядов, с которым отныне должна была ассоциироваться его организация в сознании потенциальных клиентов. Самый известный и очевидный: искра (классовой борьбы) – кузнечный мех (раздувающий народное возмущение) – пожар. Другие оказались чуть менее удачны. Один раз, объясняя соотношение легального и нелегального, кустарнического и профессионального, Ленин проваливается в ботаническо-сельскохозяйственную образность – да так глубоко, что едва выпутывается из этого репейника. Нам, пишет публицист, который впоследствии будет так часто менять свою программу по аграрному вопросу, что в какой-то момент кто-то неизбежно должен был усомниться в его компетентности в этой сфере, следует:

не растить пшеницу в комнатных горшках (комнатным растениеводством занимаются Афанасии Иванычи с Пульхериями Ивановнами);

бороться с плевелами, вырывать их;

очищать почву для прорастания семян пшеницы;

готовить жнецов – профессионалов и по части борьбы с сегодняшними плевелами и в жатве будущего урожая пшеницы (когда социализм делается легальным, и «не провокаторы будут ловить социалистов, а социалисты будут ловить себе адептов»).

Собственно, именно в этом и заключался тот самый «план построения» партии.

Что ж, неудивительно, что кроме почитателей у книги нашлись и критики: это что – и есть ваш план? «Готовить жнецов»? «Библия революционера»?

В самом деле, разве не должен был попасть в эту «библию», к примеру, перечень конкретных рецептов – как повысить эффективность борьбы за освобождение рабочего класса? Или список, скажем, техник, с помощью которых можно продлить политическую жизнь революционера-агитатора, чтобы едва ли не весь наличный состав марксистов-практиков не приходилось обновлять раз в год?

Ленин, однако, предпочитает либо драть глотку в жанре манифеста («История поставила перед нами задачу...», «русский пролетариат – авангард международного революцион-

ного пролетариата...»), либо теоретизировать в вечнозеленом формате «о пользе всего хорошего и вреде всего плохого».

Обязательно ли пройти сначала стадию экономической борьбы, чтобы иметь возможность приступить к политагитации? (Не обязательно.) Следует ли рабочему классу бороться только за лучшие условия продажи рабочей силы – или сразу за уничтожение общественного строя, при котором неимущие должны продаваться богачам? (Сразу за уничтожение; и это при том, что степень охваченности России капитализмом, по-видимому, была Лениным заведомо преувеличена.) Лучше ли для успеха рабочего движения в самодержавной полицейской стране, если организация революционеров, представляющая его интересы, будет состоять из узкого круга профессионалов – или пусть в движении участвуют широким фронтом все сколь угодно сочувствующие пролетариату? (Лучше из узкого круга.) Правда ли, что демократизм рабочей организации вреден для нее самой в условиях полицейского произвола? (Правда.) В состоянии ли рабочий сам развить больше, чем тред-юнионистское, – классовое политическое, социал-демократическое сознание – или оно должно быть привнесено в него извне, профессионалами, членами социал-демократической организации? (Извне.)

Подлинный смысл «Что делать?» состоял, однако ж, вовсе не в том, чтобы объяснить недогадливым политическим огородам технологию борьбы с сорняками, а также загадку, почему фултайм-агитаторы справляются со своей работой эффективнее, чем любители-полставочники.

Для Ленина этот текст был, прежде всего, камнем в огород так называемых «экономистов».

Собственно, именно поэтому Ленин, по сути, объясняет, что такое РСДРП, апофатически – это НЕ «Рабочее дело», НЕ экономизм. Кричевский, Мартынов, Акимов – суть тред-юнионисты, тогда как мы – настоящие с.-д. Мы прочли и поняли Маркса – а они его извратили. Это заговор, заговор оппортунистов, пытающихся отвлечь пролетариат от политической борьбы – и настроить его исключительно на экономическую. Отсюда возникает и «нашущная задача нашего движения» – вовсе не объединить все марксистские группы в России, как кто-то мог бы подумать, но порвать с «некошерными» марксистами, окопавшимися в редакциях «Рабочей мысли» и «Рабочего дела».

Главный метод Ленина, как и всегда, – недружественный, с заведомыми искажениями и придирками, агрессивно-насмешливый пересказ чужих текстов. Заявив, что «искусство политика заключается в том, чтобы ухватиться за правильное звеньишко – и через него вытянуть всю цепь», он тренируется в этом искусстве, выхватывая фразы из чужого контекста – чтобы выставить автора идиотом, оппортунистом и врагом рабочего движения. «Десяток умников легче выловить, чем сотню дураков, говорите вы» – хотя, разумеется, ничего подобного «экономисты» не говорили. Надо отдать ему должное: Ленин ерничает, ехидничает и глумится настолько энергично и иногда остроумно, что читателю – даже если он понимает, что жертва Ленина вовсе не такая глупая, какой тот ее представляет, – комфортнее болеть за Ленина: вряд ли может быть неправ такой энергичный публицист.

Что касается «экономистов» и «Рабочего дела», то, как бы искрометно ни разоблачал подоплеку их софизмов автор «Что делать?», они прекрасно понимали все достоинства подпольной деятельности в условиях самодержавного государства – и не хуже Ленина знали техники подпольной борьбы. Если уж на то пошло, на вопрос «Что делать?» гораздо более внятно отвечали несколько в практическом смысле очень ценных, содержащих реальные ноу-хау работ Акимова-Махновца – про шифры и про то, «как держать себя на допросах». Кроме того, постороннему наблюдателю могло показаться, что гораздо логичнее для настоящих рабочих было создать партию вокруг «Рабочего дела», обеспечивающего интересы именно их самих, а не кого-то «извне» – которому лучше знать. Тогда как позиция Ленина – отказывающегося обсуж-

дать принципы кулинарии с котлетой – могла, пожалуй, показаться для пролетариата оскорбительной.

Ленин, по сути, шел ва-банк: разумеется, он прекрасно понимал, как легко вырождается революционное движение пролетариата, если подменяется интеллигентской кружковщиной; и за произнесенный вслух тезис про то, что революционное сознание можно внести в пролетариат только «извне», то есть что сами рабочие могут быть только материалом для политических манипуляций профессиональных революционеров, Ленину крепко влетит от товарищей на II съезде. Однако логика выбранной им стратегии партстроительства требовала такого, даже очевидно рискованного заявления: ведь «извне» в данном случае означало – от редакции «Искры», только оттуда, и ниоткуда больше; потому что «не извне» – значит, самостоятельно: клуб равноправных личностей, созданный на демократических принципах и действующий на основе совместно выработанных договоренностей.

Проблема была в том, что в таком случае им не нужна была централизованная, вертикально ориентированная, жестко структурированная партия – именно та организация, о которой грезил в 1901-м Ленин – Ленин, которого интересовало лидерство в партии, а не какие-то процедуры.

Именно поэтому «Что делать?» посвящено: а) демонизации «экономизма» и б) объяснению, почему, несмотря на то что марксизм и терроризм «Народной воли» – принципиально разные доктрины, нужно создать организацию профессиональных заговорщиков, которая будет направлять пролетариат, стоя вне его и над ним.

Пожалуй, самая знаменитая, вошедшая в историю риторическая фигура из «Что делать?» – про движение по краю обрыва: Ленин клонит к тому, что монополия вести рабочих к свободе есть только у тех, кто понял Маркса должным образом. «Свобода – великое слово, но под знаменем свободы промышленности велись самые разбойнические войны, под знаменем свободы труда – грабили трудящихся. Такая же внутренняя фальшь заключается в современном употреблении слова: “свобода критики”. Люди, действительно убежденные в том, что они двинули вперед науку, требовали бы не свободы новых воззрений наряду с старыми, а замены последних первыми. А современные выкрикивания “да здравствует свобода критики!” слишком напоминают басню о пустой бочке. Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не отступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот некоторые из нас принимают кричать: пойдемте в это болото! – а когда их начинают стыдить, они возражают: какие вы отстающие люди! и как вам не совестно отрицать за нами свободу звать вас на лучшую дорогу! – О да, господа, вы свободны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы в болото. Мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к вашему переселению туда. Но только оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова свобода, потому что мы ведь тоже “свободны” идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту!»

Что означает в переводе на человеческий язык вся эта аллегория о болоте?

Вот что.

1. Давайте не будем ждать, пока капитализм оккупирует феодальную Россию «окончательно» и страна, согласно марксовским законам истории, естественным образом дойдет до точки кипения. Я знаю способ, как срезать угол и добиться изменения жизни быстро.

2. Я собираюсь создать компанию и руководить ею; у меня уже есть «Искра»; и если вы поверите в мой стартап и станете финансировать его, то у меня найдутся политические ноу-хау для того, чтобы изменить режим в России.

3. Не инвестируйте деньги и надежды в другой, альтернативный общерусский политический печатный орган – особенно если он называется «Рабочее дело», – который тоже обещает наладить эффективное функционирование политической структуры: их утверждения, будто они отстаивают интересы рабочих, – блеф, с помощью которого они пытаются оттянуть к себе инвесторов (а затем предать рабочий класс буржуазии). Их руководители некомпетентны, их методы неэффективны и их попытки созвать общероссийские съезды и конференции рабочих неправомерны. Монополия на передовую теорию и на политическую оргдеятельность есть только у меня, у «Искры», и если – ради поддержания теоретической чистоты марксистского учения – надо будет окончательно расколотся с этими ложными революционерами, мы пойдем на это.

Что по-настоящему ценно сейчас в «Что делать?» – это цайтгайт, дух эпохи, когда в обществе возник спрос не на бунтаря-индивидуалиста, но на сильную революционную руку, способную схватить за шкуру, приструнить, вышколить любого либерального марксиста – и превратить его в члена организации профессиональных заговорщиков. И в этом смысле «Что делать?» можно назвать «живым руководством к действию».

Секрет феномена «Что делать?» – в литературе; это демагогическое, сводящееся к чистой суггестии и страдающее дефицитом конкретики произведение. Это чувствовала и Крупская: она со свойственной ей деловитой иронией докладывала одному из корреспондентов: «Мейер накатал уже три печатных листа, но дошел лишь до половины»; слишком много слов, а Ленин все никак не мог остановиться.

Ни до ни после Ленин не будет позволять себе «литературу», «фразу» в таких количествах; и единственное объяснение этого странного сдвига – швабингская «гринвич-виллиджская» атмосфера, в которой сочинялась эта книга: похоже, метафоры в этом мюнхенском предместье ценились выше, чем конкретные рецепты. Швабингский контекст объясняет и аберрацию сознания, которая заставила Ленина выступить защитником идеи о заведомом приоритете интеллигентных марксистов над «стихийными» защитниками своих пролетарских интересов. Идея, будто сам рабочий класс не может устроить революцию с политическими требованиями (и поэтому ему нужны марксисты, направляющие стихийную энергию массы), выглядела сомнительной уже в 1902-м – и не подтвердилась, по сути; жизнь – и прежде всего 1905 год – покажет, что рабочие вполне в состоянии вести стихийную революционную борьбу.

Тем не менее благодаря «литературе» «Искра» и «Что делать?» стали «культовыми проектами» – а вот комплект «Рабочего дела» в космос провезти никто и никогда не пытался.

От «Что делать?» Ленину то и дело приходилось отвлекаться на текущую газетную работу.

В обязанности агента «Искры» входило не только распространение литературы, но в не меньшей степени налаживание связей с местными комитетами, которые вовсе не спешили вступать в вассальные отношения с «Искрой»: с какой стати было терять независимость? Поэтому следовало не дергать их за фалды – а аккуратно, исподволь предлагать самостоятельный «выбор»: да, мы понимаем, что со стороны это выглядит так, будто «Искра» хочет всем командовать, но дело-то не в этом, а в том, что только так – а как иначе-то – можно будет создать реальную боевую партию.

Этот трюк с глазами Кота из «Шрека» действовал далеко не всегда. Рабочие не понимали, в чем суть разногласий между «искровцами» и «рабочедельцами», если и те и те – за пролетарскую революцию. И как ни бесновался Ленин, ему так и не удалось объяснить это мало-сознательным читателям; ничего удивительного, что в какой-то момент Бауман жалуется, что деньги, переданные на «Искру», попадают в редакцию «Рабочего дела»; можно только предположить, сколько тарелочных осколков вынесла на задний двор дома на Зигфридштрассе в день получения этого письма Крупская.

«Искру» охотнее читали интеллигенты; да и среди интеллигенции чисто технически распространить такую газету было легче – поэтому многие агенты «отбамбливались» до прибытия к главному пункту назначения – в фабричные и заводские комитеты. Самый частый вопрос об «Искре», на который Ленину приходилось отвечать самым разным людям, был: почему, раз они пролетарская партия и раз среди заявленных целей было превращение «Искры» в газету общепартийную и претендующую на массовое распространение, они делают не нормальную, понятную, народную газету для рабочих, «среди которых и безграмотность не диво», а нечто сложно-сочиненное, где слишком много внимания уделяется микроскопическим нюансам отношений в немецкой социал-демократии?

Самой кошмарной новостью из лагеря конкурентов для Ленина первых лет «Искры» было сообщение, что кто-то еще «затекает шитье бумажных кофт». Популярная газета для рабочих в любой момент могла отбить у «Искры» клиентуру.

Агенты хорошо осознавали, что обычных рабочих трудно было урезонить и обнадежить уверениями, что комитеты, начитавшись «Искры» и «Зари», в один прекрасный день смогут переварить, наконец, идеи оттуда и сами преподнесут их рабочим в более удобоваримом виде.

Ответ Ленина состоял в том, что разделять интеллигентское и рабочее марксистское движение нелепо и неправильно, а все предыдущие попытки писать газету языком рабочего класса выглядели скверно. Ленин перечислял проекты конкурентов, сопровождая их исчерпывающим комментарием: «Не беда, что все это – дермо, но зато массовое дермо». Никаких мягких знаков – только твердое «р». И особенно неприятным ему представлялось, что слишком много внимания там будет уделяться местным проблемам и вместо обсуждения общепартийных задач станут плодиться «особые, глубокие, казанские и харьковские теории».

Может быть, в таком случае ему следовало издавать две газеты – одну партийную, где можно никак не стеснять себя ни в темах, ни в стилистике, и другую для массового распространения?

Нет, нет и нет!

Научитесь, рявкал он на агентов, использовать то, что вам дают.

Далее следовала феерия оскорбительных контрбвинений в некомпетентности: «увертка, отлынивание, неумение и вялость, желание получить прямо в рот жареных рябчиков». Ведь вам нужно, чтобы за вас всё разжевали и потом вам в рот положили? «Я разеваю рот, – а вы сыпьте: вот новая формула отношений “писателя” и “искряка”-практика!» Что? «Искру» просто невозможно связать с массами? Это вы не в состоянии дать нам отчет, как массы принимают «Искру»? Это вы, вместо того чтобы связывать писателей «Искры» и массы, плохо выполняете свою работу!

Все эти фома-опискинские истерики – не что иное, как разные варианты одного и того же «нет»; попытки завуалировать суть – которая может быть сформулирована двумя способами. Первый: Ленина не интересуют просвещение и агитация масс напрямую, а интересуют только элементы, из которых можно построить будущую партию, ради чего вся «Искра» и была затеяна. Второй: Ленин посчитал, что эффективнее давать массам не пережеванную «пищу», а «удочку» – идеологический инструментарий, посредством которого выходцы из масс сами могли себя в дальнейшем агитировать.

«Если бы я слушал потребителей, – сказал однажды Генри Форд, – я отправился бы на поиски более быстрых лошадей»; судя по дальнейшим событиям, стратегия Ленина – какой бы двуличной и абсурдной она ни казалась – в целом оправдалась. Ленинские «лошади», если уж на то пошло, находились на Кавказе – так назывался один из путей доставки «Искры» на территорию империи. Подлинные масштабы деятельности «Искры» стали ясны к концу второго года – когда, благодаря участию толковейших инженеров, в том числе Красина и Кржижановского, были налажены несколько каналов переправки литературы – которые в секретной переписке обычно именовались обиняками: путь через Пруссию назывался «кожей», через Шве-

цию и Финляндию – «пиво» («Пиво начало вариться», «с пивом плохо»), через Архангельск – «рыба»; «лошадиным» звался путь через Баку. Об интернациональном размахе предприятия можно судить по особенностям «марсельского» пути: «Искрой» набивали резиновые мешки – которые затем, при помощи французских моряков из дружественных профсоюзов, привязывались в наружным частям парохода – и приходили в порты Черного моря под водой, невидимой поклажей.

Но расширение предприятия оборачивалось также и катастрофами – причем масштабы этих катастроф возрастали.

Основной причиной провалов были не ошибки людей, не провокации и не предательства, как позже (хотя кто, собственно, мог проверить человека, который приходил и предлагал свои услуги – не провокатор ли он?) – а, как ни странно, шифры – те самые, железные, нераскалываемые, персональные. Не надо было держать полицию за дураков. «Искра», трагикомическим образом, горела на литературе, на стихах; полиция сообразила, что чаще всего «искровцы» пользуются в качестве ключей хрестоматийными строчками из русской классики – Пушкина, Лермонтова, Крылова, Некрасова, Надсона – просто потому, что именно их все учили по школьной программе и их тексты были легко доступны по всей Европе. «Достаточно было, – пишет А. В. Синельников, – полицейским экспертам однажды выяснить, что для шифрования их конспиративных писем использовалось какое-нибудь стихотворение, как с очевидностью напрашивался вывод – все другие, не разобранные криптограммы, также могли быть перекрыты по произведениям того же автора! А объемы томов перечисленных поэтов не так уж велики – не более одной-двух книжек на каждого».

Именно знакомство с перепиской, по-видимому, и навело начальника московской охраны С. Зубатова в декабре 1901-го на тревожную мысль, что «ведь крупнее Ульянова сейчас в революции нет никого...». «Ожидают возвращения Владимира Ульянова, имеющего эту теоретическую формулу воплотить в кровь и плоть. Вот бы хлопнуть-то сего господина!»⁶

Полиция не понимала, как добраться до гнезда «Искры», мюнхенская прописка которого к осени 1901-го стала секретом Полишинеля – но, во-первых, с неослабевающим интересом отслеживала коммуникации этой «группы», во-вторых, ловила всякую мышь, пытавшуюся проскочить через границу с набитым нелегалыщиной чемоданом, и, в-третьих, устраивала массовые «ликвидации»: повальные одновременные аресты. Настоящая варфоломеевская ночь случилась на 9 февраля 1902 года – в связи с тем, что между Мюнхеном и местными комитетами постепенно стал назревать конфликт. Комитеты раздражало, что за границей сидит некто и командует, кому что делать; спасибо, вежливо говорили марксисты с норовом: газету вашу мы читаем, можем даже печатать ее с ваших матриц – но руководство ваше нас не интересует. Чтобы подавить эти бунты, в Киеве назначили совещание российских агентов «Искры» – сообща выработать тактику. Лучшее всех оказалась готова к этому конклаву полиция – которая за несколько часов в одном Киеве накрыла около двухсот человек и еще несколько десятков в Одессе. Почти все рыцари искровского Круглого стола оказались арестованы. В том числе Николай Бауман.

Среди агентов «Искры» было немало выдающихся личностей, и про каждого можно было бы создать отдельную эпическую песнь. Но несомненным Ланселотом в этой компании был Николай-«Грач»-Бауман⁷, чья история слишком замечательна и характерна для агентов «Искры», чтобы не воспроизвести ее хотя бы и бегло.

⁶ Красный Архив. 1934. Т. 1 (62).

⁷ Характерно, что в советском фильме «Побег» (1977) Баумана сыграл А. Абдулов – классический Ланселот из шварцевского «Дракона». Беда в том, что хотя и вторую главную роль, молодого Максима Литвинова, в фильме сыграл еще один секс-символ советского кино – Н. Еременко, режиссер умудрился загубить абсолютно голливудский, по сути, сюжет с побегом из тюрьмы; актеры явно сами не понимали, о чем идет речь, и воспринимали свои роли как отработку советской барщины. Наиболее анекдотической во всем фильме кажется сцена, где Еременко и Абдулов начинают пытаться друг друга: а ты читал

Бауман – уроженец Казани, на три года младше Ленина, 22 месяца отсидел в одиночке – одна из ключевых фигур и в истории РСДРП, и, опосредованно, в биографии Ленина. В конце концов, именно его убийство в октябре 1905-го и его грандиозные похороны, возможно, спровоцировали декабрьские события в Москве. Однако и до своей смерти Бауман, друживший с Воровским, агитировавший рабочих Саввы Морозова за революцию – и скрывавшийся в квартире самого фабриканта, своего приятеля, сочинявший литературные очерки, делегированный на II съезд партии, успел совершить множество разных любопытных поступков. Впоследствии один из самых эффективных агентов, в первый год своей искровской деятельности он, похоже, больше раздражал, чем радовал редакцию: ему по разным объективным причинам никак не удавалось завоевать Москву, куда его направили. Его упрекали, посылали на тот же участок других агентов – к великому негодованию «Грача», письменные истерики которого напоминают героев не столько Стэна Ли, сколько Достоевского или Зошечко. «А Вы до сих пор находили нужным снабжать скорее других, чем меня, кроме того, я пришел к тому заключению, что Вы не считаете нужным сообщать о делах организации и связях в моем районе, чем создаете громадное недоверие ко мне. Меня уже некоторые заподозревают в очень некрасивых вещах – в самозванстве самого скверного свойства. Напишите немедленно, считаете ли Вы меня своим представителем». Затем градус поднимается еще выше. «Сложив ручки не сижу ни минуты. В своих суждениях Вы уподобляетесь теперь вполне Dreck-Genoss'ам (дрянным товарищам. – Л. Д.), которые с высоты своего настоящего величия судят о меньшем своем брате. Вы уже, по-видимому, начинаете забывать условия, в которых жили года два тому назад... Ваши упреки вначале расстраивали меня, а теперь я смотрю на Вас как на Dreck-Genoss'ов», – пишет он Ленину и Крупской.

С Бауманом же связана одна из центральных легенд в мифологии «Искры» – удивительная, в духе «Графа Монте-Кристо», история с побегом из Лукьяновской тюрьмы в Киеве. Ленин никак не участвовал в ней – но косвенным образом она тоже способствовала укреплению мифа о сверхъестественных способностях Ленина: разве могло совершиться предприятие такого масштаба без содействия дистанционных колдовских сил? (Так байкальские рыбаки – если верить Крупской – будут рассказывать после Гражданской войны, что Ленин в разгар боя с белыми прилетел к ним на самолете и помог справиться с врагом.)

В феврале – марте 1902-го в «Лукьяновку» стали свозить всех арестованных после февральского разгрома «Искры» – чтобы устроить показательный процесс. Там оказались Сильвин, Бауман, Басовский, Гальерин, Крохмаль, наборщик «Искры» Блюменфельд, будущий советский дипломат Литвинов и еще несколько человек.

Главной проблемой этой тюрьмы – которая и сейчас охотно принимает в своих стенах политзаключенных (именно там, например, два раза сидела Юлия Тимошенко) – было то, что там «больно уж свободно было»; арестанты добились разрешения гулять во дворе не только днем, но и после захода солнца и едва ли не почитывали свежий номер «Искры» за завтраком. Сначала они хотели просто толпой прорваться через ворота – «кто уйдет, тот уйдет», но этот план был отвергнут как чересчур «молодеческий». Статистика, кстати, была против них – последний раз кому-то из политических удалось сбежать оттуда четверть века назад. Затем был принят план бежать из церкви со всеобщей на Пасху – но Басовский сломал себе ногу, и решено было подождать, пока тот поправится. В итоге решили – авторство этого плана принадлежало Сильвину – бежать с прогулки. Запаслись деньгами, рублей по 100 на человека, паспортами, изготовили из простыней лестницы; с одной из передач умудрились получить в корзине с цветами, якобы на именины, железный якорь весом в полпуда («Искра» потом взалхлеб писала: «Как последний очутился в руках бежавших – это, конечно, секрет организаторов побега») – который можно было использовать как «кошку», и алкоголь – напоить надзирателей. На каж-

дой прогулке репетировали; на Днепре в условленном месте беглецов должны были дожидаться лодки. 18 августа, в день «именин», четверо, среди них «отличавшийся большой физической силой Бауман», напали на надзирателей (впрочем, с кляпом не вполне получилось – один успел заорать: «Ратуйте!»), четверо выстроили пирамиду – «на плечи двух залезает третий, на него – четвертый – он тогда находится почти на крыше, залезает, прикрепляет якорь»; на одну сторону шестиаршинной стены от якоря ведет лестница со ступеньками из ободьев венских стульев, на другую, вниз, – веревка. Погоня началась сразу же – в духе «Неуловимых мстителей», на лошадях, с факелами и пальбой из револьверов. Одни беглецы попрятались по тайным квартирам в городе, другие изображали из себя пьяных, шатались и требовали себе извозчиков, щедро расплачиваясь, третьи отправились в баню – просто чтобы скоротать время. Никого не поймали – и через несколько недель они праздновали удачу в Швейцарии, в ресторане у Рейнского водопада; оттуда же была отправлена триумфальная издевательская телеграмма начальнику тюрьмы Новицкому. Впрочем, за границей агенты просидели недолго (вообще, для многих за граница часто оказывалась пространством непонятным и трудноосваиваемым; путешествуя, отечественные марксисты совершали иногда ошибки анекдотического характера – Бабушкин вместо Лондона однажды чуть не угодил в Америку, «Шляпников заехал в первый раз вместо Женевы в Геную») – и вскоре вновь вернулись в Россию на нелегальную работу. Бауман меж тем поехал к Ленину – было что обсудить.

Было бы преувеличением сказать, что РСДРП раскололась на большевиков и меньшевиков из-за Баумана, однако именно он стал тем «испорченным яблоком», из-за которого потом Ленину с Мартовым пришлось перетряхивать всю партийную бочку, и как раз с того момента пути бывших друзей все больше и больше расходились. В редакции «Искры» затлеел конфликт – который, возможно, объясняет то, что впоследствии произошло на II съезде: подоплеку Большого Раскола. Радиоактивные следы этого происшествия будут заметны даже спустя четверть века, когда Крупская в своем первом очерке о Ленине вспоминает этот инцидент – чтобы заметить, что ее муж не любил вмешиваться в частную жизнь и проявлять к чужим делам «праздное любопытство».

Под «чужим делом» подразумевалось вот что.

В Вятской губернии, в городе Орлове (в советское время – город Халтурин Кировской области), на рубеже веков обитала колония ссыльных марксистов, среди которых были не только будущий член редколлегии «Искры» Потресов, советский дипломат Воровский (а в соседнем уезде проживал еще и Ф. Э. Дзержинский), но и некая Клавдия Приходькова. С января по октябрь 1899-го – до своего побега – на вятском небосклоне появилась комета по имени Бауман: высокий, хорошо сложенный, белокурый, с рыжеватой бородкой молодой человек. В скором времени девушка сделалась его близкой подругой; затем их отношения почему-то разладились – и она быстро вышла замуж за другого ссыльного, Митрова, и даже забеременела. Такого рода ее поведение вызвало недоумение Баумана – и тот вместе со своим приятелем Вацлавом Воровским принялся донимать женщину «двусмысленными» карикатурами – которые, однако ж, показались Приходьковой достаточно однозначными, чтобы покончить жизнь самоубийством: она отравилась. Орловская колония ссыльных потребовала привлечь сделавшихся нерукопожатными Баумана и Воровского к партийному суду, вдовец Митров, зная о нынешнем месте работы обидчика своей жены, явился в редакцию «Искры» – где слышали об этой истории и даже напечатали, что вот, де, «в Орлове Вятской губернии окончила жизнь самоубийством Клавдия Николаевна Приходькова, сосланная на 4 года по социал-демократическому делу 1897 года в Петербурге». Явился он с письмом, где содержалось требование разобраться в деле. В октябре 1902-го – через несколько недель после героического побега искровцев из Киевской тюрьмы (организованного, кстати, молодой женой Баумана, Капитолиной Медведевой) и через несколько дней после того, как Бауман явился к Ленину в Лондон обсудить нечто, – состоялось заседание редакции об обвинении Баумана в аморальном поступке

– и вот тут послышался чеховский звук лопнувшей струны. Засулич и Потресов потребовали осудить Баумана и как минимум выгнать его из агентов «Искры». Плеханов и Ленин, которым совершенно не хотелось терять ценного сотрудника, пришли к выводу, что их газете не следует влезать в личную жизнь своих сотрудников: Бауман не совершил ничего такого, что можно поставить ему на вид как члену подпольной организации. (Тем более что Бауман работал почти бесплатно и не только завязывал связи, но и умудрялся успешно торговать «Искрой» за живые деньги; недавно проинспектировавшая состояние искровских дел в России Инна Смидович заявила, что «из всех мест, где я была, лучше всего, разумнее всего и основательнее всего дело ведется и поставлено у Грача».) Мартов формально сохранил нейтралитет, но в глубине души оставался всецело на стороне покойной Приходьковой и на заседаниях «суда» не стал форсировать разбирательство только потому, что понимал, что раскол повредит всем. Цинизм Ленина, однако ж, произвел на него сильное – и крайне неприятное впечатление; психологическая травма эта в дальнейшем только усугубится.

Существует документ – написанный Лениным проект особого мнения по делу Баумана, в котором сказано, что это «чисто личное дело, возникшее при совершенно исключительных обстоятельствах. Оно не может и, по нашему твердому убеждению, не должно быть разбираемо никакой революционной организацией вообще. В частности же мы, со своей стороны, не видим в настоящее время решительно никаких оснований к возбуждению против члена Русской организации «Искры» Н. Э. Баумана обвинения в каком бы то ни было нравственно предосудительном поступке или поведении. Настоящее особое мнение мы сообщаем пока только всем членам редакции и администрации Лиги и Н. Э. Бауману». Затем это «мнение» было подкорректировано – и в результате истец Митров получил резолюцию, в которой сообщалось, что ввиду обнаружившихся разногласий по вопросу редакция не сочла возможным его обсуждать. Четверть века спустя Крупская заявила, что это «требование не заезжать в чужую личную душу усердными руками было проявлением именно настоящей чуткости».

Таким образом, конфликт о пресловутом «первом параграфе» на съезде станет еще и конфликтом о партийной этике. Если для Ленина член партии – тот, кто подчиняется и регулярно платит, то для Мартова – тот, кто помогает и ведет себя прилично.

Сам Мартов, переехавший в марте 1901-го в Мюнхен и поселившийся на Оккамштрассе, у Английского сада, едва ли мог сойти за эталон приличия. Он постоянно таскался к Ленину и изводил его безалаберностью и недисциплинированностью – располагался на кухне, читал газеты и болтал, болтал, болтал; собственно, Крупская наткнулась на него у мужа в квартире уже в момент появления в Мюнхене.

Парижский товарищ Ульяновых Алин рассказывает, со слов то ли Ленина, то ли Крупской, что те решили в Мюнхене «организовать быт на принципах коммуны». «Жизнь была тихая. Только рождалась партия. Не было фракционной борьбы». Надежда Константиновна ходила на рынок. Мужчины, Ленин, Мартов и наборщик Блюменфельд, помогали на кухне – и, среди прочего, мыли по очереди посуду. Ленин поддерживал такого рода распорядок скромно и без жалоб. Мартов также выполнял свои обязанности на совесть, но стонал и кряхтел – особенно когда мыл тарелки, – сетуя на «медлительность прогресса»; его мечтой было, что когда-нибудь изобретут посуду, которую не нужно будет мыть после каждого использования – люди просто будут ее выбрасывать. Ленин утешал Мартова и уверял его, что идеальная посуда такого рода однажды непременно появится. «Однако в настоящий момент, – резонно замечал он, – следует перестать жаловаться на медлительность прогресса и пользоваться той посудой, которая имеется в наличии».

В какой-то момент необходимость поддерживать эти глубокомысленные диалоги настолько допекла Ленина, что Крупской пришлось попросить Мартова ограничить свои визиты к Ульяновым. Однако же тот не выдерживал и приходил – пока в Мюнхене не поселился Дан, на которого можно было выплеснуть свои свежие идеи.

Мартов и Бауман были далеко не единственными знакомцами Ленина, чье поведение, по разным причинам, могло быть сочтено небезукоризненным. Вся мюнхенская жизнь газеты была связана с балансированием между разного рода влиятельными людьми – которые могли предоставить Ленину умные советы, репутацию, тексты, типографские мощности, кров и деньги. Нужно было перенять у немецких партнеров опыт нелегального распространения газеты – и не подпасть под их влияние, очарование, харизму и лапу, с тем чтобы выполнять намеченный заранее план, апофеозом которого станет обретение группой «Искры» лидерства в российской эс-дэ партии.

Самым любопытным «партнером» был Александр Львович – или, если угодно, Израиль Лазаревич – Гельфанд, он же «Парвус»: русский и немецкий социал-демократ (именно он первым стал соблазнять немцев идеей всеобщей забастовки), писатель, копирайтер (автор слогана 1905 года: «Без царя, а правительство – рабочее»), бизнесмен, политик авангардного толка, экономист, исследователь роли колоний для империализма и пролетариата, мошенник, спекулянт и бонвиван: «ренессансная» комбинация, представлявшаяся современникам не менее экстравагантной, чем нам. Он родился на три года раньше Ленина и часто производил на окружающих впечатление человека если не умнее, то точно остроумнее Ленина; в его записной книжке было много крайне полезных Ленину контактов – и он всегда мог дать ему оригинальный совет; он протезировал молодых русских политиков, вводил их в мир европейских социалистов, окормлял идеями и знакомствами; был одним из звеньев, связывающих псевдобогарина с немецкими социалистическими вождями. Неудивительно, что находятся биографы (особенно из тех, кто полагает, будто ставший во время мировой войны агентом немецкого Генштаба Парвус как раз и договорился насчет «пломбированного вагона»), склонные думать, что Ленин в Мюнхене был едва ли не марионеткой этого джентльмена.

Роль Парвуса в «Искре» преуменьшается и преувеличивается одновременно. Парвус не числится среди отцов-основателей «Искры». Как и некоторые другие персонажи, компрометирующие своим соседством Ленина, – вроде Романа Малиновского, – он даже и в вегетарианские советские времена методично вычеркивался из истории; в «Биографической хронике» о нем нет ни слова. Тем не менее все эти полтора года в Мюнхене он постоянно был где-то рядом с Лениным. Парвус, несомненно, был автором многих передовиц «Искры» (анонимно, разумеется, или иногда под озадачивающим псевдонимом: «Молотов»), а кроме того, Ленин в период изготовления первых номеров купался – даже и буквально – в атмосфере общения с Парвусом.

Дом Парвуса на Унгерерштрассе, 80, – интересное местечко: Ленин часто бывал там, познакомился здесь с Розой Люксембург; в 1904-м тут жил Троцкий. Дом прекрасно сохранился: первый этаж занимает оsterия с подходящим названием «Da Fausto»; во дворе микросадик с деревом, явно выдавшим не то что Ленина, а чуть ли и не Юлия Цезаря. Оттуда примерно 20–30 минут ходьбы до ленинских квартир на Зигфрид- и Кайзерштрассе. Из окон дома хорошо просматривается расположенный через дорогу открытый парковый бассейн – точнее, несколько водоемов с естественно-неровными берегами. Там даже есть пара винтовых горок-лабиринтов, как в турецких отелях. Ленин, сначала сам по себе, потом вместе с Крупской, был их завсегдатаем: вполне приемлемый – и «по сравнительно не очень дорогой цене», выражаясь его словами – фитнес для редакционного служащего. Чтобы разглядеть фигуры пловцов из окна, Парвусу не нужны были никакие бинокли; хорошая позиция – и не только политическая.

Парвус – который и сам наверняка время от времени скатывался с водяной горки, обрызгивая своих русских друзей, – был склонен к авантюрам как в политике, так и в повседневной жизни. Участие в революции для него не предполагало отказа от коммерческой деятельности, но, наоборот, должно было войти в резонанс с ней. Именно он, бывший издатель «Саксонской рабочей газеты», должно быть, объяснил Ленину, что социал-демократическая газета могла стать не только благотворительным просвещенческим или чисто политическим проектом. При

должном управлении ее можно было сделать весьма и весьма прибыльной; тираж эс-дэ прессы в одной Германии приближался к полумиллиону экземпляров. И вот то самое, описанное Лениным, «развитие капитализма в России» приводило к тому, что с каждым днем у этой газеты увеличивалось количество потенциальных читателей и клиентов; это был объективно растущий рынок. Парвус был одержим идеей издавать ежедневную европейскую газету на трех языках – и разбогатеть. Ленина если и интересовали деньги, то скорее на скромное личное потребление (съемное жилье, книги, пешие походы в горы), чем на товары класса «люкс»; но, разумеется, деньги позволяли расширить круг начинаний.

Вряд ли Ленин воспринимал Парвуса как сэнсэя – скорее как старшекласника, который может научить полезным лайфхакам. «Поставить газету» означало, среди прочего, уметь распоряжаться чужими деньгами так, чтобы не просто потратить их с толком, но и воспользоваться ими как средством извлечения прибыли; и ни такого опыта, ни в целом «оборотистости» у Ленина не было.

Демонизация Парвуса – начавшаяся после его аферы с Горьким и достигшая апогея у Солженицына – имеет под собой определенные основания. Однако попытки представить Парвуса – со ссылками на доносы русской охранки – как едва ли не подлинного автора «Что делать?», искровского серого кардинала, редактора и вдохновителя, которому Ленин приносил по утрам тапочки, – не производят впечатление убедительных. В Берлине в 1950-х годах вышла книжка, авторы которой сообщали, что в квартире на Унгерерштрассе стоял копировальный станок (оборудованный шрёдерами, позволявшими в случае чего уничтожать компрометирующие материалы), на котором якобы отпечатаны восемь номеров «Искры». Крайне маловероятно, что Парвус держал у себя в гостинной улику, способную не только напечатать довольно многотиражную «Искру», но и утащить его в тюрьму на полжизни; сведения о допоборудовании в этом смысле показательны – именно такая, похожая на логово джеймс-бондовского злодея, и должна быть квартира у «негодяя» (ленинское слово) Парвуса. (На самом деле типография «Искры» находилась совсем в другом месте – у вокзала, в нынешнем злочном районе с гостиницами-клоповниками и салонами «Dance On Table» – на Зенефельдерштрассе, 4.)

Тем не менее Парвус – слишком левый для немецких эс-дэ со своей резкой критикой оппортунизма Берштейна (он раскачивал лодку до такой степени, что даже подбивал мюнхенских студентов на более активные политические выступления) – был в самый раз для русских – и потому ему благоволили и Плеханов, и Ленин; несомненно, сидя на заборе и свешивая ноги то в одну, то в другую сторону, он извлекал из своего положения посредника между немецкими и русскими эс-дэ известные выгоды; в 1905-м он совершит поразительный рейд в Россию, где вместе с Троцким «изобретет» Советы и в высшей степени успешно, под аплодисменты публики – буквально, – поруководит ими. После октября 1917-го он так же страстно желал попасть в Петроград – и в качестве представителя ЦК немецкой социал-демократии явился в Стокгольм, чтобы попытаться выступить посредником между Россией и Германией, точнее, между социал-демократами: он предлагал организовать там – если правительство Германии откажется подписать мирный договор – всеобщую забастовку. Это был хороший, разумный – для начала 1918 года – план, и у Парвуса могли быть такие возможности – но Ленин опасался заключать сделки с немцами через этого человека; Парвус окончил жизнь, так и не попав в ленинскую Россию, в депрессии, чем-то вроде Березовского, «политическим банкротом».

Ближе к концу 1902-го – началу 1903 года до России стали доходить не только слухи о «Что делать?», но и экземпляры. Их прочли «на местах» – и стали осознавать, что за газетой стоит не только «Освобождение труда». Мейер-Иорданов превратился в «культовую фигуру».

Волна арестов 1902 года парадоксальным образом также способствовала росту популярности газеты – серьезность намерений, уровень ставок обеих сторон почувствовала и публика.

К осени 1902-го деятельность «Искры» вдруг вошла в резонанс с местными комитетами – которые, один за другим, устраивали собрания в жанре «клятва Горациев» – со свернутыми в

трубочку экземплярами «Искры» вместо мечей. Самый несговорчивый петербургский «Союз борьбы» – и тот в конце концов все же присягнул «Искре». Между прочим, это означало не только признание руководящей роли «искровцев» в партии, но и обещание перечислять «Искре» сколько-то процентов своего бюджета – например, 30 или даже 50. Тон Ленина в ответах тем, кто призывает его «популяризовать» «Искру», становится резче. «Искра» перестает опасаться, что кто-то еще, не расположенный лить воду на мельницу Ленина, – например «Бунд» или «Заграничный союз», – объявит очередную Белостоцкую конференцию партийным съездом: руки коротки.

Таким образом, Ленин не просто сам сорвал джекпот со своей книгой – но еще и сильно помог своей газете; кляксы от слез – «Мы доведены теперь почти до нищенства, и для нас получение крупной суммы – вопрос жизни» – с 1902 года возникают в письмах всё реже и реже; Мюнхен перестал испытывать острую нужду в деньгах. Но, главное, весь марксистский мир знал теперь, что именно редакция этой газеты выбрала самую правильную из всех русских марксистов линию, что именно «Искра» – ортодокс, тогда как все прочие – еретики; правила игры можно было навязывать.

Установление связей с комитетами, разумеется, не означало выхода на пролетарские массы; массы не собирались слушать все эти комитеты – и прибегали к контакту с ними лишь в исключительных случаях: конфликты, забастовки и т. п. Но факт, что завоевание крупных эс-дэ организаций в России радикально увеличило длину скамейки запасных «Искры»; в ней возникло Бюро Русской организации. «Социалистическая почта» была налажена и худо-бедно заработала. Подготовка к созыву съезда РСДРП из утопии превратилась в насущный вопрос – теперь все знали, что делать. Включая полицию – у которой созрел свой план.

«Влетел со всем добром», «влопался здорово» – чтобы понимать, о чем идет речь в этой части искровской переписки, не надо быть криптографом. Около типографии начинают крутиться типы, расспрашивающие рабочих, не здесь ли печатается нечто с использованием русского шрифта. 12 апреля 1902 года «Искра» бросается врассыпную: Ульяновы в Лондон, Мартов в Цюрих; «в лавке» остается жена Дана В. Кожевникова – которая, к неудовольствию своего бдительного патрона, тут же умудрится проглядеть прямо под шапкой опечатку: «*апрела*». Сам Ленин – то есть не Ленин, а доктор Иорданов – превращается в доктора Рихтера.

«Искра» была могущественной тайной организацией, на которую работали суперагенты, преследующие высокую цель. Одновременно это был всего лишь стартап, – маленькая компания, созданная для поиска рентабельной, воспроизводимой и масштабируемой бизнес-модели. При всех своих провалах и личных недостатках Ленин, надо отдать ему должное, сумел в считанные месяцы сколотить из любителей-энтузиастов, коротающих время в ссылке за дружеским сексом и склоками, команду профессионалов, способных выполнять самые сложные задания в самых сложных условиях: наладить транспортную организацию, получить опыт координации подпольных групп, который так понадобится в 1905-м; создать Оргкомитет по созыву II съезда РСДРП. Вся дальнейшая ленинская практика управления и партстроительства до октября 1917-го сводилась к стремлению работать небольшой командой – ради этого он в конечном счете и провоцировал расколы; разумеется, у всех этих расколов были свои – политические – причины, однако в результате торжествовал излюбленный Лениным принцип: «Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан! Лучше 2–3 энергичных и вполне преданных человека, чем десяток рохлей». Лучше маленький клуб самоубийц, чем широкий народный фронт из профсоюзов. Лучше лишний раз расколоться с недостаточно «чистыми» марксистами – чем дружить не с теми. Лучше меньше – да лучше. Пожалуй, можно сказать, что интуитивно Ленин пришел к сформулированному основателем *Amazon* Джеффом Безосом «Правилу Двух Пицц»: высокопроизводительные команды должны быть довольно небольшими – такими, чтобы их можно было накормить двумя пиццами. Такие команды похожи на семьи: они могут ссориться, распадаться, но в них четко понятно, кто лидер, кто бета-самец и т. д. Если бы первая редакция

«Искры» – база будущей РСДРП – собралась вместе (утопия: за три года совместной работы она *ни разу* не собралась в полном составе!) и оказалась рядом с домом Парвуса, она могла бы зайти в «Da Fausto» – и действительно наестся там двумя пиццами.

Воспроизводимость – возможность многократно продать полученное решение – в случае «Искры» подразумевала создание организации, которая даже в период кризиса, например Корниловского мятежа, оставшись без руководителя, реализует без оглядок на мораль наиболее рациональный сценарий согласно возможностям и потребностям текущего политического момента. «Искра» оказалась масштабируемой – и сумела вырасти в партию. В этом смысле скромный «домик Искры» в Пскове есть не что иное, как аналог того гаража в Лос-Алто-тосе, где Джобс и Возняк собрали первый компьютер *Apple* – и сумели продать его потребителям. Ленин, настоящий предприниматель-революционер, увидел рынок, на котором, благодаря полицейским ограничениям, был создан искусственный дефицит «нелегальной» литературы. Обнаружив спрос, он задался мыслью – как занять имеющуюся нишу, несмотря на высокие издержки (давление жандармов, конкуренция с другими изданиями подобного рода). Все другие организации, нацеленные на тот же рынок – табуированный, очень высокорискованный, как торговля наркотиками, где в правила игры входит вероятность больших потерь личного состава по ходу, – показали себя недостаточно эффективными; не потому что у них не было мотивации, а потому что не было современной теоретической базы. У нас же, заявил Ленин, будет и идеология, и практика. Мы воспользуемся немецким опытом организации «социалистической почты», мы закрепимся на верных марксистских позициях – и раз так, поставить Россию на уши становится вопросом времени. «Искра» была тайным обществом заговорщиков, торгующих информационным наркотиком, – и торговля эта велась соответствующим образом, со всеми издержками, сопутствующими занятиям (политической) контрабандой. (Политические) прибыли предполагались соответствующие.

РСДРП образовалась до «Искры» – и функционировала бы и без нее. В начале XX века ясно было, что рано или поздно антипартийные законы отменят и в России, как в Германии; и тогда нынешние подпольные организации легализуются; это было стимулом, и люди организовывались. Не Ленин, так Троцкий – а скорее всего, марксисты-бернштейнцы из «Рабочего дела» – наверняка провели бы II съезд эс-дэ партии и запатентовали бренд РСДРП, по-видимому, в альянсе с «Бундом» (который тоже был, по выражению жандарма А. Спиридовича, «крепкой, хорошо законспирированной организацией, спаянной еврейским фанатизмом, жаргоном и ненавистью к русскому правительству»). Не «Искра» – сугубо внутрипартийная затея – наэлектризовала общество и спровоцировала 1905 год с его Кровавым воскресеньем, Декабрьским восстанием и крестьянскими бунтами. «Искра» не делала историю... не делала, не делала, не делала – но в конце концов все же сделала: потому как без «Искры» марксизм бы остался в России в большей степени экономическим, чем политическим учением: как в Европе – за социализм в отдаленной перспективе, без слова «революция». Однако ж благодаря кули-нарным талантам Ленина – который способен был накормить своих товарищей не только пиццей, но и рыбой фугу – химический состав организмов российских марксистов изменился; токсины позволили обрести им оригинальную физиономию и закалили их до такой степени, чтобы в момент политического кризиса они смогли перехватить власть с первой и единственно возможной попытки.

Лондон 1902–1903

К Троцкому часто применяли характеристику «пророк», и среди его предсказаний найдется и такое: в Лондоне, на Трафальгар-сквере, будут воздвигнуты две бронзовые фигуры – Карла Маркса и Владимира Ленина.

Теоретически именно к тому все и шло – Англия была страной, где развитие капитализма создало наиболее очевидные предпосылки для социалистической революции; она должна, обязана была вспыхнуть – и тем сильнее, чем разительнее контрастировали друг с другом надежды и эмпирика. Когда 7 ноября 1919 года Мария Ильинична Ульянова на свой страх и риск – Советская Россия была истекавшей кровью страной-изгоем, которая находилась не в том положении, чтобы раздавать инструкции хозяевам мира, – напечатала в «Правде» пришедший самотеком перевод стихотворения Э. Карпентера «Англия, восстань!»:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.